



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



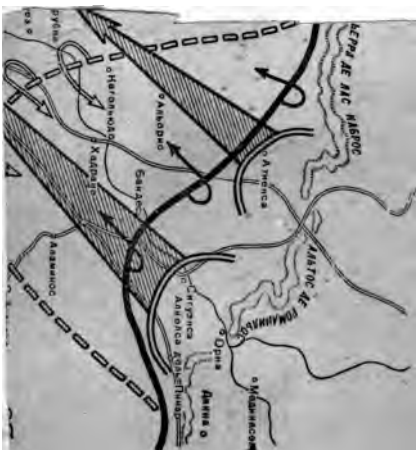
9th
C-78

558

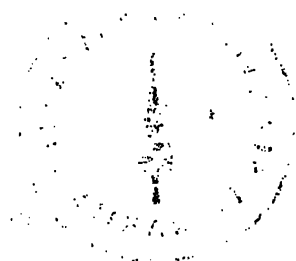
1946

+

ехоты, более 100 танков и до
республиканские части нанесли
е поражение. В харамских боях
и фашистов, мителники и интер-
тими и ранеными. Это была пер-
канской армии над объединенными
ервенты предприняли новую атаку
С этой целью в районе Сигуэнса
в составе трех дивизий — около







Издание О. Н. Поповой.

Викторъ Острогорскій.

ИЗЪ ИСТОРИИ МОЕГО УЧИТЕЛЬСТВА.

КАКЪ Я СДѢЛАЛСЯ УЧИТЕЛЕМЪ.

(1851—1864 гг.).

Цена 1 руб. 25 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. И. Скороходова (Надеждинская, 43).

1895.



1/2 25 1469/9 1р. 50к. К.
Мам. 1898.

Издание О. Н. Поповой.

X Ostrogorskiĭ, V.P.
+ Викторъ Острогорскій.

V. 20
0-78

ИЗЪ ИСТОРИИ МОЕГО УЧИТЕЛЬСТВА.

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

КАКЪ Я СДѢЛАЛСЯ УЧИТЕЛЕМЪ.

(1851—1864 гг.).

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Цена 1 руб. 25 коп.

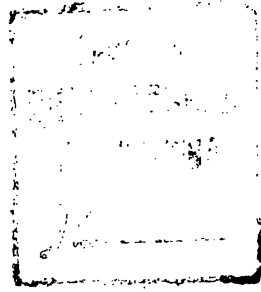
43.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1895.

Tom

LA 2377

O85A3

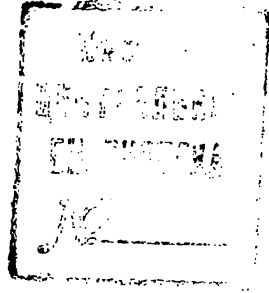


Посвящается

дорогой памяти моего покойного учителя,

Владимира Яковлевича

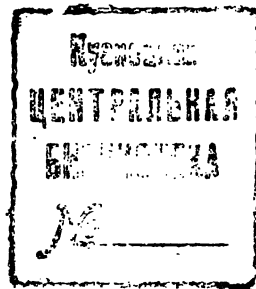
Стоюнина.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
* * *	vii
I. ГИМНАЗИЯ. Поступленіе въ гимназію. Домашняя подготовка. Попечитель Мусинъ-Пушкинъ. Переходъ въ III гимназію. Ея характеръ. Директоръ Ѳ. И. Буссе. Классическій характеръ гимназіи. Г. И. Лапшинъ. Учитель греческаго языка. Постановка языковъ новыхъ и исторіи. Русскій языкъ въ младшихъ классахъ. В. Я. Стоюнинъ. Последній годъ пребыванія въ гимназіи (1857—58). Выпускъ 1858 г. Общій выводъ о гимназическомъ образованіи . . .	1
II. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА. Общія замѣчанія о Петербургскомъ университетѣ конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ. Характеръ преподаванія. Характеристики профессоровъ: М. М. Стасюлевичъ, М. С. Куторга. Н. И. Костомаровъ, Н. М. Благовѣщенскій, А. В. Никитенко, И. И. Срезневскій, А. Н. Пыпинъ. Благодарная память университету	41
III. УНИВЕРСИТЕТСКІЙ КРУЖОКЪ. Экономическое положеніе студентовъ. «Мыслящій пролетаріатъ». Мое вступленіе въ кружокъ. Характеръ кружка. Характеристика нѣкоторыхъ изъ его членовъ. Вліяніе на меня Бѣлинскаго, Пирогова и «Современника». Увлеченіе театромъ и итальянской оперой. Вліяніе на меня моего дяди	82
IV. ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ШКОЛА. Неудовлетворенность нашего кружка «разговорной дѣятельностью». Критикъ и скептикъ кружка Н. Н. Страннолюбскій. Таврическая школа. Возникновеніе мысли объ учрежденіи	

своей школы. Участіе К. Д. Кавелина въ осуществленіи этой мысли. Подготовительныя собранія передъ учрежденіемъ школы. В. И. Струбинскій и Н. М. Пальминъ Открытіе школы и неопредѣленный ея характеръ.	117
V. Ө. Ө. РЕЗЕНЕРЪ. Появленіе его въ школѣ. Біографическія о немъ свѣдѣнія. Роль его на нашихъ собраніяхъ. Оживленіе послѣднихъ. Вступленіе въ школу А. Я. Герда. Отношеніе Резенера къ школѣ и дѣтямъ. Отношеніе его къ намъ, студентамъ. Воспоминанія о Резенерѣ его бывшихъ учениковъ: покойнаго художника В. С. Шпака и инженера В. В. Оглобина. Закрытіе Василеостровскаго училища. Дѣятельность Резенера въ качествѣ воспитателя въ «Колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ». Послѣдніе годы его жизни. Воспоминанія о Резенерѣ, какъ о воспитателѣ въ семействѣ. Смерть	142
VI. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРІОДЪ 1862—1864 г. Частныя уроки: сенаторскіе; у А. К. Гирса и В. Н. Латкина. Мои занятія для подготовки къ урокамъ и къ учительской дѣятельности вообще. Увлеченіе народной литературой. П. И. Якушкинъ и Ф. Г. Толль. Двѣ мои первыя взрослые ученицы. Первый опытъ официальной педагогической дѣятельности:—пансіонъ В. В. Швидковской. Попытки поступить на государственную службу: А. С. Вороновъ и директриса Смольнаго института—Леонтьева. Журнальная дѣятельность въ «Библіотекѣ для чтенія», П. Д. Боборыкина. Устройство библіотеки В. К. Макалинской и приглашеніе меня учителемъ въ 1864 г. въ I Военную гимназію	198
VII. ТРИДЦАТЬ ЛѢТЪ НАЗАДЪ (1864 г.) —общій очеркъ тогдашней педагогической жизни	267



* * *

Уже болѣе тридцати лѣтъ дѣйствуя на поприщѣ общественной и официальной педагогической службы, въ качествѣ учителя словесности, и приготовивъ, какъ могъ и умѣлъ, не мало учителей и учительницъ, думаю, что скромныя воспоминанія о томъ, какъ сдѣлался въ старые годы учителемъ я самъ—можетъ быть, не безъинтересны, хотя бы для тѣхъ, кто пожелалъ бы самъ вступить на тяжелый путь учительства. За этотъ тридцатилѣтній періодъ перевидалъ я много и вѣяній, и событій, и лицъ учащихся, и учащихся, и начальства, и подчиненныхъ. Много перевидалъ я перемѣнъ и программъ, и направленій, и плодовъ всѣхъ-этихъ преобразованій на практикѣ, на учащейся молодежи, и на самихъ преподавателяхъ. Думаю, что мои откровенныя, хотя бы и отрывочныя, замѣтки о видѣнномъ и пережитомъ могутъ имѣть нѣкоторый и историческій интересъ.

Эпоха отъ 1864—1894 года—трудная и неопре-

дѣленная. Будущій историкъ и художникъ объяснить и освѣтить ее sine ira et studio. Намъ, пережившимъ эту эпоху, какъ кажется мнѣ, не слѣдуетъ забывать, что «записки современниковъ-очевидцевъ», хотя бы даже и одностороннія, и, можетъ быть, немножко пристрастныя, въ рукахъ будущаго историка представляютъ матеріалъ небезполезный, на которомъ создается будущая исторія.

Поэтому-то и я, три года назадъ (1892 г.), выйдя еще раньше въ отставку изъ Ларинской гимназіи, гдѣ прослужилъ я 19 лѣтъ, началъ печатать свои «Воспоминанія, мысли и замѣтки стараго учителя словесности» въ журналѣ «Образованіе». Передо мной, кромѣ этой гимназіи, прошли и *Женскіе Педагогическіе Курсы* (1869—1891 г.)—двадцать два года, и *Первая Военная Гимназія* съ ея основанія—шестнадцать лѣтъ,—и *женскія гимназіи* (съ 1867—1869 г. и съ 1880—1895 г.), наконецъ *Елизаветинскій Институтъ* съ 1869—1876 г. и *Драматическіе Императорскіе Курсы* съ 1890 г.

Мои записки, оговариваюсь заранѣе, носятъ характеръ отрывочный, эпизодическій. Многое ускользнуло изъ памяти; о многомъ, и многихъ, не только живыхъ, но и мертвыхъ, говорить еще рано; однако не мало и сохранилось въ памяти такихъ событий, лицъ, образовъ изъ міра начальствовавшихъ

го, педагогическаго, и ученическаго, о которыхъ пріятно, или интересно, вспомнить и поразсказать; не лишнее, можетъ быть, дать и очеркъ фізіономіи тѣхъ учебныхъ заведеній, гдѣ я училъ, съ характерными измѣненіями, которыя происходили въ ихъ жизни за мое въ нихъ преподаваніе.

Скромныя записи мои предполагаю я довести до настоящаго времени, причемъ, хотѣлось бы, въ заключеніе, подвести нѣкоторые итоги своей педагогической практики, т. е. высказать, чего бы желалъ я, по моему крайнему разумѣнію, относительно постановки и характера преподаванія русскаго языка и словесности въ нашихъ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ, мужскихъ и женскихъ, гражданскихъ и военныхъ, классическихъ и реальныхъ, такъ какъ я глубоко убѣжденъ, что курсъ роднаго языка во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ долженъ быть общій.

Пока, не зная, приведется ли мнѣ привести мои записи къ окончанію, ограничиваюсь *первымъ періодомъ, подготовительнымъ* къ моему учительству. Онъ представляетъ самостоятельное цѣлое, обнимая эпоху разцвѣта петербургскаго университета и педагогическаго движенія въ эпоху освобожденія крестьянъ, и, какъ кажется, можетъ представить нѣкоторый интересъ какъ для публики вообще, такъ и для той

нѣжно любившей меня нянюшки — нѣмки, старой дѣвы, дочери ревельскаго кистера, строго религіозной, страстной поклонницы Шиллера, котораго она, какъ и Евангеліе, знала чуть не наизусть. У нея рано выучился я свободно говорить по-нѣмецки, читать и писать, кажется, даже раньше, чѣмъ по-русски; у нея же выучилъ я множество нѣмецкихъ стихотвореній, особенно Шиллера, нѣсколько нѣмецкихъ молитвъ и отрывковъ изъ Евангелія. Какъ и когда выучился я читать и писать по-русски — не помню. Помню только, что и читалъ я, и списывалъ съ книги, уже по шестому году, и почти ежедневно, по приказанію отца, долженъ былъ выучивать наизусть по баснѣ Крылова, или небольшому стихотворенію. Отецъ, прекрасно читавшій, или, какъ тогда говорили, «декламировавшій», обращалъ особое вниманіе на мое выразительное произношеніе, и всегда спрашивалъ выученное самъ, не оставляя меня въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока я, по его мнѣнію, не выучивался говорить порядочно. А чтобы я привыкъ къ хорошему чтенію, онъ очень часто читалъ мнѣ вслухъ, и стихи, и прозу, рассказывалъ священную, русскую и всеобщую исторію, выслушанное заставлялъ меня рассказывать, и о прочтенномъ со мной толковалъ. Эти чтенія, рассказы и бесѣды имѣли на меня, ребенка, огромное вліяніе. Они незамѣтно обогатили меня словами и выраженіями, пристрадали къ чтенію, (книгъ у насъ было множество, — была даже особая, моя собственная, бібліотека изъ лучшихъ тогдашнихъ дѣтскихъ книгъ, но ихъ я читалъ мало, предпочитая книги для взрослыхъ, и зналъ наизусть цѣ-

лую массу стиховъ и басенъ), и сдѣлали то, что въ 8—9 лѣтъ я свободно рассказывалъ прочитанное, нерѣдко самъ придумывалъ новые рассказы, и, какъ-то, безъ всякихъ грамматикъ, или особыхъ упражненій, (я только много списывалъ съ прописей и книгъ, внося въ особую тетрадь все, что мнѣ особенно нравилось), писалъ почти совсѣмъ правильно, и 10-ти лѣтъ даже сочинилъ повѣсть «*Цымбалыда*» и драму въ 2-хъ дѣйствіяхъ «*Похищенное дитя*». Какъ ни странно для маленькаго мальчика, но, конечно, подъ вліяніемъ отца и отчасти няни, могу сказать, что, еще до поступленія въ гимназію, уже страстно любилъ литературу и благоговѣлъ передъ именами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя и другихъ, даже Ломоносова и Державина, слыша отъ отца объ этихъ писателяхъ множество рассказовъ. Эту страсть отецъ во мнѣ поддерживалъ и, съ улыбкой смотря на мои упражненія въ прозѣ, и даже стихахъ, говаривалъ: «Ужъ не знаю, что изъ тебя выйдетъ, а только, кажется, коли не писатель, то профессоръ или учитель російской словесности». Эти слова я запомнилъ хорошо, и мысль о писательствѣ и учительствѣ не покидала меня во все время моего образованія. Но, боясь отвлечься въ сторону дорогими воспоминаніями о моей жизни и занятіяхъ съ отцомъ, лучшимъ моимъ воспитателемъ, не возвращаясь къ моимъ познаніямъ въ рускомъ языкѣ при поступленіи въ гимназію, скажу, что зналъ я довольно много, но практически, отрывочно, въ смыслѣ вообще начитанности и свѣдѣній изъ жизни авторовъ, никакой же грамматики я не видывалъ и въ

нѣжно любившей меня нянюшки — нѣвки, старой дѣвы, дочери ревельскаго кистера, строго религіозной, страстной поклонницы Шиллера, котораго она, какъ и Евангеліе, знала чуть не наизусть. У нея рано выучился я свободно говорить по-нѣмецки, читать и писать, кажется, даже раньше, чѣмъ по-русски; у нея же выучилъ я множество нѣмецкихъ стихотвореній, особенно Шиллера, нѣсколько нѣмецкихъ молитвъ и отрывковъ изъ Евангелія. Какъ и когда выучился я читать и писать по-русски — не помню. Помню только, что и читалъ я, и списывалъ съ книги, уже по шестому году, и почти ежедневно, по приказанію отца, долженъ былъ выучивать наизусть по баснѣ Крылова, или небольшому стихотворенію. Отецъ, прекрасно читавшій, или, какъ тогда говорили, «декламировавшій», обращалъ особое вниманіе на мое выразительное произношеніе, и всегда спрашивалъ выученное самъ, не оставляя меня въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока я, по его мнѣнію, не выучивался говорить порядочно. А чтобы я привыкъ къ хорошему чтенію, онъ очень часто читалъ мнѣ вслухъ, и стихи, и прозу, рассказывалъ священную, русскую и всеобщую исторію, выслушанное заставлялъ меня рассказывать, и о прочтенномъ со мной толковалъ. Эти чтенія, рассказы и бесѣды имѣли на меня, ребенка, огромное вліяніе. Они незамѣтно обогатили меня словами и выраженіями, пристрастили къ чтенію, (книгъ у насъ было множество, — была даже особая, моя собственная, бібліотека изъ лучшихъ тогдашнихъ дѣтскихъ книгъ, но ихъ я читалъ мало, предпочитая книги для взрослыхъ, и зналъ наизусть цѣ-

люю массу стиховъ и басенъ), и сдѣлали то, что въ 8—9 лѣтъ я свободно рассказывалъ прочитанное, нерѣдко самъ придумывалъ новые рассказы, и, какъ-то, безъ всякихъ грамматикъ, или особыхъ упражненій, (я только много списывалъ съ прописей и книгъ, внося въ особую тетрадь все, что мнѣ особенно нравилось), писалъ почти совсѣмъ правильно, и 10-ти лѣтъ даже сочинилъ повѣсть «*Цымбалыда*» и драму въ 2-хъ дѣйствіяхъ «*Похищенное дитя*». Какъ ни странно для маленькаго мальчика, но, конечно, подъ вліяніемъ отца и отчасти няни, могу сказать, что, еще до поступленія въ гимназію, уже страстно любилъ литературу и благоговѣлъ передъ именами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя и другихъ, даже Ломоносова и Державина, слыша отъ отца объ этихъ писателяхъ множество рассказовъ. Эту страсть отецъ во мнѣ поддерживалъ и, съ улыбкой смотря на мои упражненія въ прозѣ, и даже стихахъ, говаривалъ: «Ужъ не знаю, что изъ тебя выйдетъ, а только, кажется, коли не писатель, то профессоръ или учитель російской словесности». Эти слова я запомнилъ хорошо, и мысль о писательствѣ и учительствѣ не покидала меня во все время моего образованія. Но, боясь отвлечься въ сторону дорогими воспоминаніями о моей жизни и занятіяхъ съ отцомъ, лучшимъ моимъ воспитателемъ, не возвращаясь къ моимъ познаніямъ въ русскомъ языкѣ при поступленіи въ гимназію, скажу, что зналъ я довольно много, но практически, отрывочно, въ смыслѣ вообще начитанности и свѣдѣній изъ жизни авторовъ, никакой же грамматики я не видывалъ и въ

глаза, и даже не подозрѣвалъ о существованіи на свѣтѣ частей рѣчи ¹⁾).

Въ одно изъ первыхъ чиселъ февраля 1851 г. отецъ разбудилъ меня чуть не въ шесть часовъ утра, собственноручно меня выстригъ очень гладко, по военному, самымъ строгимъ образомъ оглядѣлъ меня, одѣтаго въ праздничную красную рубашку съ золотымъ поясомъ, и, надѣвъ на меня мѣховое пальтецо, обдернулъ его на мнѣ нѣсколько разъ, пройдясь по немъ щеткой. Все это продѣлалъ онъ какъ-то особенно торжественно и молча, и, на мой вопросъ, — куда мы идемъ, а главное, — зачѣмъ меня выстригли, — отрывисто отвѣчалъ: «А вотъ увидишь!» А пошли мы съ отцомъ, какъ оказалось, въ Моховую, на квартиру къ тогдашнему Попечителю Учебнаго Округа, пресловутому М. Н. Мусину-Пушкину, герою двѣнадцатаго года, великому чудаку и крикуну, помѣшанному на субординаціи, которую онъ прилагалъ и къ своей административно-педагогической службѣ, но въ душѣ доброму человѣку. Почему-то — ужъ не помню, — прежде, чѣмъ привести меня въ гимназію, отцу слѣдовало лично меня представить попечителю. Какъ теперь вижу небольшую, коренастую, гладко выстриженную и выбритую фигуру старика съ палкой въ рукѣ, съ густыми сѣдоватыми бровями, очень суровую на видъ, влетѣвшую въ комнату и громко и отрывисто обратившуюся къ отцу,

¹⁾ О познаніяхъ въ другихъ предметахъ могу сказать только, что выучилъ я молитвы, зналъ хорошо священную исторію, особенно — Евангеліе, четыре правила ариметики (цѣлыя числа), да читать по-французски.

который уже былъ у него раньше, со словами: «Га! это вы! Это онъ? Какъ тебя зовутъ? Почему такой маленькій? Гимназистомъ хочешь быть? А? Что знаешь?» Я оробѣлъ и молчалъ.—Отвѣчай же его превосходительству—шепнулъ мнѣ отецъ. Но превосходительство уже сердилось: «Ну, говори, Га! что же ты знаешь? Ничего. Га! Нѣмой къ тому же?»—Но, задѣтый за живое такимъ обращеніемъ, я опомнился и обиженно отрубилъ:—Все знаю!—не назвавъ даже его превосходительствомъ. Попечитель раскатисто, на всю комнату, расхохотался, и такъ весело и заразительно, что, не смотря на всю торжественность минуты, разсмѣялись и мы съ отцомъ.—«Какъ все, какъ все?—спрашивалъ попечитель между раскатами смѣха.—По-нѣмецки говорю...—началъ я.—«Какъ? Что? Sprechen sie deutsch? Га! Нѣмецъ? Говори что-нибудь!»—Я началъ голосомъ не совсѣмъ твердымъ отъ волненія, но съ чистымъ нѣмецкимъ произношеніемъ, говорить стихи Гете: *Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur...* Попечитель насупился и слушалъ, опершись на палку, но скоро прервалъ меня: «Ну! хорошо! Га! Совсѣмъ нѣмецъ! А по-французски? *Parlez-vous français?*»—*Non, monsieur*,—уже совсѣмъ бойко отвѣтилъ я.—«*Non, non!* Отчего non? По-французски надо говорить. Впрочемъ, современнымъ придеть! А вотъ по-русски, по-русски... Читаешь? Пишешь? Какіе знаешь стихи?»—Наполеона.—«Что? Какъ? Какого Наполеона?»—Оду «Наполеонъ», Александра Сергѣевича Пушкина.—«Говори!»—Уже совсѣмъ овладѣвъ собой при вызовѣ

на декламацію любимѣйшаго моего въ то время стихотворенія, я громко и отчетливо, поднявъ голову, сталъ было говорить его, заложивъ руки за спину и смѣло глядя въ лицо бородинскому генералу-педагогу, который такъ и впился въ меня глазами, но тутъ произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное... Генералъ порывисто шагнулъ ко мнѣ и почти съ крикомъ—«Га! Маленькій! Становись на каеэдру! Дальше!»—схватилъ меня на руки и поставилъ на столъ посреди комнаты, откуда я и прочелъ всю оду до конца. Какъ теперь вижу передъ собою—ребенкомъ этого старика, опершагося на палку и слушающаго мой дѣтскій лепетъ великихъ стиховъ, съ величайшимъ, сосредоточеннымъ вниманіемъ, съ насупленными бровями... Когда я кончилъ, онъ ласково снялъ меня съ моей «каеэдры», поцѣловалъ, и со словами—«Молодецъ! Спасибо!» поставилъ на полъ, сказавъ отцу, чтобъ онъ велъ меня въ гимназію, и что я долженъ, и буду учиться хорошо. Вотъ и весь мой экзаменъ, который открылъ мнѣ дверь въ храмъ науки, въ видѣ I-ой гимназіи, куда и посадилъ меня директоръ въ мартѣ 1851 г. прямо во 2-ой классъ, такъ какъ мнѣ, даже съ моими ограниченными познаніями, въ первомъ дѣлать было нечего. Какъ велось здѣсь тогда преподаваніе роднаго языка, хорошенько не помню. Припоминаю только, что книги-грамматики у насъ не было никакой; писалась же она иногда учителемъ, еще очень молодымъ человѣкомъ, въ видѣ правилъ, на классной доскѣ, безъ всякихъ объясненій, а мы списывали и выучивали слово въ слово. Часто задавали намъ

письменно склонять и спрягать, списывать въ особую тетрадь стихотворенія изъ едва-ли не единственной тогда хрестоматіи Максимовича *«Книга для чтенія»*, и затѣмъ писать ихъ безошибочно наизусть; иногда же перекладывали мы стихи въ прозу, причемъ наблюдалось, чтобы мѣнялся только порядокъ словъ, но чтобъ своихъ не вставлялось. Стиховъ, и даже прозы, выучивалось наизусть множество, и, вѣроятно, благодаря этому и диктовкамъ, исправляемымъ нами самими по книгѣ, мы, сколько помню, почти всѣ, за рѣдкими исключеніями. уже во второмъ классѣ писали совершенно правильно. Недурно мы и рассказывали,—приготавлиаясь къ разсказу заданной изъ хрестоматіи статьи, а на плавность рѣчи обращалось при отвѣтѣ урока строгое вниманіе не только учителемъ русскаго языка, но и всѣми другими преподавателями. Вообще, надобно сказать, что въ то отдаленное время, независимо отъ плохихъ учебниковъ, неопредѣленности программъ и, большею частію, плохихъ преподавателей, родному языку отводилось въ гимназіяхъ первое и почетное мѣсто. Онъ ставился, такъ сказать, въ край угла, и по успѣхамъ именно въ родномъ языкѣ судили о способностяхъ и развитіи ребенка. Грамматика, совсѣмъ заканчивавшаяся въ третьемъ классѣ, существовала больше для виду, и даже разборъ дѣлались рѣдко; синтаксическіе же пошли въ ходъ уже позже, благодаря грамматикѣ Перевлѣскаго, положившаго логическій синтаксическій анализъ рѣчи въ основу преподаванія языка. Много не умствовали, и рѣдко даже что объясняли, но требовали строго,

чтобъ все, что могло быть усвоено памятью, или по навыку глаза и уха, практически, было усвоено крѣпко и твердо, а больше всего хорошихъ литературныхъ образцовъ, которые бы ученикъ умѣлъ громко, ясно и отчетливо, по возможности, съ логическими удареніями, говорить наизусть и пересказать устно и письменно. Правда, въ числѣ выучиваемаго было много и такого, что превышало дѣтское пониманіе, напр., *Плывный* Батюшкова. (Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ), его же *Переходъ черезъ Рейнъ*, и т. п., но и такія вещи нравились музыкой стиха и, хотя и не совсѣмъ понимаемыя, но всетаки развивали языкъ и давали матерьялъ для будущаго. Тогда думали,—и, кажется, не безъ основанія, что въ ученикѣ прежде всего слѣдуетъ развить свободу и чутье родной рѣчи, на которой онъ мыслить и говорить, и которою онъ долженъ свободно пользоваться впослѣдствіи при болѣе серьезныхъ занятіяхъ въ старшихъ классахъ, и не забывали дара слова—этой, самой важной, способности человѣка, — рановременной и формальной грамматической гимнастикой не только своего роднаго языка, который при этомъ не развивается, а убивается, но и языковъ иностранныхъ, особенно древнихъ, которыми потомъ съ перваго класса стали нынѣ томить бѣдныхъ малышей. И вотъ, на этотъ-то родной языкъ, преимущественно въ младшихъ классахъ, и обращалось особенное вниманіе, и, ради успѣховъ въ немъ, болѣе снисходительно относились къ успѣхамъ въ другихъ предметахъ, напр., въ ариметикѣ, географіи. И выходило почти всегда такъ, что ученикъ,

мало-мальски способный, успѣвавшій въ младшихъ классахъ, особенно въ родномъ языкѣ, развившись въ среднихъ, мало-по-малу подтягивался и въ остальныхъ предметахъ.

Въ 1-й гимназіи пробылъ я во второмъ классѣ всего годъ съ небольшимъ, перейдя первымъ ученикомъ, съ наградой, въ третій, и тотчасъ же, въ 1852 г., благодаря тому же попечителю М. Н. Мусину-Пушкину, всегда заставлявшему меня, въ свои пріѣзды, говорить стихи, былъ переведенъ пансіонеромъ же, но на казенный счетъ, въ 3-ю С.-Петербургскую гимназію, такъ какъ отецъ мой въ февралѣ 1852 г. скончался, и платить за меня было некому, вакансій же казенныхъ въ 1-й гимназіи не было.

Совсѣмъ другимъ духомъ пахнуло на меня, неоправившагося еще отъ страшнаго горя—неожиданной смерти моего, страстно любимаго, отца, новое учебное заведеніе, гдѣ мнѣ предстояло пребыть шесть лѣтъ. Здѣсь не могу не припомнить кстати, какъ состоялся этотъ мой переходъ, и не помянуть добрымъ словомъ «суроваго крикуна-попечителя», благодаря которому, и только ему одному, я, круглый сирота, чуть не нищій мальчишка, могъ окончить свое образованіе. Отецъ мой скончался въ пятницу на масляной, а на первой недѣлѣ поста мы говѣли, ходя въ нашу прекрасную гимназическую церковь. Нервный и болѣзненный мальчикъ, очень религіозный отъ ранняго дѣтства, я былъ потрясенъ страшно, и великопостная служба, съ стройнымъ пѣніемъ нашихъ гимназистовъ-пѣвчихъ, дѣйствовала на меня

такъ, что я съ рыданьемъ падалъ на полъ, и меня нѣсколько разъ почти безъ чувствъ выводили изъ церкви. Какъ разъ въ эту недѣлю, послѣ обѣдни, когда со мной тоже случился припадокъ, пріѣхалъ Мусинъ-Пушкинъ, и, почему-то пожелавъ сдѣлать намъ смотръ, велѣлъ выстроиться всѣмъ по классамъ въ залѣ. Обходя ряды, причемъ дѣлалъ строгія замѣчанія стоявшимъ, по его мнѣнію, недостаточно браво, онъ остановился предо мной и рѣзко спросилъ: «Чего стоишь, какъ мокрая курица? Болень что-ли?» Я еще несовсѣмъ оправился отъ припадка, и въ самомъ дѣлѣ, должно быть, имѣлъ видъ очень жалкій. Вопросъ попечителя всколыхнулъ еще не успокоившіеся нервы, и я заплакалъ... Стоявшій рядомъ съ попечителемъ, директоръ Игнатовичъ, принимавшій въ моемъ горѣ самое теплое участіе, что-то шепнулъ ему на ухо. Мусинъ-Пушкинъ напустился.— «А хорошо учится?» — быстро спросилъ онъ.— Идетъ первымъ, ваше превосходительство.— «Га! Ну, не плачь, обратился старикъ ко мнѣ ласково: что дѣлать... Молись Богу... Никого у тебя нѣтъ... Учись... Перейдешь хорошо, переведу тебя къ себѣ... тамъ учиться будешь на казенный счетъ...» «Къ себѣ» значило въ 3-ю гимназію, которая помещалась въ Гагаринской, слѣдовательно близъ квартиры попечителя, и была его любимой, особенно за образцовый церковный хоръ. Въ маѣ перешелъ я первымъ въ 3-й классъ, а въ августъ уже былъ водворенъ на новомъ мѣстѣ.

Третья С.-Петербургская гимназія, выпустившая изъ своихъ стѣнъ болѣе чѣмъ за шестидесятилѣт-

2401.
||
2402
1445

нее существованіе столько педагоговъ, была въ то время заведеніемъ совсѣмъ особеннымъ. Начать съ того, что съ паденіемъ классицизма министра Уварова, она была въ то время *единственнымъ въ Петербургѣ классическая, съ обоими древними языками*, изъ которыхъ греческій начинался въ 3-мъ классѣ, а латинскій со втораго. Гимназія эта была самая многочисленная, съ параллельными отдѣленіями до 5-го класса, когда пансіонеры, которыхъ всѣхъ было что-то около 250, соединялись въ одинъ классъ съ приходящими. Назначеніе ея было, по преимуществу, готовить педагоговъ,—такъ что всѣ казенно-коштные, переходя въ послѣдній, седьмой, классъ, курса здѣсь не оканчивали, а переводились безъ экзамена въ Главный Педагогическій Институтъ, чего, впрочемъ, я избѣжалъ, благодаря покойнымъ—директору Ѳ. И. Буссе, и, кажется, В. Я. Стоюнину, (секретарю Педагогическаго Совѣта), считавшимъ за лучшее довести меня до университета, такъ какъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ уже шли толки о закрытіи института. Какъ дорогая по платѣ 1-я гимназія, откуда съ 5-го класса переводили въ лицей, и куда принимали только потомственныхъ дворянъ, считалась, нѣкоторымъ образомъ, аристократической, почему здѣсь лучше кормили и одѣвали, и обходились съ учениками какъ-то все-таки помягче, и сѣкли поосторожнѣе и порѣже, такъ самая дешевая по платѣ — 3-я, гдѣ было множество казенно-коштныхъ, большею частію круглыхъ сиротъ, или, вообще дѣтей безотвѣтныхъ бѣдныхъ чиновниковъ, счастливыхъ тѣмъ, что дѣти, такъ или иначе, при-

строены, отличалась въ мое время очень плохимъ содержаніемъ, грубымъ обращеніемъ съ учениками и, по истинѣ, жестокими нравами интерната, на- помнившаго мнѣ въ послѣдствіи бурсу Помялов- скаго. Съ 1856 г., какъ и все въ Россіи, и наша *alma mater* немножко поочеловѣчилась: гувернеры, напр., въ маленькихъ классахъ перестали драться, ограничившись болѣе ругательными словами,—порка совсѣмъ прекратилась; поступило нѣсколько новыхъ учителей, обращавшихся съ учениками болѣе гу- манно и старавшихся заинтересовать своимъ пре- подаваніемъ; но, когда перешелъ сюда, въ 1853 г., я, если исключить нѣсколькихъ добрыхъ товарищей, съ которыми завязалась у меня тѣсная дружба и образовалась своя маленькая кружковая жизнь, тя- желое это было заведеніе. Конечно, спасибо и за то, что оно, какъ-никакъ, все-таки дало кое-какое образованіе многимъ изъ насъ, бѣдняковъ, какъ, напр., и мнѣ самому; но сколькихъ же и выбросило оно за бортъ, какъ негодныхъ, до окончанія курса, сколькихъ озлобило и ожесточило въ нѣжную пору ранней юности... Во главѣ заведенія стоялъ добрый и благороднѣйшей души человѣкъ, Федоръ Ивановичъ Буссе—педагогъ, пользовавшійся большой извѣст- ностью, посланный нѣкогда отъ министерства народ- наго просвѣщенія за-границу для изученія педагогіи подъ руководствомъ самого знаменитаго Песталотци, съ которымъ, говорятъ, онъ очень сблизился. Но, въ тотъ періодъ, когда учился въ гимназіи я, онъ,— по усталости ли, болѣзненности, или просто по не- возможности дѣйствовать болѣе самостоятельно,—

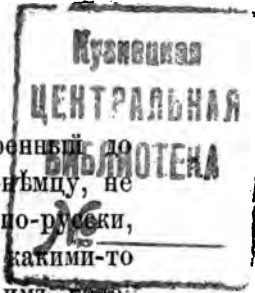
мало принималъ активнаго участія въ управленіи заведеніемъ, и гимназія, назначеніе которой было подготовленіе будущихъ педагоговъ, не носила въ себѣ педагогическаго характера ни въ смыслѣ песталлоціевской гуманности, ни въ смыслѣ выбора учителей (за немногими исключеніями) и гувернеровъ, ни, наконецъ, въ общемъ характерѣ и строѣ заведенія, которое весьма мало задавалось цѣлью сдѣлать изъ насъ образованныхъ людей. По крайней мѣрѣ, у такого гуманнаго директора-педагога и добрѣйшаго, любившаго насъ, челоѣка, былъ инспекторъ нѣкій Аккерманъ, на глазахъ всей гимназіи выпоровшій въ корридорѣ моего товарища, ученика третьяго класса, такъ, что бѣднягу, къ ужасу дѣтей, вынесли въ лазаретъ на простынѣ, и вообще славившійся своей слабостью къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Не мѣшало управленіе директора и плохому содержанію учениковъ, которые въ своихъ, часто справедливыхъ, жалобахъ, встрѣчали отпоръ въ видѣ строгаго наказанія за дерзость осмѣлиться пойти якобы противъ начальства. Не было у насъ никакой библіотеки для учениковъ,—даже русскихъ писателей, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя не давали намъ на руки,—и первая книга, выпрошенная мной, кажется, въ 5 классѣ, изъ большой учительской библіотеки, было смирдинское изданіе сочиненій Тредьяковскаго. Теперь, чуть не черезъ 40 лѣтъ, проведя самъ на педагогической службѣ болѣе тридцати, съ изумленіемъ обращаюсь къ своей гимназической юности съ грустнымъ воспоминаніемъ о томъ, что въ столицѣ, въ единственной педагогич-

ческой «классической» гимназій, чуть-что не съ 600 учениковъ, могла совершенно отсутствовать со стороны начальства рѣшительно всякая мысль о томъ, чтобы хотя сколько-нибудь способствовать чтеніемъ умственному и нравственному образованію тѣхъ, кого съ дѣтскихъ лѣтъ обрекали на служеніе распространенію образованія во всемъ государствѣ. И въ результатъ выходило то, что ученики, какъ справедливо говоритъ мой покойный гимназическій товарищъ, Д. И. Писаревъ, въ своей статьѣ *«Наша университетская наука»*, поступали въ университетъ невѣждами, совсѣмъ беззаботными на счетъ литературы не только иностранной, не зная такихъ писателей, какъ Шекспиръ, Шиллеръ, Гете, Диккенсъ, и т. п., — но даже и русской, причемъ начитанности и развитія по части исторической уже не было вовсе. Конечно, исключенія были, особенно начиная съ половины пятидесятихъ годовъ, но здѣсь вліяло чтеніе домашнее, — книги, приносимыя въ гимназію бывшими нашими воспитанниками — студентами; вообще вліялъ новый духъ времени, побуждавшій книгой или журналомъ дополнить свое убогое развитіе — и часто дополнить и направить, безъ всякаго руководства, вкривъ и вкось, — но гимназія, въ смыслѣ нашего обученія и образованія, была здѣсь совсѣмъ не при чемъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ преподаванію русскаго языка и словесности, которое составляетъ важный предметъ моихъ воспоминаній, брошу взглядъ на постановку въ гимназій учебныхъ предметовъ вообще, кромѣ математики и физики. Я почти не буду

называть учителей по именамъ, чтобъ не тревожить памяти людей, можетъ быть, внѣ своего учительства, и очень почтенныхъ, да и не въ именахъ дѣло, тѣмъ болѣе, что всѣ эти педагоги были продуктами своего крутаго времени и тяжкаго педагогическаго режима. Гимназія наша, какъ я сказалъ, была единственная *«классическая»*,—слѣдовательно, древніе языки играли въ ней подобающую важную роль. И нужно отдать справедливость: они тогда, не смотря на большое число отведенныхъ на нихъ уроковъ, нисколько не тяготили насъ, и между нами, въ старшихъ классахъ было не мало учениковъ, которые занимались латынью охотно и самостоятельно, и достигали въ ней весьма порядочныхъ успѣховъ. Этимъ обязаны мы были особенно покойному университетскому лектору, Григорію Ивановичу Лапшину, сѣмѣвшему своимъ, до педантизма серьезнымъ, отношеніемъ къ предмету, къ преподаванію котораго онъ относился, какъ къ какому-то священнодѣйствию, возбудить и въ насъ, юношахъ, любовь не только къ языку въ его сжатыхъ, опредѣленныхъ и яркихъ формахъ, но и къ самому содержанию писателей, особенно Вергилія и Овидія, и, вообще, къ древнему міру. Недостаточно ученый для профессора, въ гимназіи онъ былъ на мѣстѣ вполнѣ. Своею справедливою педантическою требовательностью по грамматикѣ онъ заставилъ насъ основательно работать, обращеніемъ вниманія на выразительное чтеніе латинскаго періода и стиховъ, на ихъ скандированіе, давалъ чувствовать музыкальную красоту чуждаго языка, который старался

передавать возможно красивыми оборотами русскими (мы много учили у него стиховъ наизусть), сообщеніемъ же многочисленныхъ примѣчаній литературныхъ, біографическихъ, историческихъ и археологическихъ въ разныхъ сторонахъ быта незамѣтно вводилъ насъ въ подробности жизни древняго міра. И нужно замѣтить при этомъ, что грамматика въ то время стояла на второмъ планѣ: ознакомивъ съ нею въ самыхъ основныхъ чертахъ въ третьемъ классѣ, старались поскорѣе обратить учениковъ къ чтенію авторовъ, и затѣмъ прибѣгали къ ней только по столыку, по скольку это нужно было для ихъ пониманія. Но если преподаваніе латыни, благодаря Г. И—чу, которому старались подражать и другіе латинисты, въ значительной степени способствовало нашему литературному образованію и развитію, такъ сказать, филологическаго вкуса, а личность почтеннаго наставника, не смотря на нѣкоторыя его странности и педантизмъ, возбуждала къ себѣ уваженіе, — то уже отнюдь не могу сказать этого о языкѣ греческомъ, и слова Гейне:—«Не говорите мнѣ о греческомъ языкѣ, а то я очень разсержусь» — приходятъ на память тотчасъ-же, какъ вспомню о бесполезно убитыхъ на этотъ предметъ многочисленныхъ часахъ, и убитыхъ, благодаря только безобразнѣйшему преподаванію. Хотя знали мы по-гречески немножко и больше, чѣмъ тотъ-же Гейне, утверждавшій, что «греческіе правильные глаголы отличаются отъ неправильныхъ только тѣмъ, что за правильные меньше сѣкутъ», но, сколько помню, греческій языкъ, можно сказать, отсутствовалъ въ нашемъ гимнази-



1747

ческомъ образованіи совершенно. Въѣренный до
самаго послѣдняго класса преподавателю-нѣмцу, не
выучившемуся даже правильно говорить по-русски,
крайне смѣшному своими манерами, съ какими-то
выкрикиваніями на высокихъ нотахъ бабымъ голо-
сомъ и пришепетываніемъ, ко всему этому еще
страшно разсѣянному оригиналу, бѣдный греческій
языкъ, какъ и читаемые на немъ писатели, къ ве-
ликому вреду нашего образованія, остался намъ
чуждымъ почти совершенно, и, поступивъ въ фило-
логическій факультетъ, мы должны были учиться по-
гречески съизнова. Говорятъ, преподаватель этотъ
извѣстенъ былъ еще въ молодости въ Германіи
своими филологическими трудами, и впоследствии,
кажется, не мало способствовалъ насажденію и ут-
вержденію въ Россіи новѣйшаго Катковскаго клас-
сцизма; но, какъ мнѣ теперь кажется, этотъ не-
сомнѣвающійся нѣмецъ, чиновникъ отъ классицизма,
въ наше время для насъ, юношей, представлялъ
собой первообразъ тѣхъ чеховъ, которыхъ мы при-
звали впоследствии, въ семидесятыхъ годахъ, изъ-за
границы—точно нарочно, для того, чтобъ поселить
отвращеніе, или, по крайней мѣрѣ, полное равно-
душіе въ русскихъ дѣтяхъ къ грекамъ и римля-
намъ, и ко всему, что носитъ на себѣ слѣды ве-
ликой культуры древняго міра.

Не менѣе печально были поставлены у насъ и
языки новые. Они были, прямо сказать, въ ка-
комъ-то загопѣ. Классы обоихъ новыхъ языковъ
шли своимъ порядкомъ, но не дѣлали мы почти
ничего, выѣзжая на трудахъ тѣхъ рѣдкихъ счаст-

ливцевъ, которые приносили практическое знаніе языковъ изъ дому. Преподаватели, можетъ быть, и почтенные люди, по-русски говорили почти не умѣли и не желали,—значитъ, мы ихъ не понимали. Какой-то, именно «дурацкій», господствовавшій болѣе или менѣе во всѣхъ тогдашнихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ, квасной патріотизмъ видѣлъ въ преподавателяхъ-иностранцахъ только смѣшныхъ «шмерцевъ» да тонконогихъ «легкомысленныхъ французиковъ», и ни съ кѣмъ изъ учителей не продѣлывалось столько школьныхъ глупостей и надувательствъ, какъ именно съ этими бѣдными иностранцами. Что-же касается успѣховъ въ новыхъ языкахъ, то скажу одно, что по французски я, окончивъ курсъ, могъ только читать, почти ровно ничего не понимая, а нѣмецкій языкъ, который въ дѣтствѣ зналъ почти какъ свой родной, наполовину забылъ... Такимъ-то образомъ гимназія, подготовлявшая будущихъ учителей, не дала намъ не только знанія греческаго языка, но и языковъ новыхъ.

Убита была совершенно въ гимназіи и исторія, особенно всеобщая, преподававшаяся по безобразнѣйшему, общепринятому тогда, учебнику, сначала высокопарнаго Смарагдова, а потомъ Зуева, причемъ, за неимѣніемъ библіотеки, мы рѣшительно ничего не читали по исторіи. Исторія русская, проходившаяся по краткому учебнику Устрялова, носила густую патріотическую окраску и выучивалась чуть не наизусть, такъ что и до сихъ поръ помню, напр., такой отрывокъ: «Въ шестой годъ Борисова царствованія явился въ Литвѣ человѣкъ ума

быстраго, души непомярно дерзкой (едва-ли не жидъ)»... И точно для того, чтобы нагляднѣе показать намъ всю незначительность и придавленность такого предмета, какъ исторія, и преподаватель исторіи былъ у насъ какой-то необыкновенно загнанный,—изъ семинаристовъ, страшно боявшійся и начальства, и даже насъ, всегда ходившій на ципочкахъ и тонкимъ голоскомъ задававшій намъ по книгѣ отсюда до сюда, или очень рѣдко, съ акцентомъ на ъ, рассказывавшій своими словами почти тоже самое, что стояло въ учебникѣ. Впрочемъ, это былъ добрый, простой человѣкъ, никого никогда не обижавшій, ставившій всѣмъ хорошіе баллы. Кажется, впоследствии онъ былъ гдѣ-то въ провинціи директоромъ гимназіи, и, говорятъ, хорошимъ, но что ему была исторія, и что онъ для исторіи?

Таково было на рубежѣ стараго Николаевского времени и начала новыхъ Александровыхъ дней положеніе въ нашей «филологической» гимназіи учебныхъ предметовъ, долженствовавшихъ дать намъ въ совокупности «образованіе» общее, гуманитарное, просвѣщенные и вооруженные которымъ, мы должны были вступить въ главный педагогическій институтъ или университетъ. Я нарочно оставилъ подъ конецъ русскій языкъ и словесность, и перейду теперь къ нимъ.

Годъ пребыванія въ 3 классѣ, уже 3-й гимназіи, по отношенію къ русскому языку представляется мнѣ какъ-то смутно. Тѣ-же диктовки, то-же ученіе и писаніе стиховъ наизусть, тоже чтеніе и рассказъ

по той-же книгѣ для чтенія Максимовича, — новое представляла только грамматика, которая уже не писалась на доскѣ, какъ въ 1-й гимназіи, а была роздана каждому ученику, въ видѣ тоненькой-тоненькой книжечки, цѣной въ 7 коп.—«Сокращенная грамматика Востокова», которая, раздѣленная учителемъ на маленькія порціи (синтаксисъ помѣщался въ ней на нѣсколькихъ страницахъ), вся съ начала до конца, со всѣми примѣрами, была за годъ выучена нами слово въ слово и послужила основой и единственнымъ прочнымъ матеріаломъ нашихъ грамматическихъ знаній. Кромѣ этой сокращенной, было еще дано на классъ нѣсколько экземпляровъ грамматики того-же Востокова, но уже полной, цѣной, кажется, въ 17 коп. Она должна была служить для справокъ по правописанію, но, такъ какъ я былъ грамотенъ, и даже въ *ятыхъ* ошибокъ не дѣлалъ, то и не раскрывалъ ея вовсе. Хорошая была эта тоненькая русская грамматика, написанная хотъ и нѣмцемъ, но просвѣщеннымъ и серьезнымъ филологомъ, съумѣвшимъ выбрать изъ нашихъ грамматическихъ дебрей только самое существенное и необходимое, и изложить все это строго-догматически, просто и точно настолько, что она, при внимательномъ чтеніи, была понятна 12—14 лѣтнимъ дѣтямъ даже безъ всякихъ объясненій; да и самыя-то выраженія на столько въ ней сжаты и опредѣленны, что весьма хитро, да и незачѣмъ было ученику излагать ее своими словами, а достаточно только при отвѣтахъ иллюстрировать ее своими примѣрами, по образцу приведенныхъ въ книжкѣ, что и дѣлалось нами безъ особенныхъ затруд-

неній, точно также какъ и этимологическіе разборы по формулѣ. Впослѣдствіи, просматривая и проходя, уже учителемъ, съ учениками курсъ грамматики по разнымъ обязательнымъ учебникамъ, которыхъ развелось у насъ видимо-невидимо, и гдѣ авторы ихъ пускались въ тонкости фонетики и словообразованія, я часто вспоминалъ эту «тоненькую» грамматику Востокова, и удивлялся, почему это мы, старые гимназисты, кромѣ нея, никакой грамматики не изучавшіе, и разставшіеся совсѣмъ съ русской грамматикой въ III классѣ, и грамотны были, и могли безъ труда заниматься грамматиками другихъ языковъ; между тѣмъ какъ потомъ, да часто и теперь, эта грамматика проходится усиленно, иногда даже въ старшихъ классахъ, а ученики пишутъ съ ошибками и путаются въ терминахъ, на что жалуются учителя древнихъ и новыхъ языковъ. И случалось мнѣ, и на частныхъ урокахъ, и въ низшихъ классахъ военной гимназіи, въ шестидесятихъ годахъ, вводить этотъ краткій востокowski курсъ, присоединяя къ нему свой сжатый конспектъ синтаксиса, рассчитанный на правила пунктуаціи,—и результатъ выходилъ хорошій. Я, конечно, нисколько не умаляю достоинствъ многихъ почтенныхъ трудовъ по русской грамматикѣ, явившихся для школьнаго преподаванія за эти сорокъ лѣтъ; но, на основаніи опыта, позволю себѣ утверждать, что въ курсѣ средняго образованія грамматика роднаго языка должна быть доведена до строгаго минимума, имѣющаго ввиду только правописаніе, пунктуацію и основной логическій (синтаксическій) разборъ, съ котораго и на-

чинается нынѣ преподаваніе, и должна быть закончена въ третьемъ, много—въ четвертомъ классѣ, причемъ въ рукахъ учениковъ долженъ быть одинъ сжатый и опредѣленный учебникъ, который обязательно знать весь возможно ближе къ тексту и съ примѣрами *). Всякое дальнѣйшее развитіе собственно грамматическаго курса, сухаго и неинтереснаго для дѣтей, и особенно растягиваніе грамматики на нѣсколько лѣтъ, до старшихъ классовъ, въ видѣ всякихъ «концентрацій съ цѣлью расширенія понятій» и повторительныхъ курсовъ, утверждаю прямо,—идеть во вредъ здоровому развитію юношескаго ума, сковываемаго ненужной схоластикой и еще болѣе въ ущербъ усвоенію живаго роднаго языка и литературнаго образованія. Филологія вообще и грамматика роднаго языка въ связи съ церковно-славянскимъ и другими славянскими нарѣчіями дѣло филолога-студента, а никакъ не гимназіи, которая есть прежде всего, и единственно, заведеніе общеобразовательное. Загроможденіе же въ гимназіяхъ такого важнѣйшаго предмета, какъ родной языкъ, массою грамматическаго матеріала ведетъ только къ страшному пониженію *«общаго образованія»*.

Августъ 1853 года, когда я перешагнулъ изъ третьяго класса въ четвертый, отнесенный въ гимназіи уже къ старшимъ классамъ, даже занимав-

*) Такими учебниками, наиболѣе практичными, изъ новыхъ, знаю я только два:—*Элементарная грамматика*, Д. И. Тихомирова, и *Сокращенная практическая грамматика*, Поливанова; изъ болѣе пространныхъ назову грамматики *Кирпичникова* и *Смирновскаго*.

шимся въ особой большой камерѣ, начинается для меня новый періодъ, такъ сказать, моего литературнаго гимназическаго образованія. Этотъ періодъ, продолжавшійся до университета пять лѣтъ (въ 5 классѣ сидѣлъ я изъ-за недававшейся мнѣ математики два года), тѣсно связанъ для меня съ незабвенной личностью покойнаго Владиміра Яковлевича Стоюнина, преподававшаго во всѣхъ старшихъ классахъ русскій языкъ и словесность и все время состоявшаго секретаремъ педагогическаго совѣта, на который имѣлъ онъ большое вліяніе, и гдѣ вѣское и умное его слово было авторитетомъ. Изъ всего тогдашняго педагогическаго персонала, за все шестилѣтнее мое пребываніе въ 3-й гимназіи, насколько представляется оно теперь въ моемъ воображеніи, прямо долженъ сказать, что, на мой личный взглядъ, этотъ человѣкъ только и былъ у насъ одинъ настоящимъ серьезнымъ педагогомъ, любившимъ свое дѣло и созвательно стремившимся подѣйствовать на насъ юношей своимъ преподаваніемъ и отношеніемъ къ намъ не только образовательно, но и воспитательно. Его свѣтлая личность окончательно рѣшила мое педагогическое и литературное призваніе, и во всю мою педагогическую дѣятельность по настоящее время служить мнѣ идеаломъ учителя и человѣка. Въ жестокій вѣкъ сухаго формализма казенной педагогіи, когда учитель былъ почти всегда только чиновникъ, рѣдко пріобрѣтавшій уваженіе учениковъ и обыкновенно игравшій роль точнаго исполнителя приказаній начальства, у котораго старался заискать расположение, Стоюнинъ, нѣсколько суховатый, пожа-

луй, гордый на видъ, серьезный и сосредоточенный, сдержанный и ровный въ обращеніи, рѣзко отличался отъ всѣхъ учителей и гувернеровъ какою-то особой манерой держать себя такъ, что его невольно именно уважали, какъ мы, дѣти и юноши, такъ, сколько могли мы замѣтить, и всѣ другіе преподаватели и начальство, какъ наше гимназическое, такъ даже и высшее, наѣзжавшее въ гимназію. Онъ отнюдь не былъ, такъ называемымъ, популярнымъ учителемъ, и вовсе не искалъ этой популярности: держалъ себя отъ насъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, немножко, что называется, на высотѣ; но никого мы такъ не уважали, и даже не любили, хотя и не умѣли, да и не могли, при тогдашнемъ отдаленіи ученика отъ учителя, выразить ему этой любви видимымъ образомъ. Была въ этомъ человѣкѣ большая нравственная сила, поддерживавшая въ немъ собственное достоинство человѣка и побуждавшая и насъ, школьниковъ, уважать его личность. Никогда не унижалъ онъ себя до несправедливости, до раздраженія, окрика или грубости, рѣдко даже возвышалъ голосъ; никого никогда не наказывалъ, ни на кого не жаловался и почти, особенно въ старшихъ классахъ, не ставилъ дурныхъ балловъ, не придавая и вообще балламъ значенія; но всѣ мы вели себя у него въ классѣ прилично, такъ что внутренняя дисциплина была у него образцовая, и всѣ, до самыхъ неспособныхъ и апатичныхъ, рѣшительно всѣ, занимались у него—кто какъ могъ. Вторая особенность покойнаго, дѣйствовавшая на юношей, была дѣйствительная, настоящая и серьезная образованность, соединенная съ

культурностью, проявлявшеюся въ его обращеніи, манерахъ и тактѣ. Рѣчь его, не блиставшая красно-рѣчіемъ, пафосомъ, эффектами, поражала насъ своей свободой и простотой въ выборѣ словъ и выраженій, опредѣленностью, необыкновенной ясностью и содержательностью, а когда касался онъ своихъ любимыхъ предметовъ, достигала одушевленія и сердечности. Видно было и намъ, юношамъ, что у этого чловѣка въ душѣ, что называется, Богъ былъ, и прочно заложены дорогія убѣжденія: такъ, какъ Владиміръ Яковлевичъ, у насъ и съ нами не говорилъ въ гимназій никто, а горячія и серьезныя рѣчи его на выпускныхъ актахъ, отличавшихся тогда большою торжественностью, были въ нашихъ глазахъ торжествомъ нашего наставника.

Но, конечно, главная «образовательная» сила его, какъ учителя, заключалась въ самомъ преподаваніи. Но прежде, чѣмъ говорить о послѣднемъ, надобно принять во вниманіе, что въ эти—1853—58 годы, учитель словесности былъ поставленъ въ тѣсныя рамки схоластической программы, составленной по пресловутымъ обязательнымъ книжкамъ Зеленецкаго (реторика, піитика и исторія литературы), которыя мы должны были за три класса (пятый, шестой и седьмой) знать, лукаво не мудрствуя. Писатели, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Жуковский были изданы Богъ знаетъ какъ, дорого и съ урѣзками, да и книгъ было мало, и онѣ были рѣдки, при этомъ еще Гоголь былъ не въ фаворѣ, а о Бѣлинскомъ въ классѣ не упоминалось вовсе, и—извѣстная хрестоматія А. Д. Галахова, составленная, кажется, по поруче-

нію Управленія военно-учебныхъ заведеній для корпусовъ, была единственной нашей живой настольной книгой въ классахъ словесности, а изданныя отдѣльно къ ней примѣчанія (III часть) единственнымъ источникомъ, изъ котораго почерпали мы, въ смыслѣ книги, здравыя понятія по теоріи словесности. Никакихъ подробныхъ разборовъ произведеній въ родѣ тѣхъ, какія находимъ въ извѣстныхъ книгахъ Стоюнина и Водовозова, не было еще и въ поминѣ: все это, пособія, сборники авторовъ и отдѣльныя изданія ихъ сочиненій, явились потомъ; въ то же время, о которомъ говорю я, положеніе преподавателя словесности, безъ пособій, бібліотеки, при схоластической программѣ, тщательно очищенной отъ всякихъ «вольномысліи», входящихъ въ юношескія головы черезъ литературу, было крайне тяжелое. Но и въ это дореформенное время между словесниками находились добрые и образованные люди, которые, пользуясь находящимся въ ихъ рукахъ скуднымъ матеріаломъ, ухитрялись развивать вкусъ молодежи, обращать ея интересы къ писателю, къ хорошей книгѣ, даже давать кое-какія положительныя эстетическія и историко-литературныя знанія. Въ числѣ такихъ людей Стоюнинъ безспорно занималъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ во всей Россіи.

Но постараюсь въ общихъ чертахъ припомнить, какъ велъ насъ покойный. Уже въ четвертомъ классѣ, куда переходили мы совсѣмъ грамотными и умѣя письменно пересказывать прочитанное, повѣяло на насъ совсѣмъ новымъ духомъ. Не могу припомнить, что за курсъ полагался въ этомъ классѣ, — помню

одно: роздали намъ Славянскую грамматику Пенинскаго, довольно объемистую и съ хрестоматіей, но много-много разъ пятнадцать—двадцать въ году мы по ней читали и переводили Евангеліе, да, кажется, выучили спряженіе глаголовъ. Но эти занятія были у насъ какимъ-то придаткомъ, чѣмъ-то такимъ, что нужно было проглотить, какъ пилюлю, не спрашивая, зачѣмъ это нужно, и чему и самъ преподаватель, повидимому, не придавалъ значенія. Роздали еще и обѣ части хрестоматіи Галахова, изъ которыхъ на вторую (поэзію) и набросились мы съ жадностью, зачитываясь разнообразными ея образцами и, не довольствуясь отрывками, стали стараться пріобрѣсти гдѣ нибудь на прочтеніе и цѣлое сочиненіе. Такой интересъ къ этой книгѣ возбудилъ въ насъ и Стоюнинъ, прочитавшій изъ нея нѣсколько образцовъ, рассказавшій намъ кое-что о жизни ихъ авторовъ и по ней назначая образцы для устнаго изученія, причемъ при отвѣтѣ заставляя объяснять отдѣльные слова и выраженія и пересказывать выученное кратко и подробно. Съ этого то четвертаго класса и начали мы интересоваться чтеніемъ, которое продолжалось у насъ до самаго выхода, все успиваясь и снособствуя нашему развитію. Здѣсь не могу не вспомнить маленькаго эпизода, относившагося именно къ четвертому классу. Изъ библіотеки, какъ я сказалъ, никакихъ книгъ не давали, приносить съ собой книги изъ дому тоже не всегда было удобно, и вотъ придумали мы, чтобы тѣ изъ насъ, кто ходитъ въ отпускъ и можетъ читать дома, прочитывали интересныя книги, а затѣмъ, возвратившись

въ гимназію, рассказывали прочитанное товарищамъ, чтобы такимъ образомъ мѣнялись содержаніемъ прочитаннаго и знакомить съ книгами тѣхъ бездомныхъ, которымъ не къ кому было ходить, и кто сидѣлъ въ гимназіи безвыходно. Такъ образовалось у насъ въ темномъ углу длиннаго корридора нѣчто въ родѣ маленькаго кружка, клуба гдѣ, въ зимніе вечера, послѣ вечернихъ занятій, а то и въ спальнѣ по ночамъ, шли не только оживленные рассказы прочитаннаго, которыми разскащики старались отличаться, но и долгіе жаркіе дебаты.

Кромѣ изученія стиховъ и прозаическихъ отрывковъ, съ четвертаго же класса начались очень заинтересовавшія насъ небольшія самостоятельныя сочиненія, которыя, обыкновенно, тутъ же читывались и обсуждались сообща въ классѣ, подъ руководствомъ преподавателя, причемъ къ обсужденію призывался весь классъ; самъ же преподаватель только направлялъ насъ, указывалъ погрѣшности и помогалъ ихъ исправленію. И что особенно нравилось намъ, 14—15 лѣтнимъ мальчикамъ—это то, что учитель обращался съ нами, какъ со взрослыми, никогда не смѣясь надъ нашимъ невѣжествомъ. Такъ заинтересовались мы понемногу и книгой, стали присматриваться къ самымъ способамъ выраженія, начали инстинктивно чувствовать силу и красоту языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ пріучались разбирать самый строй сочиненія, т. е. его тему, планъ, части. Гордась тѣмъ, что мы «учились уже у Стоюнина, — и значитъ, не какіе нибудь школьники, а настоящіе заправскіе гимназисты», — перешли мы въ

5-й классъ, гдѣ занятія приняли характеръ уже болѣе систематическій. Хрестоматія оставалась та-же, но по ней уже задавались для ученія наизусть вещи болѣе серьезныя, очень нравившіяся намъ музыкаю стиха, напр., *Умирающій Тассъ*, *Тынь друга*, *На развалинахъ замка въ Швеции* — Батюшкова, *На смерть Гете* — Баратынского, особенно много произведеній Пушкина, *На смерть князя Мещерскаго* — Державина. Реторику Зеленецкаго хотя намъ и роздали, но по ней проходило очень мало, всѣ же необходимыя понятія изъ теоріи словесности, логики и психологіи просто и ясно рассказывалъ преподаватель, за которымъ записывали мы весь урокъ въ видѣ сжатыхъ конспектовъ; такъ же велось дѣло по словесности и въ 6 классѣ, гдѣ на рукахъ у насъ была пѣтика Зеленецкаго. Просматривая впоследствии эти конспекты, послужившіе матеріаломъ и мнѣ для занятій съ учениками на первыхъ порахъ моей учительской дѣятельности, я увидѣлъ, что въ этихъ конспектахъ въ сжатомъ видѣ излагался тотъ матеріалъ, который вошелъ потомъ въ книгу Стоюнина *«Руководство къ теоретическому изученію литературы»*. Сочиненія и ихъ разборъ въ классѣ попрежнему занимали самое видное мѣсто, и вотъ нѣкоторые изъ насъ осмѣлились представить на судъ учителя свои стихотворные опыты. Не смѣясь надъ слабыми произведеніями нашей школьной музы, явно подражавшими изучаемымъ образцамъ, онъ серьезно останавливался на ихъ формѣ и содержаніи, показывалъ всю трудность этой формы и ничтожность, бѣдность или надуманность нашихъ поэ-

тических вымысловъ съ вымышленными же чувствами; вездѣ прибѣгалъ онъ къ сравненіямъ нашихъ опытовъ съ произведеніями писателей великихъ, показывая намъ этимъ истинное значеніе и требованія поэзіи. При этомъ мягко осуждая, въ самомъ дѣлѣ, плохія произведенія оригинальныя, онъ однако сочувственно относился къ переводамъ одного изъ насъ изъ Гете, причемъ прочитанныя въ классѣ отрывки изъ Иогеніи въ Тавридѣ подали поводъ къ живой бесѣдѣ и о самой пьесѣ, и объ ея авторѣ. Всѣмъ этимъ воспитывался въ насъ литературный интересъ—единственный, кажется, умственный интересъ въ гимназіи, а рассказъ старшихъ товарищей о происходившихъ тогда въ 6 и 7 классахъ литературныхъ бесѣдахъ, гдѣ отличался своими сочиненіями тотъ или другой ученикъ, возбуждали заманчивыя мечты о томъ, какъ то на будущій годъ будемъ принимать участіе въ бесѣдахъ и мы. Но мечтамъ этимъ лично для меня осуществиться не пришлось: къ великой моей горести, изъ-за математики и физики остался я въ 5 классѣ, а когда на слѣдующій, 1856 годъ, перешелъ въ шестой, бесѣды эти, такъ много способствовавшія развитію и литературному образованію учениковъ, уже были прекращены. Еще до каникулъ 1856 года—значить, передъ переходомъ въ 6-й классъ, вѣроятно, имѣя въ виду бесѣды, В. Я. предложилъ желающимъ выбрать по одному изъ русскихъ писателей, котораго на каникулахъ и изучить, и затѣмъ результаты этого изученія представить осенью, въ видѣ сочиненія. Теперешній пятый классъ новыхъ

моихъ товарищей былъ плохой, и охотниковъ взять работу, кажется, почти не нашлось; но я взялъ, помнится, по совѣту Стоюнина, Веневитинова, котораго сочиненія мнѣ и были выданы изъ библіотеки. Упоминаю объ этомъ потому, что эта первая моя, такъ сказать, отвѣтственная литературная работа доставила мнѣ на каникулахъ истинное наслажденіе, и я не безъ нѣкоторой гордости представилъ разборъ осенью свосму любимому преподавателю. Разборъ, конечно, оказался довольно слабъ, но В. Я. предложилъ мнѣ переработать его, подъ его руководствомъ, воспользовавшись данными мнѣ, какъ матеріалъ, нѣсколькими критическими статьями. Но, такъ какъ бесѣды были прекращены, и послѣ каникулъ не состоялось даже и одной, то Стоюнинъ предложилъ мнѣ прочесть мою работу публично на актѣ, что я, перейдя въ 7-й классъ въ Іюнѣ 1857 г., и сдѣлалъ, поощренный апплодисментами публики и товарищей *).

Послѣдній годъ моего пребыванія въ гимназіи (1857—1858) вспоминаю съ удовольствіемъ. Всеобщее пробужденіе Россіи къ новой жизни пахнуло свѣжимъ воздухомъ и на нашу гимназію. Поступило нѣсколько молодыхъ преподавателей, заговорившихъ совсѣмъ новымъ языкомъ, даже старые какъ-то подтянулись и стали менѣе педантичны и придиричивы. Порки не было уже и въ поминѣ, и даже въ маленькихъ классахъ прекратились воспитательскіе, а то

¹⁾ Это сочиненіе невыпускаго ученика, кажется, было въ 3-й гимназіи единственнымъ, прочитаннымъ на актѣ.

и преподавательскіе, щипки и колотушки, и всѣмъ ученикамъ, не взирая на возрастъ, стали говорить— «вы». Приходя послѣ праздниковъ въ гимназію, ученики приносили изъ дому вороха новостей, слуховъ о реформахъ, предположеній, мечтаній, вопросовъ— и все такихъ живыхъ, интересныхъ; стали появляться въ гимназіи книжки журналовъ— «Современникъ» и «Русскій Вѣстникъ», и въ старшей камерѣ и по ночамъ въ спальнѣ пошли нескончаемые дебаты обо всемъ этомъ, а у учениковъ седьмого класса разговоры о будущей дѣятельности и, сообразно съ ней, выборѣ факультета. Но, кажется, болѣе всего способствовали въ эту пору умственному нашему оживленію наши старшіе товарищи, уже студенты, большею частію, бывшіе наши пѣвчіе, свободно посѣщавшіе во внѣклассное время свою alma mater, нерѣдко обѣдавшіе и пившіе чай, по старой памяти, вмѣстѣ съ нами и принимавшіе участіе въ многочисленныхъ спѣвкахъ и церковныхъ службахъ. Они помогали намъ готовить уроки, носили книги и передавали университетскія и городскія новости... Не по днямъ, можно сказать, а по часамъ росла наша гимназическая молодежь, такъ недавно еще дѣтски-наивная, и ничего, кромѣ гимназическихъ стѣнъ и скучной учебы, не вѣдавшая, почти ничего, кромѣ нѣкоторыхъ русскихъ писателей, не читавшая,...— молодежь, которая два года назадъ, наскоро вымуштрованная на военный ладъ во время крымской войны, парадировала вмѣстѣ съ отрядами изъ другихъ гимназій и университета на майскомъ парадѣ, и рвалась на войну сложить за отечество свои по-

бѣдныя головы;—и многіе, выйдя въ юнкера, и сложили...

Обращаясь къ урокамъ словесности въ этомъ послѣднемъ, седьмомъ, классѣ, вспоминаю, что въ рукахъ у насъ была невозможная *Исторія русской литературы* Зеленецкаго, но по ней отвѣчали мы только на выпускномъ экзаменѣ; въ классѣ же знакомились съ выдающимися произведеніями русской литературы, преимущественно XVIII вѣка, въ историческомъ освѣщеніи, продолжая въ тоже время учить наизусть нѣкоторые образцы. Сжатые и дѣльные рассказы В. Я. были по-прежнему интересны и поддерживали и развивали въ насъ любовь къ родной литературѣ; но замѣчательно вотъ что: потому ли, что новѣйшіе русскіе писатели, вообще, не смотря на наступленіе новаго времени, еще не допускались въ курсъ литературы, или по чему другому, но только, даже въ классахъ В. Я. Стоюнина, мы почти ровно ничего не слышали ни о Лермонтовѣ, ни о Гоголѣ, и весьма мало о Пушкинѣ... Все это, болѣе живое, болѣе понятное молодежи, весь этотъ матеріалъ, который вошелъ потомъ въ «Руководство къ теоретическому и историческому изученію литературы» и въ «Пособіе при преподаваніи словесности»—все это было еще не для насъ, и, какъ я слышалъ отъ позднѣйшихъ учившихся у Стоюнина поколѣній, вошло въ уроки его въ гимназій нашей и женской Маріинской, уже послѣ нашего окончанія курса.

Написавъ на выпускномъ экзаменѣ сочиненіе «О пользѣ чтенія книгъ» и прочтя на торжественномъ

актѣ 19 іюня 1858 г., гдѣ гимназическимъ хоромъ былъ даже пропѣтъ хоръ изъ Карла Смѣлаго (такъ цензура окрестила извѣстную оперу Россини Вильгельмъ Телль) «какъ ярко солнца лучъ играетъ», прощальную рѣчь со стихами къ товарищамъ, я окончилъ курсъ своего гимназическаго образованія и безъ экзамена поступилъ на филологическій факультетъ петербургскаго университета.

Обращаясь въ воспоминанія о давно отошедшемъ, такъ сказать, въ глубь временъ, къ моему окончанію гимназическаго курса, брошу еще взглядъ на свою гимназическую alma mater и на то, съ какимъ капиталомъ знанія выпускала она, въ лицѣ моемъ, въ университетъ будущаго учителя словесности. Оговариваюсь, что говорю только о тѣхъ шести годахъ (1852—1858), когда учился тамъ я.

Удивительное, какъ подумаю теперь, было это учебное заведеніе. Единственное въ столицѣ, оно имѣло прямою цѣлью готовить будущихъ учителей-педагоговъ и, сообразно этой цѣли, было единственное филологическое съ двумя древними языками, которые должны были сообщить уму извѣстную строгую дисциплину и, конечно, знаніе писателей и классическаго міра. Во главѣ заведенія былъ поставленъ, безспорно добрейшій и почтенный человѣкъ, извѣстный педагогъ, Ѳ. И. Буссе. Большинство учениковъ, изъ которыхъ многіе спроты никогда не ходили въ отпускъ, были пансіонеры,—слѣдовательно—всецѣло находились подъ вліяніемъ гимназіи. И между тѣмъ, что-же мы видимъ? Было ли это заведеніе сколько-нибудь «педагогическое», въ смыслѣ видимаго влія-

нія на общій строй со стороны директора? Кого избиралъ онъ себѣ въ ближайшіе помощники въ качествѣ инспекторовъ, гувернеровъ—воспитателей? Какія мѣры къ нашему облагороженію, развитію нравственному и умственному предпринимались со стороны ихъ? Тяжелы на это отвѣты,—тяжелы даже теперь, почти черезъ сорокъ лѣтъ. Директора мы видѣли только обходящимъ гимназію и распекающимъ провинившихся; не смотря на всю абсолютную его честность, насъ обрѣзывали въ пищѣ и одеждѣ совершенно такъ же, какъ, большею частію, это дѣлалось и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ; одинъ изъ инспекторовъ, какъ я упоминалъ, драгъ несчастныхъ дѣтей безпощаднѣйшимъ образомъ; другой, грубоватый и солдатообразный, отличался только строгостью и исполнительностью, не блеща образованіемъ и не оставивъ, во мнѣ по крайней мѣрѣ, никакого воспоминанія, какъ о человѣкѣ сколько-нибудь сердечномъ. Воспитатели?—но лучше не говорить объ этихъ несчастныхъ неудачникахъ, загнанныхъ нуждой на каторжную, оплачиваемую жалкими грошами, подневольную воспитательскую службу. Можетъ быть, многіе изъ нихъ и хорошіе были люди,—тамъ у себя дома; но, Господи, какими убогими, невѣжественными оригиналами, надъ которыми мы жестоко, безсердечно потѣшались и которыхъ уже нисколько не уважали, какими озлобленными мучителями были они, за рѣдкими исключеніями, которыя, впрочемъ, продерживались въ гимназіи очень короткое время. И никакой то, рѣшительно никакой библіотеки, ни гимнастики, ни игръ,—

ничего, совѣтъ ничего, чтобъ хоть чѣмъ-нибудь наполнить, скрасить нашу казарменную жизнь... Что мы читали, и читали-ли что-нибудь, на что, куда направлялось наше нравственное и умственное развитіе—никому до этого не было никакого дѣла...

Но вѣдь заведеніе наше было не только общеобразовательное; — какъ имѣющее цѣлью подготовленіе педагоговъ, оно должно было быть образовательнымъ по-преимуществу. Могъ-ли тотъ скарбъ знаній, который намъ давали, назваться образованіемъ? Указавъ уже ранѣе на отдѣльные предметы (оставляю математику съ физикой, такъ какъ или я былъ совѣтъ къ нимъ неспособенъ, или не умѣли меня имъ выучить), долженъ я сказать: знанія наши были самыя жалкія, отрывочныя, не освѣщенные никакой общей мыслью, цѣлью; знанія чисто формальныя, такъ сказать, школьныя, улетучивавшіяся безвозвратно тотчасъ послѣ экзамена. Въ классахъ новыхъ языковъ мы забывали и то, что знали дома; ни греческій языкъ, ни исторія, можно сказать, не существовали,—для меня, по крайней мѣрѣ,—вовсе, и только одна латынь, связанная съ личностью педагогическаго, но почтеннаго, любившаго свой предметъ, Г. И. Лапшина, да словесность, преподаваемая такою образованною, свѣтлою личностью, какъ В. Я. Стоюнинъ, дали мнѣ нѣкоторый запасъ знаній, и поселили во мнѣ, юношѣ, уваженіе къ личности преподавателя и платоническое благоговѣніе передъ неяснымъ еще для меня, но влекущимъ къ себѣ словомъ «образованіе». Не будь этихъ двухъ людей, которые, кажется, и побудили меня, тогда еще, въ

гимназіи, рѣшиться избрать педагогическую дѣятельность,—я вышелъ бы въ университетъ круглымъ невѣждой. Да и въ этихъ то двухъ предметахъ, латыни и словесности, образованіе мое все таки было довольно жалкое. Изъ латинскихъ классиковъ я, кромѣ читанныхъ въ классѣ отрывковъ, самъ, самостоятельно, по своей охотѣ, не прочелъ ровно ничего, а въ области литературы, не только не читалъ почти вовсе ни Шекспира, ни Диккенса, ни Теккерея, но мало былъ знакомъ и съ новыми русскими писателями. Но какъ-же, спросить читатель, выпускались, съ аттестатами такіе невѣжды, какъ я? Да такъ — же и выпускались, и не я одинъ, а, полагаю, большинство; вѣдь въ классѣ можно было отдѣлываться вызубриваніемъ клочка курса, или школьнымъ обманомъ, практиковавшимся, безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, изъ урока въ урокъ, что знали и сами учителя, и время отъ времени жестоко каравшіе неумѣлыхъ простофиль, попадавшихся въ-просакъ, а къ экзамену курсъ, сокращаемый до минимума, вызубривался по билетамъ, которые бывали зачастую и подмѣнные, — только не нужно было попадаться...

Но вѣдь все-же въ нашей гимназіи, типически отражавшей въ себѣ все тогдашнее русское среднее образованіе, было хоть что-нибудь такое, о чемъ въ настоящее время всякихъ строго соображенныхъ и исполняемыхъ программъ, нравственныхъ дисциплинъ и т. п. можно искренно пожалѣть? Да, было, — и вотъ что. Не смотря на весь строжайшій казарменный режимъ, обусловленный немногими прави-

лами, преслѣдовавшими внѣшнее благочиніе и порядокъ, личности ребенка, а тѣмъ болѣе юношѣ, въ старшихъ классахъ (съ IV-го) предоставлялась полная свобода заниматься и дѣлать съ собой, что угодно. Приготовленіе уроковъ, въ значительной степени все-таки усвоиваемыхъ въ классѣ, да и задававшихся по учебнику въ малыхъ дозахъ, у сколько нибудь способнаго ученика времени брало немного, а у нѣкоторыхъ учителей репетиціонные отвѣты были довольно рѣдки, и къ нимъ только и готовились, такъ-что свободнаго времени было довольно. Правда, большинство наполняло свой досугъ безпросыпнымъ сномъ или битьемъ баклушъ; но кто хотѣлъ читать и умѣлъ добывать книги, тотъ читалъ; въ особомъ классѣ былъ рояль, и тамъ играли и пѣли, а то составлялись по вечерамъ цѣлые хоры въ старшей камерѣ, или разыгрывались на большихъ, сдвинутыхъ въ видѣ подмостокъ, плоскихъ столахъ цѣлыя сцены изъ пьесъ, напр., «Недоросля» и др. Рѣдко, помнится, и выгоняли тогда учениковъ, стараясь, какъ-ни-какъ дотянуть малаго до окончанія курса, особенно, если онъ обнаруживалъ наклонность хотя-бы къ одному изъ преподаваемыхъ предметовъ. Этому въ глазахъ начальства и совѣта придавалось великое значеніе, и на ученика, отличавшагося по словесности, смотрѣлъ болѣе снисходительно математикъ,—и на оборотъ. Такимъ образомъ, со среднихъ классовъ, когда уже болѣе опредѣлялись наклонности, призваніе юноши, его старались ободрить и поддержать въ этомъ направленіи, и въ результатѣ выходило то, что въ старшихъ

классахъ оказывались у насъ свои математики (правда, кромѣ математики, не дѣлавшіе ничего по другимъ предметамъ), словесники, латинисты, занимавшіеся вволю своимъ любимымъ предметомъ, и въ послѣдствіи выходившіе хорошими спеціалистами, которыми гимназія не заградила пути въ университетъ.

Нельзя не помянуть добромъ также и тогдашняго положенія гимназическаго учителя, особенно старшихъ классовъ. Онъ былъ поставленъ самостоятельно и вообще въ гимназіи, и въ совѣтѣ, который тоже не былъ тогда стѣсненъ всякими циркулярами и регламентаціями такъ, какъ, напр., въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ. Личность учителя, въ общемъ, была въ глазахъ учениковъ священна, и если продѣлывались съ учителями всякія дурачества въ младшихъ классахъ, то въ старшихъ уже ничего подобнаго почти не случалось, и терпѣли даже самыхъ плохихъ; но за то, если попадались личности, въ родѣ Г. И. Лапшина, или В. Я. Стоюнина, то они пользовались общимъ уваженіемъ и могли имѣть на учениковъ большое вліяніе,—тѣмъ болѣе, что умѣли и могли всегда отстоять юношу въ совѣтѣ, или передъ начальствомъ.

Такимъ-то образомъ, какъ ни многіе, болѣе слабые изъ насъ, становились жертвами тогдашняго школьнаго режима и условій своеобразно понимаемаго образованія, но, на сколько помню, всѣ, сколько нибудь поумнѣе и поспособнѣе, такъ или иначе, все-таки оканчивали курсъ, и выходили изъ гимназіи хотя и довольно свободными отъ наукъ (если не имѣ-

ли къ какой-нибудь изъ нихъ особой склонности), то и безъ отвращенія къ нимъ. Можно было не любить математики, или древнихъ языковъ, можно было мало интересоваться литературой, но никто изъ насъ не выносилъ изъ гимназіи ни къ одному предмету отношенія враждебнаго, хотя бы даже лично онъ и не любилъ самого преподавателя. Юноша конца пятидесятихъ годовъ, до котораго еще на гимназической скамьѣ доносились слухи о востребованной жизни въ университетахъ и о новыхъ профессорахъ, хотя и очень плохо былъ подготовленъ къ воспріятію университетской науки, но бодро и съ розовыми надеждами глядѣлъ впередъ, платонически вѣря въ заманчивость и силу науки и жадно стремясь къ образованію, недостатокъ котораго въ себѣ онъ смиренно сознавалъ.

II.

Университетская наука. — Общія замѣчанія о Петербургскомъ университетѣ конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ. — Характеръ преподаванія. — Характеристики профессоровъ; М. М. Стасюлевичъ, М. С. Куторга, Н. И. Костомаровъ, Н. М. Благовѣщенскій, А. В. Никишенко, И. И. Срезневскій, А. Н. Пыпинъ. — Благодарная память университету.

Въ настоящее время, какъ большинство нашего общества, такъ и молодыя поколѣнія преподавателей и еще готовящіеся къ преподавательству студенты, къ сожалѣнію, могутъ составить себѣ только самыя неясныя, неточныя и отрывочныя представленія о любопытной эпохѣ въ жизни Петербургскаго университета конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ, закончившейся осенью 1861 г., такъ называемой *«первой студенческой исторіей»*, закрытіемъ самаго университета и выходомъ въ отставку многихъ лучшихъ профессоровъ. Студенты того времени, къ числу которыхъ принадлежалъ и я, записокъ своихъ, кажется, не печатали, и, въ большинствѣ, перемерли, или-же такъ приспособились къ дальнѣйшимъ теченіямъ жизни, что или постарались основательнѣйшимъ образомъ забыть «годы юности», или-же относятся къ этому времени заднимъ числомъ съ одностороннимъ, и далеко не безпристраст-

нымъ, осужденіемъ, а то и насмѣшкой, забывъ, что это то время ихъ и вскормило, и выдвинуло. На сколько мнѣ извѣстно, за исключеніемъ одного В. Д. Спасовича, изъ прекрасной статьи котораго въ книгѣ «*За много лѣтъ*» (чуть-ли не единственной правдивой и безпристрастной) можно познакомиться съ этимъ университетскимъ временемъ и нашей «пресловутой исторіей», отразившейся и въ другихъ университетахъ, почти никто изъ профессоровъ того времени своихъ записокъ не оставилъ, и въ распоряженіи публики остаются только сочиненія крайне пристрастныя, одностороннія, или-же написанныя безъ достаточнаго знанія фактовъ, съ чужаго голоса, съ предвзятой мыслью облить это время грязью. Къ первымъ относится извѣстная статья моего покойнаго товарища, опередившаго меня на годъ въ гимназіи, Д. И. Писарева «*Наша университетская наука*». При всѣхъ своихъ достоинствахъ, она носитъ характеръ раздраженія и желаніе обличить нѣкоторыя, дѣйствительно темныя, стороны тогдашняго педагогическаго университетскаго персонала. Ко вторымъ слѣдуетъ отнести, въ числѣ другихъ беллетристическихъ памфлетовъ, романъ покойнаго В. В. Крестовскаго «*Панурово стадо*», писанный авторомъ, имѣвшимъ съ университетомъ очень мало общаго, очень рѣдко даже его посѣщавшимъ и вращавшимся не среди студенческой молодежи, а въ обществѣ, къ тому-же, кажется, вышедшимъ въ 1858 г. изъ перваго курса. Не мало потрудились прямо и косвенно на поприщѣ осмѣянія и якобы обличенія и тогдашней науки, и студентовъ того времени, и другіе

тенденціозные писатели, не хорошо знавшіе университетъ, какъ Лѣсковъ, Писемскій, Ключниковъ, даже Достоевскій, и, поощряемые невольнымъ молчаніемъ насъ, обличаемыхъ и осмѣиваемыхъ, и все болѣе и болѣе надвигавшейся реакціей въ обществѣ, напустили не мало туману въ наши общественныя понятія, чѣмъ крайне затруднили справедливую историческую оцѣнку времени.

Обращаясь къ исторіи русской педагогическіи, которая особенно ярко проявила себя оживленіемъ, подъемомъ духа, широтой просвѣтительныхъ замысловъ, разработкой методовъ и прямо практическою дѣятельностью именно въ періодъ 1857—1866 гг., находимъ, что для уразумѣнія этого «педагогическаго» періода почти также нѣтъ никакихъ *«безпристрастныхъ»* матеріаловъ, и нынѣшнія поколѣнія учителей и учительницъ, обязанные всѣмъ своимъ педагогическимъ развитіемъ и подготовкой именно этой эпохѣ, имѣютъ и о ней понятіе тоже весьма смутное...

Не претендуя, какъ сказалъ я и раньше, дать сколько-нибудь полное понятіе объ этомъ времени, требующемъ серьезной и безпристрастной исторіи, ограничусь только тѣми отрывочными фактами своей собственной студенческой жизни, которые, вмѣстѣ съ движеніемъ педагогическимъ, въ которое, еще 19-лѣтнимъ юношей попалъ и я, способствовали образованію въ моемъ лицѣ учителя отечественнаго языка и словесности и педагога-литератора по преимуществу.

Въ университетѣ, куда вступилъ я 18-лѣтнимъ юношей въ Августѣ 1858 г., пробылъ я, собствен-

но, только три года, такъ какъ въ самомъ началѣ новаго учебнаго 1861 г., когда я только что перешелъ на 4-й курсъ филологическаго факультета, произошла наша «исторія». Университетъ былъ закрытъ, и я, вмѣстѣ со множествомъ моихъ товарищей, не хотѣвшихъ подчиниться новымъ правиламъ (взять матрикулы), былъ исключенъ изъ университета. Впрочемъ, нѣкоторые изъ профессоровъ, какъ напр. Н. И. Костомаровъ, П. В. Павловъ и др., желая дать возможность студентамъ четвертаго курса дослушать курсъ, открыли было публичныя лекціи въ залахъ Городской Думы и Петропавловскаго Лютеранскаго училища; но и эти лекціи также вскорѣ были прекращены, и мы, филологи, которыхъ было всего человѣкъ восемь, дослушивали уже курсъ нѣкоторыхъ профессоровъ на дому, куда они, по добротѣ своей, пригласили насъ, снисходя къ нашему печальному положенію. Въ слѣдующемъ, 1862 г., послѣдовало Высочайшее повелѣніе о разрѣшеніи желающимъ держать выпускной экзаменъ, въ особой при университетѣ комиссіи изъ профессоровъ, и осенью того-же года я получилъ кандидатскій дипломъ. Какъ казеннокоштный студентъ, на казенный-же счетъ воспитывавшійся въ гимназіи, я долженъ былъ-бы отслуживать за свое обученіе гдѣ-нибудь учителемъ по назначенію Министерства Народнаго Просвѣщенія. Но, потому-ли, что считался, какъ не взявшій «матрикулы», неблагонадежнымъ, или, по случайности, но къ обязательной службѣ меня, слава Богу, не призвали.

Обращаясь такимъ образомъ къ тремъ годамъ

моего студенчества, останавлиюсь только на двухъ группахъ фактовъ: на университетской наукѣ, т.-е. профессорахъ (только нѣкоторыхъ, имѣвшихъ для меня наибольшее значеніе), и на моей тогдашней внѣуниверситетской жизни, имѣвшей вліяніе на мое развитіе, и особенно на Васильеостровскомъ безплатномъ училищѣ, котораго въ числѣ другихъ лицъ я былъ основателемъ, и которое, какъ для меня, такъ и многихъ другихъ, ставшихъ впослѣдствіи преподавателями, было, можно сказать, настоящей педагогической семинаріей.

Припоминая теперь, черезъ тридцать три года, этотъ трехлѣтній періодъ университетской петербургской науки, не могу не сказать, что, какъ-бы о немъ ни судили впослѣдствіи, что бы ни говорили о тѣхъ или другихъ его недостаткахъ, большею частью, отъ самаго университета вовсе не зависѣвшихъ, такъ какъ онъ собственной автономіи не имѣлъ,—общій строй университета, духъ учащихъ и учащихся и самое преподаваніе представляли очень много отраднаго, о чемъ и до сихъ поръ вспоминаешь съ удовольствіемъ, и что, при болѣе благоприятныхъ обстоятельствахъ внѣшнихъ, представляло задатки богатѣйшаго развитія серьезнаго высшаго образованія въ Россіи. Начать съ того, что, благодаря широкопросвѣтительнымъ стремленіямъ, охватившимъ тогда и правящіе круги, и все русское общество, «наука», дотолѣ бывшая у насъ только чѣмъ-то формальнымъ, случайнымъ, подчиненнымъ, вдругъ была возведена на высокій пьедесталъ, въ видѣ богини, отъ которой во всѣ стороны, всѣмъ и

каждому, должны были истекать лучи знанія, возвышающаго и облагораживающаго человѣка. Отсюда—жрецы этой богини—профессора, большею частію лучшія русскія научныя силы, и высоко-талантливые, краснорѣчивые и горячо убѣжденные лекторы (напр., Костомаровъ, Благовѣщенскій, Стасюлевичъ, Пыпинъ, Кавелинъ, Спасовичъ и мн. др.) получили въ глазахъ петербургскаго общества и насъ студентовъ ореолъ величайшаго уваженія. Студенты, какъ готовящіеся впоследствии сами стать жрецами этой науки, долженствующей, какъ тогда всѣмъ твердо вѣрилось, осчастливить Россію, которая была накануне величайшихъ реформъ прошлаго царствованія, также получили въ глазахъ общества извѣстное значеніе, какъ будущіе просвѣщеннѣйшіе русскіе дѣятели, и къ этимъ студентамъ съ полнымъ довѣріемъ и надеждой относилось и начальство, въ лицѣ Попечителя Князя Щербатова и ректора, извѣстнаго друга Пушкина, профессора П. А. Плетнева. Намъ разрѣшены были сходки, своя отдѣльная библіотека изъ журналовъ, газетъ и книгъ, наконецъ, касса для помощи бѣднымъ товарищамъ, въ пользу которой въ университетскомъ залѣ мы сами устраивали прекраснѣйшіе, самые модные тогда въ Петербургѣ, концерты, въ которыхъ участвовали такія силы, какъ Тамберликъ, Бозіо, Кальцолари и другіе. Въ пользу этой-же кассы, въ той-же залѣ, читали публичныя лекціи, талантливѣйшіе изъ нашихъ профессоровъ,—лекціи, собиравшія весь интеллигентный Петербургъ и много способствовавшія общему университетскому оживленію и распро-

страненію въ обществѣ интересовъ научныхъ и популярности именъ представителей, какъ нашей юной, такъ и европейской, науки.

Что касается самаго строя университетскаго тогдашняго преподаванія, то я назвалъ бы его *«свободнымъ, академическимъ»*, въ полномъ смыслѣ этого слова. Справедливо полагая, что наука должна быть, сколь возможно болѣе, достояніемъ общимъ, что, хотя-бы самое поверхностное знакомство съ ней, даже, такъ сказать, малѣйшее съ ней соприкосновеніе, облагораживаетъ и поднимаетъ общество, побуждая многихъ позаботиться о восполненіи своего образованія, тогдашній университетъ допускалъ безплатно и свободно въ свои стѣны, на студенческія лекціи, и публику. И тутъ-то увидѣла наша петербургская *alma mater* на своихъ студенческихъ скамьяхъ и офицеровъ, и разночинца, и русскую женщину, и безбородыхъ юношей, и сѣдыхъ стариковъ, пришедшихъ послушать, чему учать насъ — студентовъ. Много впоследствии было даже печатно распущено глумленій надъ этимъ посѣщеніемъ университета, якобы только изъ моды и бахвальства, праздной публикой; но, не говоря уже о томъ, какъ насъ, студентовъ, поднимали духовно эти посѣщенія, никто не можетъ сказать, сколькимъ изъ этихъ посѣтителей и посѣтительницъ эти посѣщенія не принесли и пользы.

Преподаваніе носило вполне свободный характеръ и для насъ студентовъ, число которыхъ превышало двѣ тысячи. Въ каждомъ факультетѣ было по нѣскольку выдающихся профессоровъ, и каждый изъ

насъ могъ слушать любого изъ нихъ на какомъ бы то ни было факультетѣ,—такъ что узкой специализаціи, особенно на первыхъ курсахъ, не было, и филологъ слушалъ нѣкоторые изъ наукъ юридическихъ, какъ Государственное право у Кавелина, Уголовное—у Спасовича, или науки естественныя; юристы—профессоровъ филологовъ, и т. д. Обязательности хожденія на лекціи и никакой провѣрки не было, точно такъ-же, какъ почти и никакихъ литографированныхъ, или печатныхъ, какъ нынѣ, записокъ, переходящихъ по наслѣдству изъ курса въ курсъ, потому что профессора каждый годъ читали разное. Каждый записывалъ, сколько и какъ умѣлъ, для себя и ближайшихъ товарищей, причемъ велась очередь записей, и по этимъ-то конспективнымъ записямъ мы и готовились къ экзаменамъ, дополняя, по возможности, наши знанія чтеніемъ хотя двухъ-трехъ книгъ изъ указанныхъ на лекціи. Читать всякій, кто только хотѣлъ, могъ вволю, какъ въ обширной библіотекѣ университетской, откуда легко давались книги и на домъ, такъ и въ богатѣйшей библіотекѣ Академіи Наукъ, не говоря уже о Публичной, также въ то время посѣщавшейся многими изъ насъ. А то бывало и такъ. Нѣкоторые профессора прямо указывали для экзамена какую-нибудь одну книгу, которую уже и нужно было знать обязательно. Такъ, помнится, А. В. Никитенко указалъ «Теорію словесности въ ея историческомъ развитіи» — Шевырева, Н. И. Костомаровъ — «Учебникъ русской исторіи» — Соловьева, М. М. Стасюлевичъ — «Исторію цивилизаціи въ Европѣ» — Гизо, только что вышедшую въ переводѣ. Та-

кія умѣренныя экзаменныя требованія и свободное посѣщеніе лекцій предоставляли юношеству, большая часть котораго, какъ бѣдняки, существовала уроками, извѣстную свободу располагать своимъ временемъ по своему вкусу и усмотрѣнію, и, не смотря на необязательность посѣщенія лекцій, на умѣренныя требованія на экзаменахъ, на полное отсутствіе всякаго контроля надъ нашими занятіями и образомъ жизни, въ результатъ получалось вотъ что. Глупцы и шелопаи, люди съ толстой шкурой, которой ничѣмъ не проймешь, и которыхъ всегда и всюду, во всякихъ возрастахъ, достаточно, конечно, на лекціи ходили рѣдко, только изъ моды и бахвальства наукой, проскальзывали на экзаменахъ и получали иногда дипломы, но, по большей части, курса не оканчивали. Недоразвитые «паиньки», «маменькины сынки», оберегаемые семьей отъ всякихъ вѣяній (такихъ субъектовъ было немного), хотя и посѣщали аккуратно *всѣ лекціи своего факультета*, тщательно дома составляя записки, но зато не читали ничего и, пробывъ въ университетѣ четыре года, получали дипломъ, все-таки въ душѣ оставаясь свободными отъ наукъ:—такихъ субъектовъ, впрочемъ, въ наше время было мало. Но, кромѣ такихъ, было въ тѣ годы въ университетѣ огромное большинство хорошей молодежи, на которую, по моему искреннему убѣжденію, именно такой свободный режимъ повліялъ на всю жизнь въ высшей степени воспитательно и благотворно, и, за всѣ три года моего пребывания въ университетѣ, я не помню, чтобы у какого-нибудь изъ профессоровъ, хоть сколько-нибудь

порядочнаго и любившаго свое дѣло, не была, болѣе или менѣе, полна аудиторія въ каждую лекцію, не говоря уже о лучшихъ профессорахъ, часто читавшихъ въ залѣ, у которыхъ съ трудомъ приходилось добывать мѣста заранѣе. И не безслѣдно и не пассивно воспринимались эти лекціи; какія оживленныя, хотя и наивныя подчасъ, рѣчи и горячіе споры именно о прочитанныхъ лекціяхъ, или тѣхъ или другихъ научныхъ вопросахъ, слышались, тогда и въ университетскихъ корридорахъ, и въ буфетѣ, и въ кружковыхъ собраніяхъ дома! Сколько тогда читалось хорошихъ книгъ изъ областей литературы, наукъ историко - политическихъ, юридическихъ, естественныхъ, — и на все это чтеніе толкали насъ опять-таки живыя лекціи, которыя мы посѣщали аккурратно, потому что на нихъ стоило ходить, — потому что наслажденіе было ихъ слушать!.. Видѣлся въ профессорѣ живой человѣкъ, глубоко убѣжденный въ томъ, что онъ говоритъ, умѣвшій выбрать существенное, выдвинуть его и освѣтить. Это былъ въ самомъ дѣлѣ наставникъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, видѣвшій въ своемъ дѣлѣ священный и пріятный долгъ пролить на насъ свѣтъ образованія. Такое сознаніе оживляло, дѣлало симпатичной самую его наружность, давало силу голосу и неподдѣльное краснорѣчіе слову, увлекавшее слушателей, которые, выходя съ лекцій, чувствовали себя лучше, выше, благороднѣе... Какъ же было не слушать такихъ людей, какъ Кавелинъ, Спасовичъ, Костомаровъ, Пыпинъ, Стасюлевичъ, Благовѣщенскій? И развѣ мало посѣдали они горячими, полными ума и содер-

жанія научнаго, своими словами идей добра и правды
 въ сердцахъ тѣхъ, кому потомъ, въ эпохи все болѣе
 и болѣе надвигавшейся реакціи, пришлось бороться
 по мѣрѣ силъ за эти идеи на разныхъ поприщахъ
 дѣятельности на пользу родины? Люди строгой на-
 уки, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мыслящіе и чувствующіе,
 они смотрѣли на насъ, не какъ на мальчишекъ, а
 какъ на молодыхъ людей, пришедшихъ взять у нихъ
 знанія, которыя человѣкъ можетъ воспринять только
 свободно, и, не подавляя и не убивая въ насъ, юно-
 шахъ, духа холоднымъ и мелочнымъ формализмомъ,
 они вселили въ насъ самое важное для юноши—лю-
 бознательность, духъ пытливой критики и убѣжденіе
 въ величайшемъ могуществѣ человѣческаго ума и
 знанія. Подъ вліяніемъ этихъ то, и нѣкоторыхъ дру-
 гихъ изъ профессоровъ, одни изъ насъ развились
 вообще, ставъ на разныхъ поприщахъ просто скром-
 ными честными дѣятелями; но много было и такихъ,
 кто, увлекшись наукой, предался ей и много для нея
 сдѣлалъ, не ставъ однако при этомъ сухимъ каби-
 нетнымъ спеціалистомъ, для котораго, кромѣ книги,
 буквы, факта, не существуетъ ничего... И свято хра-
 нится въ насъ, старыхъ студентахъ этого времени,
 всегда благодарная память о нашихъ университет-
 скихъ наставникахъ, мудро понимавшихъ, что, по
 словамъ Гоголя, «нужно оказывать довѣріе къ бла-
 городству человѣка (добавимъ—особенно юноши), а
 безъ этого не будетъ и вовсе благородства...» Вотъ
 это-то довѣріе къ молодежи, вмѣстѣ съ подъемомъ
 науки, и составляло особенность университетской
 жизни моего времени.

Постараюсь, на сколько мнѣ не измѣняетъ память, въ самыхъ общихъ чертахъ, обрисовать нѣкоторыхъ изъ моихъ факультетскихъ профессоровъ, которые имѣли на меня наибольшее вліяніе. Однимъ изъ первыхъ, произведшихъ на меня наиболѣе сильное впечатлѣніе, былъ профессоръ всеобщей исторіи, нынѣ извѣстный дѣятель по народному образованію и редакторъ «Вѣстника Европы», журнала хорошо извѣстнаго всему образованному обществу, М. М. Стасюлевичъ, читавшій общій курсъ исторіи европейской цивилизаціи и привлекавшій къ себѣ на лекціи особенно много студентовъ и публики. Не берусь судить о степени научной цѣнности этихъ лекцій, отдаленныхъ болѣе, чѣмъ на тридцать лѣтъ, отъ настоящаго времени, но скажу одно, что впечатлѣніе, ими производимое, было очень большое. Это былъ лекторъ-популяризаторъ блестящій, необыкновенно умѣвшій заинтересовать, увлечь,—что называется, захватить всю аудиторію такъ, что напряженное вниманіе слушателей не ослабѣвало отъ начала лекціи до конца. Люди, слушавшіе лекціи въ Парижѣ, говорили, что манерой, дикціей, ясностью, плавностью, и красотой рѣчи, умѣньемъ живо обрисовать эпоху, онъ напоминалъ лекторовъ французскихъ. Такъ-ли это, не знаю, но, ознакомившись съ Гизо, Тьерри, Мишле, Тэнномъ, я нашелъ въ отношеніи формы, манеры, между ними и нашимъ профессоромъ много общаго, и думаю, что именно такой лекторъ, какъ М. М. Стасюлевичъ, бывшій не столько на факты, сколько на обобщенія, освѣщеніе событій, раскрытіе внутренней между ними связи и ихъ смысла, былъ особенно по-

лезенъ для насъ студентовъ. Я уже говорилъ, какъ поставлена была исторія въ гимназіи, вся уходящая въ массы голыхъ, безсвязныхъ, часто мелочныхъ, фактовъ, въ которыхъ нельзя было и разобраться; М. М. Стасюлевичъ впервые указалъ намъ на значеніе исторіи, объяснилъ великое значеніе цивилизаціи, показалъ, изъ какихъ элементовъ она въ Европѣ слагалась, выдѣлилъ и поставилъ ярко передъ нами изъ событій важнѣйшія. Онъ первый указалъ намъ на значеніе историческихъ источниковъ и исторической критики и сдѣлалъ ясной дотолѣ неподозрѣваемую нами связь между исторіями разныхъ національностей и всѣмъ человѣчествомъ, идею прогресса и регресса, существованіе и значеніе историческихъ законовъ. Этими своими лекціями онъ, такъ сказать, открылъ намъ историческую Европу, впервые показавъ, что такое настоящая исторія, и обратилъ къ чтенію историческихъ писателей иностранныхъ, какъ Гизо, Тьерри, Мишле, Маколей, Гиббонъ, Бокль, и русскихъ, какъ Грановскій, Кудрявцевъ, Ешевскій. Чтеніе этихъ писателей, по крайней мѣрѣ у меня, было вызвано именно лекціями М. М. Стасюлевича, съумѣвшего соединить простоту и доступность изложенія съ идейнымъ содержаніемъ.

Сильное впечатлѣніе производилъ на меня также и другой профессоръ Всеобщей исторіи М. С. Куторга. Читалъ онъ, къ сожалѣнію, недолго, кажется, на второмъ только курсѣ, и, часто маякируя, едва ли прочелъ всего лекцій двадцать. Помнится, держалъ онъ себя отъ студентовъ далеко, былъ высокаго мнѣнія о своей учености, желченъ и нѣсколько сухъ,

и посѣщались его лекціи мало. Но читалъ онъ въ своемъ родѣ мастерски, представляя совершенную противоположность съ М. М. Стасюлевичемъ. Какъ у послѣдняго былъ курсъ общій, такъ сказать, по преимуществу, *идейный*,—такъ у этого спеціальный, фактическій, детальный, такъ что выбранныя имъ параллельно двѣ эпохи: Греція во времена Аристотеля и Вѣкъ Людовика XIV, вырисовывались у него, благодаря искусному подбору мельчайшихъ фактовъ въ цѣлыя, необыкновенно живыя, картины, которыя крѣпко запечатлѣвались въ воображеніи. Но такое изложеніе однако не исключало идеи, и, подобно тому, какъ изъ романа, наприимѣръ, получается въ концѣ концовъ и общая отвлеченная мысль, такъ и изъ этихъ, часто желчныхъ, лекцій мы вынесли ясное сознаніе того, какъ обманчивъ бываетъ въ государствѣ внѣшній блескъ, и какъ, такъ называемые въ исторіи, «золотые вѣка» носятъ въ себѣ зачатки несомнѣннаго разложенія.

Совсѣмъ особую, своеобразную, личность, какъ по отношенію къ названнымъ профессорамъ, такъ и по отношенію ко всѣмъ другимъ, представляетъ незабвенный Н. И. Костомаровъ, читавшій въ университетѣ два года (1859—1861) сначала объ источникахъ русской исторіи, а потомъ исторію Новгорода и Пскова, которая вышла потомъ въ переработанномъ видѣ отдѣльной книгой подъ названіемъ «*Сѣверно-русскія народоправства*». Это былъ, можно сказать, самый популярный, самый любимый изъ всѣхъ профессоровъ моего времени, профессоръ, популярность котораго не ограничивалась университе-

томъ, студентами, но захватывала рѣшительно весь интеллигентный тогдашній Петербургъ, мужской и женскій, статскій и военный, такъ какъ на его лекціи, читавшіяся сначала въ самой большой XI аудиторіи, а потомъ въ большомъ университетскомъ залѣ, сходилась не только весь университетъ, безъ различія факультетовъ и курсовъ, но являлась и масса публики самой разнообразной, встрѣчавшей и провожавшей лектора восторженными рукоплесканіями. Нужно было видѣть, какъ эта разнообразная масса и студентовъ, и профессоровъ, которые часто посѣщали эти лекціи, и офицеровъ, и дамъ, и всякихъ партикулярныхъ людей, иногда очень плохо одѣтыхъ,—масса, скучивавшаяся до того, что буквально нельзя было повернуться, вся, точно загипнотизированная, обращалась въ зрѣніе и слухъ, чтобъ не проронить ни одного звука изъ словъ, исходящихъ изъ устъ человѣка, который производилъ на эту массу такое сильное впечатлѣніе. Нужно было видѣть эти лица, молодыя и старыя, мужскія и женскія, на которыхъ, какъ въ зеркалѣ, отражалось то или другое настроеніе лектора, за словами и выраженіемъ лица котораго всѣ жадно слѣдили;—видѣть эти глаза слушателей, то серьезно-вдумчивые, то будто на мигъ недоумѣвающие, то смѣющіеся, то печальные, смотря потому, что слышалось съ кафедръ;—нужно было, повторяю, самому видѣть эту громадную аудиторию, чтобъ понять, какое значеніе можетъ имѣть для страны талантливый профессоръ, какое, благодаря такому чтенію, огромное воспитательное вліяніе на публику можетъ имѣть наука, и каково могло-

бы быть для русскаго общества культурное вліяніе университетовъ, еслибъ они были у насъ учрежденіемъ свободнымъ для всѣхъ желающихъ учиться!

Что-же было въ покойномъ Николаѣ Ивановичѣ такого, что такъ влекло къ нему и студентовъ, и публику? Въ чемъ секретъ его, такой неслыханной у насъ до того и до сихъ поръ, кажется, единственной, популярности, и въ чемъ сохраняется и до сихъ поръ его значеніе, какъ историка?

Причины популярности Костомарова кроются, частью, въ особыхъ обстоятельствахъ времени и читанномъ имъ предметѣ—русской исторіи, частью въ самой его личности и способѣ чтенія.

Безъ сомнѣнія, радушіе, съ которымъ отнеслось русское общество къ профессору, съ самаго его приглашенія на кафедру въ Петербургскій университетъ, было вызвано, отчасти, и опальнымъ прошлымъ Костомарова, т.-е. его украинофильскимъ увлеченіемъ, исторіей съ диссертацией и заключеніемъ въ крѣпости (въ то либеральное время возвращеніе на кафедры людей науки, которыхъ дѣятельность навлекала на себя неудовольствіе въ предшествующее царствованіе, вообще встрѣчалось публикой крайне сочувственно). Но не малую долю симпатіи къ Костомарову возбуждалъ и самый предметъ его лекцій. Вспомнимъ, въ какомъ положеніи была у насъ русская исторія. Чисто государственная и устарѣвшая «Исторія государства Россійскаго», положившая основу русской исторической наукѣ, болѣе уже не удовлетворяла интеллигентную часть публики, выросшую на западной наукѣ; исторія Соловьева,

выходившая по томамъ, слишкомъ сухая по изложению и громадному своду фактовъ, за которыми трудно было разобраться въ выводахъ, мало кѣмъ читалась, особенно изъ петербургской молодежи; исторія Устрялова носила слишкомъ официальный характеръ и, вошедшая въ сокращеніи во всѣ учебныя заведенія, какъ обязательный нормальный курсъ, знакомила только съ показной, военно-государственной, исторіей, безъ всякой критики и идейнаго освѣщенія; отдѣльныхъ серьезныхъ изслѣдованій эпохъ, или вопросовъ, почти не существовало также, и русская отечественная исторія, такимъ образомъ, оказывалась обществу почти неизвѣстной. Между тѣмъ, новое царствованіе, призвавшее съ высоты престола общество къ реформамъ и самостоятельности, естественно вызвало особенный интересъ къ знакомству съ роднымъ историческимъ прошлымъ не только съ государственной, но и съ народно-бытовой стороны, и появленіе на кафедрѣ столичнаго университета именно такого человѣка, который уже заявилъ себя отчасти именно съ этой стороны изученія русской исторіи (о великорусской пѣснѣ, объ униі), какъ нельзя болѣе пришлось во-время. Съ лекцій Костомарова, можно сказать, началось у насъ въ Петербургскомъ университетѣ критическое чтеніе бытовой русской исторіи. Свободный, неслыханный дотогѣ, разборъ источниковъ, оригинально освѣщаемыхъ лекторомъ, и избранный затѣмъ курсъ исторіи попытокъ русскихъ народоправствъ въ Новгородѣ и Псковѣ, съ безпристрастнымъ къ нимъ отношеніемъ и оцѣнкой въ тѣсной связи съ природными,

мѣстными, этнографическими, экономическими и историческими условіями, какъ для насъ студентовъ, такъ и для публики, была первою свободной критической школой русской науки. Естественно, что въ глазахъ и нашихъ, и общества, Костомаровъ являлся въ то время авторитетомъ и вызывалъ своими лекціями не только сочувствіе, но даже перѣдко и восторгъ...

Но, если необыкновенный успѣхъ лекцій Н. И. Костомарова зависѣлъ, съ одной стороны, отъ указанныхъ обстоятельствъ и богатаго содержанія его лекцій, то съ другой — обуславливался личностью лектора и его манерой читать. Невысокаго роста, немного сгорбленный и казавшійся старикомъ, съ рѣденькими волосами, въ очкахъ, очень худощавый, съ желтоватымъ, землистымъ, лицомъ, всегда серьезный и сосредоточенный, съ очень своеобразной, чуть-чуть съ малороссійскимъ акцентомъ, нѣсколько пѣвучей, дикціей, онъ производилъ на каедрѣ впечатлѣніе какого-то не нынѣшняго, не здѣшняго, но вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальнаго и симпатичнаго, человека. Точно передъ громадною толпою былъ не профессоръ, не одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ ученыхъ, но одинъ изъ древнихъ лѣтописцевъ, или святыхъ подвижниковъ, образъ и рѣчь которыхъ Костомаровъ воскрешалъ передъ нами въ своихъ лекціяхъ мастерски. — Это былъ не просто прекрасный лекторъ, у котораго чудесно отгѣнялись врожденнымъ искусствомъ дикціи малѣйшіе отгѣнки смысла, выраженія и отдѣльныя мѣткія слова, — это на каедрѣ былъ настоящій вдохновенный ху-

дожникъ, всѣмъ своимъ существомъ отдававшійся тому отдаленному вѣку, который онъ хотѣлъ воспроизвести въ воображеніи слушателей. Эти лекціи надо было слышать самому, чтобъ оцѣнить все ихъ значеніе: книга Костомарова «*Сѣверно-русскія народоправства*» сильно отъ нихъ отличается, только отчасти напоминая о нихъ его слушателямъ. Въ этихъ лекціяхъ, за самыми фактами, художественно расположенными, за образами, встававшими передъ нашими глазами, какъ живые, такъ сказать, доминировалъ самъ лекторъ, своимъ тономъ, голосомъ, выраженіемъ лица, взглядомъ, иногда незначительнымъ жестомъ, паузой, совершенно овладѣвавшій своей аудиторіей, заставляя ее то вдумчиво сосредоточиваться на новой мысли, то горячо, до подступающихъ къ глазамъ слезъ, скорбѣть, то изумляться передъ силою подвижническаго духа, или величіемъ событія, то чувствовать презрѣніе къ низости, то смѣяться надъ человѣческою глупостью, которой ловко пользуется дальновидный практикъ. И когда лекція, продолжавшаяся иногда безъ перерыва часа полтора, кончалась, слушатель выходилъ изъ аудиторіи не только обогащенный массой новыхъ фактовъ и мыслей,—онъ былъ тронутъ, иногда потрясенъ, и всегда чувствовалъ, что онъ, слушатель, въ этотъ часъ или полтора пережилъ многое...

Словомъ, повторяю,—такого мастерскаго, оригинальнаго лектора, какимъ былъ покойный Николай Ивановичъ, и притомъ, лектора, отличавшагося необыкновенной художественной простотой, чуждой всякой искусственности, другого въ Петербургѣ не

было, — и кто его слышалъ, тотъ не забудетъ его никогда...

Рѣзко выдѣлялась на нашемъ факультетѣ между профессорами—классиками почтенная личность профессора Римской литературы, Николая Михайловича Благовѣщенскаго, скончавшагося въ Петербургѣ 1-го Августа 1892 г. Какъ теперь вижу передъ собой стоящую на кафедрѣ представительную фигуру съ головой, приподнятой нѣсколько кверху, съ выставленною впередъ широкою грудью, съ умнымъ лицомъ, отличавшимся крупными чертами;—вижу его твердую, важную походку, его, нѣсколько театральные, эффектныя, но всегда благородныя, красивыя жесты; какъ теперь слышу этотъ, необыкновенно громкій, немножко торжественный, медленный голосъ, отчетливо, какъ-бы вырисовывающій, отчеканивающій каждое слово своей, всегда краснорѣчивой и сильной, рѣчи. Во всей его личности, въ манерахъ, въ дикціи — во всемъ видѣлся настоящий, блестящій, ораторъ, трибунъ, призванный говорить толпѣ и ее импонирующій,—и такая манера всегда держать себя съ достоинствомъ, такое, нѣсколько приподнятое, чтеніе лекцій дѣйствовало на молодежь, по крайней мѣрѣ на меня, очень внушительно. Я всегда думалъ, что публичное чтеніе требуетъ, чтобъ дѣйствовать на слушателей, непременно особыхъ благопріятныхъ физическихъ условій и извѣстнаго искусства декламаторскаго, чѣмъ, по моему, въ совершенствѣ обладалъ Николай Михайловичъ, и на что, къ сожалѣнію, въ теперешніе дни, такъ мало рацается вниманія учителями и профессорами. Но

лекціи Николая Михайловича блистали не одной только красотой дикціи и краснорѣчіемъ,—онѣ были и глубоко содержательны и по обширной научности, и по необыкновенной жизненности. Какъ сказано уже раньше, я учился въ классической гимназій, былъ на филологическомъ факультетѣ, гдѣ классицизму давалось подобающее важное мѣсто; наконецъ, я девятнадцать лѣтъ, съ самаго введенія новаго, современнаго классицизма былъ самъ учителемъ классической гимназій, и скажу, что, по моему глубокому убѣжденію, изъ всѣхъ преподавателей классицизма и въ гимназіяхъ, и въ Петербургскомъ Университетѣ, какихъ только я ни зналъ,—Н. М. Благовѣщенскій былъ единственный русскій, глубоко-убѣжденный и широко образованный, истинный классикъ, соединявшій обширныя знанія древняго міра съ горячей вѣрой въ его образовательно-воспитательное, культурное, гуманизирующее значеніе. И если и до сихъ поръ, какъ словесникъ-учитель, я считаю знакомство съ литературой Греціи и Рима совершенно обязательнымъ для молодежи, какъ основой нашей собственной культуры, то этимъ обязанъ я только Н. М. Благовѣщенскому. Какъ и большинство тогдашнихъ профессоровъ, онъ не вдавался въ спеціальныя мелочи, не зарывался въ дебри грамматическія, до чего такъ падки классики нашего времени, а старался ввести насъ въ духовные интересы древняго міра, дать картины общества съ его настроеніями умственными и нравственными, дать почувствовать духъ писателя и ввести насъ, такъ сказать, въ самую лабораторію его творче-

ства, не забывая при этомъ того вліянія, какое производилъ онъ на умы современниковъ. А чтобы эти писатели, эти всѣ культурныя явленія, отдаленныя отъ насъ тысячами вѣковъ, сдѣлать понятнѣе намъ, юношамъ второй половины XIX столѣтія, онъ нерѣдко прибѣгалъ къ сравненіямъ съ произведеніями исторіи позднѣйшаго времени и сближеніямъ съ явленіями литературъ иностранныхъ, и особенно русской, чѣмъ способствовалъ и уясненію дѣла, и необыкновенному оживленію своихъ лекцій. Читалъ онъ общій курсъ исторіи литературы римской почти до самаго ея конца, но особенно памятны мнѣ его спеціальныя лекціи о Персіи и Ювеналѣ (о послѣднемъ онъ прочиталъ и двѣ блестящія публичныя лекціи), которыя вызывали интересъ тѣмъ болѣе, что судьба и сатирическое содержаніе до нѣкоторой степени напоминали многія явленія нашей собственной русской жизни, обратившейся тогда къ усиленной критикѣ своего прошлаго и настоящаго.

Изъ профессоровъ, давшихъ мнѣ, такъ сказать, болѣе или менѣе, спеціальную подготовку къ преподавательству русскаго языка и словесности, назову двухъ извѣстныхъ академиковъ, нынѣ уже покойныхъ, Александра Васильевича Никитенко и Измаила Ивановича Срезневскаго. У перваго, пригласившаго меня давать уроки своему десятилѣтнему единственному сыну, я часто, въ 1862 и 1863 году, бывалъ въ домѣ, бесѣдовалъ съ нимъ, былъ обласканъ его добрымъ семействомъ, и, какъ кажется, пользовался расположеніемъ покойнаго. Второму, въ домѣ котораго я

также бывалъ нѣсколько разъ въ 1862 г., но только официально, какъ готовящійся къ сдачѣ диссертациі, я написалъ, по его выбору и указанію, свою кандидатскую диссертацию *«Семья какъ нравственная единица и хозяйство по Домострою»*,—памятнику, тогда еще почти вовсе неизслѣдованному. Помню, что на этотъ, единственный мой въ жизни, собственно научный, трудъ положилъ я не мало силъ, увлеченія и стараній обработать его возможно красивѣе со стороны рельефности картины и живости популярнаго изложенія. Помню, что Срезневскому диссертациа понравилась, такъ что онъ вполне призналъ ее кандидатской, но замѣтилъ, что она скорѣе напоминаетъ журнальную статью, чѣмъ ученую диссертацию. Я смутился и спросилъ, какіе же въ ней научные недостатки? Измаилъ Ивановичъ улыбнулся и уклончиво отвѣчалъ: «Какъ вамъ сказать? все вѣрно, и факты подобраны и освѣщены, работали много...» Я прервалъ его: «Вы хотите сказать, Измаилъ Ивановичъ, мало ученаго багажу, слишкомъ популярно по формѣ и рѣзко по выводамъ?» Онъ засмѣялся своимъ всегдашнимъ, нѣсколько ироническимъ, смѣхомъ, и сказалъ:—«Ну, да, вы скорѣе литераторъ, журналистъ, но не ученый...» Профессоръ былъ правъ: ученымъ, въ самомъ дѣлѣ, я и не сдѣлался...

Но возвратимся къ этимъ двумъ весьма интереснымъ и живо памятнымъ мнѣ личностямъ.

Если профессора, мною обрисованные раньше, всѣмъ существомъ своимъ отдавались духу живой популяризаціи науки и составляли, такъ сказать, единое цѣлое и съ университетомъ, и съ ищущей

знанія публикой, принимали живое участіе въ университетскихъ дѣлахъ и пользовались большою популярностью, то нельзя было сказать этого объ этихъ двухъ представителяхъ академической науки. Они держались какъ-то въ сторонѣ движенія: на лекціи къ нимъ посторонніе почти не ходили, да и студентовъ, кромѣ насъ, филологовъ, у нихъ почти не бывало. Люди, много пожившіе, воспитанные тяжелымъ режимомъ, среди котораго имъ пришлось и дѣйствовать большую часть жизни, они скептически смотрѣли на неслыханное, и, какъ имъ казалось, совершенно неприличное, популяризированіе строгой науки, и, какъ они думали, распущенность молодежи, такъ еще недавно сдерживаемой крѣпкой уздой. Зная близко настроеніе извѣстной части высшихъ сферъ и, по опыту, мало довѣряя либеральнымъ увлеченіямъ общества, которыя, какъ и показало ближайшее будущее, скоро перешли въ самую мрачную реакцію и суровое осужденіе того же самаго, чему еще такъ недавно это общество поклонялось, эти два, болѣе спокойные, «академическіе мудреца», стали въ сторонѣ, выжидая, что будетъ дальше, и, какъ профессора, оставались такими же, какими они были на каеэдрахъ и раньше, вовсе не заботясь о томъ, какъ къ нимъ относится молодежь и общество. Эти два лица, Никитепко и Срезневскій—вспоминаются мнѣ теперь, въ сравненіи съ прочими, обрисованными мною личностями, какъ представители тогдашняго университетскаго консерватизма, но консерватизма убѣжденнаго, не исключающаго прогресса, но только такого, который вводился бы постепенно, по-

тихоньку, безъ всякихъ вспышекъ, увлеченій, какъ достойная награда благовоспитанному обществу и школьникамъ, благодарно принимающимъ расточаемыя о нихъ попеченія.

Но, не смотря на этотъ консерватизмъ, въ этихъ людяхъ, какъ профессорахъ, было не мало и хорошаго. И вотъ это-то хорошее мнѣ и хотѣлось бы припомнить.

Александръ Васильевичъ Никитенко, котораго любопытнѣйшія записки и дневникъ (Русская Старина, 1889—1892 гг.) составляютъ драгоценный матеріалъ для знакомства съ нашей исторіей просвѣщенія за послѣдніе тридцать—сорокъ лѣтъ, былъ, какъ профессоръ, личностью, въ высшей степени, своеобразною. Это былъ человѣкъ невысокаго роста, коренастый и плотный, съ умнымъ, привѣтливымъ, лицомъ, живыми глазами, хитро смотрѣвшими изъ-подъ густыхъ, нависшихъ, съ просѣдью, бровей, съ почти совсѣмъ сѣдыми, жесткими, волосами, слегка подстриженными, не поддающимися щеткѣ и стоявшими всегда небольшимъ хохломъ, придававшимъ лицу важность.—Нѣсколько развалистая походка и неторопливыя, плавныя движенія напоминали лѣниваго малоросса, который однако легко воодушевлялся, и тогда весь, какъ юноша, отдавался этому воодушевленію; его нѣсколько вкрадчивый, мягкій и гибкій голосъ, баритонаго, пріятнаго, характера, невольно привлекалъ слушателя и располагалъ къ говорившему. Его манеры и обращеніе, умѣренные, красивые жесты, къ которымъ онъ любилъ прибѣгать въ разговорѣ и на лекціяхъ, обнаруживали въ

немъ какое-то особенное изящество и привычку къ хорошему обществу, въ которомъ онъ много и вращался, а постоянные уроки въ институтахъ и частные, которые онъ давалъ, преимущественно, дѣвицамъ высшаго круга, сообщали ему ту, особенно мягкую, изящную, нѣсколько сдержанную, исключавшую всякое излишество, манеру держать себя въ отношеніяхъ къ другимъ, какая замѣчается у людей, часто вращающихся между женщинами. Да простить мнѣ память о моемъ почтенномъ наставникѣ, если, въ видахъ сохраненія безпристрастной истины, скажу даже, что именно на кафедрѣ, но не дома, гдѣ онъ былъ проще, онъ какъ будто немножко рисовался, и, декламируя, или читая лекціи, обращалъ, можетъ быть, иногда слишкомъ, много вниманія на красивую отдѣлку фразы и на производимое ею впечатлѣніе. Но, не смотря на эти особенности, не нравившіяся нѣкоторымъ, на немножко, какъ кажется, напускную важность, А. В. Никитенко былъ человѣкъ необыкновенно сердечный, простой и симпатичный. Онъ искренно любилъ свою науку объ искусствѣ, видя въ искусствѣ, особенно поэзіи, величайшую, возвышающую душу, силу, и художественному наслажденію, выработкѣ строгаго эстетическаго вкуса, придавалъ огромное воспитательное значеніе. Этого вкуса, этого чутья прекраснаго, изящества, требовалъ онъ не только въ самомъ искусствѣ, въ которомъ осуждалъ все рѣзкое, грубое, тривіальное, но и въ рѣчи и манерахъ держать себя съ людьми. Всегда вѣжливый, привѣтливый и мягкій и со студентами, и съ домашними, и съ прислугой, онъ,

сколько я знаю, никогда не выходилъ изъ себя, всегда храня свое внутреннее достоинство. Къ событіямъ, людямъ и мнѣніямъ, возмущавшимъ его своимъ противорѣчіемъ съ тѣмъ, что онъ самъ считалъ истиннымъ, добрымъ, честнымъ, относился онъ, повидимому, довольно терпимо, пожалуй, спокойно, какъ бы философски, какъ Горацій, ничему не удивляясь и ничѣмъ не возмущаясь; въ спорѣ всегда давалъ высказываться противнику, признавая за каждымъ право имѣть свои убѣжденія; но немногіе, близкіе къ нему, люди, въ рѣдкія минуты полной его откровенности, когда за дружеской бесѣдой, въ тѣсномъ домашнемъ кругу, онъ являлся не академикомъ, не жрецомъ науки, не поучающимъ и взвѣшивающимъ каждое свое слово, профессоромъ, а просто добрымъ Александромъ Васильевичемъ, могли видѣть, какъ глубоко иногда онъ страдалъ отъ всего, что подчасъ видѣлъ, какъ возмущала его всякая неправда, низость, и, особенно, все то, что, какъ онъ думалъ, можетъ служить ко вреду горячо любимой имъ Россіи и столь высоко цѣнному имъ просвѣщенію. Но, повторяю, высказывался онъ рѣдко, и вышедшіе теперь, уже болѣе чѣмъ черезъ десять лѣтъ по его смерти, его записки и дневникъ, которые онъ хранилъ при жизни, какъ святыню, какъ тайну, показали, какъ много завѣтныхъ думъ, мыслей и чувствъ, часто такихъ честныхъ, свѣтлыхъ, хорошихъ, повѣрялъ онъ, въ тиши своего уединеннаго кабинета, бумагѣ, которой повѣрялъ онъ чаще и больше, чѣмъ людямъ, свою, богатую опытами жизни, душу.

Какъ эстетикъ — это былъ гегельянецъ, поклон-

никъ чистаго искусства для искусства, безъ отношенія его къ современности, видѣвшій въ поэтѣ «аполлонова жреца», рожденнаго «не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ», а «для молитвъ и чистыхъ звуковъ». Едва-ли я ошибусь, если скажу, что стихи въ душѣ онъ предпочиталъ прозѣ. Его любимыми поэтами были Гомеръ, Софоклъ и Шекспиръ, передъ которыми онъ благоговѣлъ. Онъ чутко отыскивалъ примѣры возвышеннаго въ Державинѣ. Меланхолическая поэзія Жуковского и элегіи Батюшкова, вмѣстѣ съ чудной музыкой ихъ стиха, находила въ покойномъ, мастерски-декламировавшемъ ихъ наизусть, замѣчательно тонкаго истолкователя, а Пушкинъ, особенно въ Онѣгинѣ, Борисѣ Годуновѣ и дивной лирикѣ, былъ для него величайшей святыней. Слезы блистали на глазахъ старика; силой поразительной, или льющей въ душу ласкающей нѣгой, звучалъ его, богатый гибкостью и вибраціей, голосъ, когда онъ читалъ передъ нами свои любимые шедевры, какъ, напр., строфы изъ державинскаго *Бога*, *Водопада*, *На смерть Мещерскаго*, *Море—Жуковского*, *Тѣнь друга и Умиравшій Тассъ* — Батюшкова, *Онгина*, или монологи *Бориса*. Какой это былъ удивительный декламаторъ, у котораго не пропадало ни одно словечко, ни одинъ отгѣнокъ мысли! Подобнаго ему я встрѣтилъ впослѣдствіи только разъ, въ одномъ старикѣ-преподавателѣ словесности, Василии Тимоѣевичѣ Плаксинѣ, о которомъ буду говорить потомъ, и какъ глубоко обязанъ я покойному Александру Васильевичу, именно какъ учитель, видѣвшій на живомъ

примѣръ всю важность въ классахъ словесности хорошаго выразительнаго чтенія. Лермонтова и Гоголя, сколько помню, Никитенко читалъ и разбиралъ рѣдко, но относился онъ къ нимъ, особенно къ Гоголю, котораго сочиненія провелъ почти всѣ въ качествѣ цензора, а за пропускъ *«Коляски»* былъ даже арестованъ, съ величайшимъ [уваженіемъ. Однако, понималъ онъ великаго писателя, кажется, не столько со стороны его соціальнаго, историческаго, значенія, сколько со стороны, опять-таки, эстетической, подобно тому, какъ понимали его Плетневъ, Вяземскій, Жуковскій и С. Т. Аксаковъ. При такомъ отношеніи къ искусству, Александръ Васильевичъ, хотя и принималъ участіе въ сороковыхъ годахъ въ редакціи некрасовскаго *«Современника»*, когда выступили тамъ Григоровичъ, Тургеневъ и Достоевскій, и вращался нѣкоторое время въ кружкѣ писателей сороковыхъ годовъ, но обличительно-критическое и реальное направленіе нашей литературы возрожденія (со второй половины пятидесятихъ) была старику не по душѣ; — онъ видѣлъ въ ней паденіе любимаго искусства, а въ новой критикѣ подчасъ и легкомысленное отношеніе къ авторитетамъ.

Но, при его нѣкоторой односторонности, исключительно въ чисто-эстетическую сторону, я долженъ сказать, что Александръ Васильевичъ, отнюдь не насилию моихъ личныхъ вкусовъ и направленія, и не сдѣлавъ изъ меня адепта своихъ взглядовъ, имѣлъ большое и благотворное вліяніе на мое эстетическое развитіе. Въ ту эпоху нашего русскаго Sturm'a и Drang'a, когда, въ крайнемъ увлеченіи реализмомъ, развѣн-

чивались и Пушкинъ, и Лермонтовъ, и Бѣлинскій, — этотъ, можетъ быть, односторонній, но убѣжденный и искренній человѣкъ, вселилъ во мнѣ, юношѣ, чутье художественной «красоты», которая уже сама по себѣ, безотносительно, воспитываетъ человѣка. Онъ выучилъ меня боготворить эту красоту, смотреть на искусство, какъ на святыню, требующую отъ ея жреца-художника возвышенной мысли, извѣстнаго подъема духа и достойной формы, безъ коей настоящаго искусства нѣтъ. И если впоследствии, на поприщѣ учителя словесности, мнѣ сколько-нибудь удавалось дѣйствовать воспитательно на вкусъ учащихся посредствомъ поэзіи, заставляя ихъ полюбить ее и въ ней находить наслажденіе, то, въ значительной степени, обязанъ я этимъ также Александру Васильевичу, какъ и сознаниемъ важности художественнаго выразительнаго чтенія.

Обращаясь, собственно, къ лекціямъ Никитенко, я долженъ сказать, что никакой опредѣленной системы, научной послѣдовательности, цѣлаго курса, въ родѣ курсовъ Стасюлевича, или Костомарова, въ нихъ не было. Номинально онъ читалъ *теорію поэзіи въ связи съ другими искусствами*, и я даже досталъ хорошо составленный однимъ изъ его любимыхъ прежнихъ слушателей цѣлый курсъ записокъ, въ видѣ объемистой тетради. Но курса этого при мнѣ онъ не читалъ, и былъ этотъ курсъ самъ по себѣ, а лекціи сами по себѣ. Записки эти, сколько помнится, были высокопарны, многословны, мало понятны, вслѣдствіе множества философскихъ терминовъ и отвлеченныхъ разсужденій о высокомъ, пре-

красномъ и тому подобныхъ, хитрыхъ, и едва-ли вполне объяснимыхъ, матерiяхъ, и отдавали туманной философiей Гегеля, въ чемъ и убѣдился я впоследствии, одолевая съ превеликимъ трудомъ гегелевскую трехтомную эстетику. Лекціи Никитенко были необыкновенно живыми и увлекательными импровизаціями художника-лектора, который, не стѣсняясь никакой программой, планомъ или конспектомъ, всякій разъ бралъ какое-нибудь отдѣльное художественное произведеніе русскаго поэта, или, напр., монологъ изъ Шекспира, и, великолѣпно прочитавъ его наизусть, чѣмъ сразу захватывалъ свою немногочисленную аудиторію, начиналъ говорить по поводу прочитаннаго, разбирая и мысль, и постройку, и объясняя красоту деталей и формы. Импровизація, куда входило попутно множество понятій эстетическихъ, историко-литературныхъ, этическихъ, возбуждала вопросы, которые мы тутъ же предлагали лектору, обращалась нерѣдко въ живую бесѣду; причемъ, лекторъ переходилъ къ другимъ произведеніямъ, которыя тутъ же также читывалъ, — къ сопоставленіямъ съ другими писателями, указывалъ книги, произведенія, рекомендуемыя для прочтенія, — словомъ, легко, вполне популярно и пріятно, обогащалъ насъ цѣлою массою знаній въ области эстетики и исторіи литературы русскои и иностранной, знакомилъ насъ со множествомъ неизвѣстныхъ намъ писателей, заинтересовывая ими и побуждая знакомиться съ ними уже насъ самихъ. Такъ, помнится, напр., я узналъ изъ этихъ лекцій-импровизацій, что такое критика (одинъ изъ любимыхъ коньковъ Ни-

китенка, написавшаго извѣстную книжку «*Речь о критикѣ*», такъ хорошо разобранную Бѣлинскимъ); на *Тѣни друга* и другихъ элегіяхъ Батюшкова—значеніе художественнаго выраженія идеи въ формѣ; на *Морь* Жуковскаго и балладахъ—сущность и характеръ романтизма; *Ромео и Джульетта* положила основаніе для знакомства съ Шекспиромъ, о которомъ Никитенко говорилъ много, и съ особенной любовью; Державинскія оды, Наполеонъ, Пушкина подалъ поводъ къ бесѣдѣ о высокомъ въ поэзіи; отрывки изъ Онѣгина—о прекрасномъ, нѣжномъ и отрицательномъ. Такъ, въ своихъ живыхъ, импровизированныхъ, какъ называютъ теперь у насъ «конференсахъ» — бесѣдахъ, незамѣтно и пріятно развивалъ почтенный профессоръ вкусъ и возбуждалъ любовь къ изящному, обращая насъ къ занятіямъ литературой, уже самостоятельнымъ.

Если только-что описанный почтенный наставникъ и теперь, болѣе чѣмъ черезъ тридцать лѣтъ, ясно рисуется въ моемъ воображеніи, а, благодаря своимъ запискамъ и дневнику, еще болѣе понятенъ, то далеко не могу сказать этого объ Измаилѣ Ивановичѣ Срезневскомъ, который и до сихъ поръ остается для меня загадкой. Это была личность тоже своеобразная, оригинальная. Человѣкъ очень большаго, остраго, скеитическаго ума и мѣткаго ироническаго остроумія, онъ, помимо своей специальности въ славянскихъ нарѣчіяхъ, преимущественно въ древне-русскомъ и церковно-славянскомъ языкахъ, былъ энциклопедистъ, обладавшій громадною памятью, и поражалъ блескомъ и живостью рѣчи. Самолюбиво дававшій

чувствовать свою ученость и этотъ энциклопедизмъ вообще, любившій ловко и кстати мимоходомъ коснуться своихъ близкихъ отношеній, чуть не ко всему западному славянскому ученому міру, съ которымъ сблизился онъ за границей во время своихъ путешествій, онъ могъ поразить блескомъ и увлекательностью лекцій, но изъ этихъ лекцій, сколько помню, выносилъ, по крайней мѣрѣ, я, очень мало. Ни сравнительной грамматики, ни исторіи славянскихъ литературъ, ни даже опредѣленныхъ представленій о старомъ и современномъ славянствѣ и его задачахъ онъ почти не давалъ, а просто разбрасывалъ передъ немногими слушателями, какъ бы невзначай, цѣлую массу отрывочныхъ и оригинальныхъ мыслей о языкѣ вообще и разныхъ теоріяхъ его происхожденія, о тѣхъ или другихъ славистахъ, отдѣльныхъ русскихъ и славянскихъ писателяхъ, древнихъ памятникахъ, не пренебрегая и анекдотомъ, мѣтко обрисовывающимъ личность или явленіе. Даже самыхъ памятниковъ онъ почти никогда не читалъ, предлагая желающимъ изучать славянскія нарѣчія и литературу самостоятельно, что, конечно, было для насъ слишкомъ трудно; но въ то же время относился крайне снисходительно къ тѣмъ, кто почти не занимался вовсе. Его лекція, какъ и лекція Никитенко, были тоже импровизаціями, но только безъ той теплоты, сердечности и глубокой вѣры въ преподаваемый предметъ, какія были у послѣдняго. Я бы позволилъ себѣ сказать даже такъ (конечно, я говорю только о своихъ *личныхъ*, можетъ быть, *общихъ* впечатлѣніяхъ): Никитенко, излагая передъ

нами свои, всегда, впрочемъ, опредѣленные по содержанию и составлявшія законченное цѣлое съ ясными выводами, импровизаціи, дѣйствительно училъ, или хотѣлъ учить насъ, вѣруя въ силу и важность своего предмета и видя въ слушатель личность, пришедшую учиться; Срезневскій какъ-бы снисходилъ до насъ, небрежно бросая кое-какія крупички изъ богатой житницы своей учености, разнообразныхъ знаній и жизненнаго опыта; бросалъ какъ бы шутя, подчасъ очень зло, желчно разбивая ту или другую научную теорію, или мнѣніе, развѣчивая ту или другую, якобы авторитетную, личность; но воспользуемся ли мы, и какъ, этими крупичками, до этого, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ казалось, ему не было никакого дѣла. Я, право, даже не могу сказать, вѣрилъ ли покойный серьезно, въ глубинѣ-то души, закрытой для постороннихъ, въ будущность славянскаго міра, что онъ думалъ о судьбѣ славянства, о славянофилахъ, панславизмѣ и нашихъ отношеніяхъ къ славянскому міру. И если образовались у меня какіе-нибудь опредѣленные взгляды и убѣжденія на счетъ славянства, какъ русскаго, такъ и остальной Европы, то обязанъ я этимъ не Срезневскому, а позднѣйшему знакомству съ извѣстными книгами Пыпина (Характеристики литературныхъ мнѣній, Исторія славянскихъ литературъ — Пыпина и Спасовича, Исторія русской этнографіи), нѣкоторымъ журнальнымъ статьямъ и сочиненіямъ самихъ славянофиловъ. Съ шестидесятихъ еще годовъ, съ легкой руки Тургенева, пустившаго въ оборотъ ловкое словечко, насъ, тогдашнюю молодежь, стали обы-

вать ни во что якобы невѣрящими *нигилистами* и насмѣшливыми *скептиками*, и въ томъ же нигилизмѣ и скептицизмѣ жестоко укоряли литературу;—но, не входя въ разсужденіе, такъ ли это было на самомъ дѣлѣ, я сказалъ бы, что не малую долю, именно *скептическаго* отношенія къ людямъ, явленіямъ жизни и самой наукѣ, часто несправедливо претендующей на непогрѣшимость выводовъ, вынесъ я въ значительной степени именно изъ лекцій 'наиболѣе консервативнаго профессора, патентованнаго русскаго ученаго и академика, И. И. Срезневскаго. И за этотъ-то скептицизмъ я не только не упрекаю его памяти, но всегда вспоминаю его съ благодарностью: выучилъ онъ меня очень немногому—это правда, да, вѣроятно, виноватъ въ этомъ и я самъ; но, не рядясь въ ученую тогу, этотъ «маленькій Вольтеръ» на кафедрѣ русскаго столичнаго Императорскаго университета возбудилъ и утвердилъ во мнѣ духъ критики по отношенію къ наукѣ, людямъ и жизни, а тамъ уже, что признать, или отвергнуть,—это было, какъ и у всякаго, дѣломъ своего собственнаго крайняго разумѣнія. Это говорю я серьезно, безъ малѣйшаго неуваженія къ памяти покойнаго. Но, если мало знаній дали мнѣ лекціи И. И. Срезневскаго о славянствѣ, то величайшее значеніе для меня, въ смыслѣ подготовки къ учительству, имѣли нѣсколько лекцій, прочитанныхъ имъ публично *О преподаваніи русскаго языка*. Слушателей, какъ спеціальныя, собирали онъ мало; но въ нихъ было столько оригинальнаго, умнаго и практически приложимаго къ преподаванію русской грамматики на живомъ языкѣ, что,

вмѣстѣ съ извѣстной книгой Ѳ. И. Буслаева *О преподаваніи отечественнаго языка*, эти лекціи, вышедшія отдѣльной книжкой и потомъ въ значительной степени вошедшія въ извѣстную книгу Срезневскаго *Мысли объ исторіи русскаго языка*, положили серьезное основаніе и методъ всему нашему позднѣйшему отечественному языковѣдѣнію въ примѣненіи послѣдняго къ школьному курсу.

Къ величайшему моему сожалѣнію, только уже на третьемъ курсѣ, и то, если не ошибаюсь, одинъ только второй семестръ, привелось мнѣ слушать А. Н. Пыпина, приглашеннаго на новую, столь необходимую для филологовъ, кафедру *Всеобщей исторіи литературы*. Помнится, еще задолго до его появленія въ Петербургскомъ университетѣ, въ публичѣ, какъ и между студентами, ему предшествовала самая лестная репутація солиднаго молодого ученаго. Это уже сразу располагало къ нему молодежь; но, съ первыхъ же лекцій, увидѣвъ, что онѣ, отличаясь строгой научностью, представляли, повидимому, интересъ только для специалистовъ, большинство нахлынувшихъ было слушателей перестало его посѣщать, и остались его постоянными и усердными слушателями почти только одни филсоги разныхъ курсовъ, которыхъ въ то время было всего-то, на всѣхъ четырехъ курсахъ, едва-ли болѣе ста. Послѣ серьезнаго вступленія, гдѣ опредѣлилъ онъ значеніе своего предмета въ ряду наукъ, современное положеніе послѣдняго въ наукѣ европейской и указалъ основные приемы научной критики и главнѣйшіе источники, онъ прямо перешелъ къ разсмотрѣ-

нію средневѣковой литературы, сколько помнится, провансальской и средневѣковыхъ французскихъ лѣтописцевъ-мемуаристовъ. Странное впечатлѣніе, сравнительно съ названными профессорами, произвелъ на меня въ первое время Александръ Николаевичъ, пока я нѣсколько не привыкъ къ нему и не сталъ все больше и больше интересоваться предметомъ и уважать профессора. Не было у него ничего внѣшняго, блестящаго, поражающаго,—ничего такого, что такъ увлекало меня, напр., въ Стасюлевичѣ, Костомаровѣ или Никитенко: ни французскаго блеска и текучей, краснорѣчивой, бойкой рѣчи перваго, ни оригинальной художественности втораго, ни изящества и задушевности третьяго; не было и ироническаго тона и разнообразія занимательнаго, часто анекдотическаго, содержанія лекцій Срезневскаго,—ничего этого у Пыпина не было, и многимъ изъ насъ, избалованнымъ красотой лекцій и популяризацией науки, это могло не нравиться. Но, по отношенію къ себѣ лично, я долженъ сказать, что, за все мое студенческое время, изъ всѣхъ слушанныхъ мною филологовъ, кромѣ Костомарова—все таки профессора-художника, много бравшаго и своей личностью, А. Н. Пыпинъ преимущественно остался въ моей памяти идеаломъ вполне спокойнаго, строго серьезнаго, ученаго, всецѣло отдавашагося наукѣ, величепріятные выводы которой даются только путемъ долгаго и упornaго самостоятельнаго изслѣдованія источниковъ и глубокой исторической ихъ критики. Своими немногими лекціями онъ показалъ мнѣ настоящую необходимость для науки

основательнаго знанія иностранныхъ языковъ, недостаткомъ котораго такъ страдаютъ русскіе студенты; показалъ, сколь важно для учителя словесности знакомство съ литературой европейской, и какъ много требуется отъ человѣка упорнаго, долгаго, труда, чтобы внести въ науку хоть чтонибудь новое, существенное. Подъ вліяніемъ то именно этого человѣка и полюбилъ я всеобщую исторію литературы, съ которой съ того времени и сталъ болѣе основательно, по мѣрѣ силъ и возможности, знакомиться, и знакомить съ которой въ простой и доступной формѣ, моихъ учениковъ и ученицъ стало во всю мою послѣдующую учительскую дѣятельность одной изъ главныхъ моихъ задачъ. Какимъ былъ Александръ Николаевичъ въ свое недолговременное профессорство, такимъ остался онъ и во всю свою жизнь, по настоящее время. Издавъ подъ своей редакціей капитальнѣйшій по исторіи всеобщей литературы, обширный трудъ Геттнера (Исторія литературы XVIII в.), онъ перешелъ къ изслѣдованіямъ литературъ славянскихъ и своими собственными, строго научными, трудами по исторіи литературы русской—«*Общественныя движенія при Александрѣ I*», «*Характеристики литературныхъ мнѣній*», «*Бѣлинскій, его жизнь и переписка*»—внесъ, едва-ли не единственный у насъ научный обширный систематическій вкладъ въ исторію русской литературы XIX в., которая, какъ наука, съ А. Н. Пыпина, кажется, только и начинается.

Вотъ, кажется, и всѣ профессора моего факультета, которые, такъ или иначе, имѣли на меня,

юношу, большее или меньшее влияние, и заинтересовали меня наукой. Они заставили меня видетьъ въ наукѣ святыню, которой нужно служить честно и величепріятно, посвящая ей всѣ свои силы и способности, и нелегкій, долгій, упорный трудъ, но которая за то, также всякому, кто хоть сколько нибудь добросовѣстно ей послужить, даетъ великое наслажденіе въ безкорыстномъ исканіи истины. Они же, эти наставники мои, показали мнѣ, какую наука имѣетъ культурную силу, и какъ можетъ эта наука облагораживать и осчастливливать человѣка; какъ отъ степени распространенія широкой образованности прямо зависитъ увеличеніе человѣческаго благосостоянія. И вотъ, подъ влияніемъ этихъ-то людей, я, полный юношескаго идеализма, уже въ дѣтствѣ мечтавшій о профессорствѣ и учительствѣ, твердо рѣшилъ посвятить себя служенію обществу въ качествѣ учителя.

Вглядываясь въ даль моего университетскаго прошлаго, скажу кстати нѣсколько словъ и о томъ, какими весьма существенными пробѣлами, только отчасти пополненными потомъ, уже гораздо позже, страдало наше факультетское филологическое образованіе.

Совсѣмъ отсутствовалъ у насъ самый важный, основной, предметъ гуманистическаго образованія— философія, понимая подъ нею логику, психологію и исторію философіи. Последней и не полагалось въ числѣ факультетскихъ предметовъ; что же касается первыхъ двухъ, то, отданные въ руки духовныхъ лицъ, эти науки были чѣмъ то въ родѣ весьма крат-

каго и поверхностнаго дополненія къ богословію, котораго почти никто не слушалъ, и отличались схоластическимъ характеромъ. Эти предметы существовали у насъ только какъ бы для виду, никого собой не интересуя, и, сдавъ экзамены по крошечнымъ литографированнымъ тетрадкамъ, раздаваемымъ профессоромъ заранѣе, мы вышли изъ университета съ полнѣйшимъ отсутствіемъ всякихъ званій по логикѣ и психологіи, съ которыми однако же тѣ изъ насъ, которые подобно мнѣ сдѣлались учителями словесности, должны были впоследствии хотя сколько нибудь знакомить учениковъ. Не слушалъ я и педагогики, такъ какъ профессоръ ея, директоръ Ларинской гимназіи Фишеръ, начавшій было читать, вскорѣ умеръ, а послѣ него каведра такъ и не была замѣщена. Весьма любопытно, чтобы не сказать, крайне странно, что у насъ въ Россіи и до сихъ поръ вовсе не существуетъ каведры исторіи педагогики ни въ одномъ университетѣ, а между тѣмъ педагогика читается обязательно во всѣхъ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, на женскихъ педагогическихъ курсахъ, въ учительскихъ школахъ, семинаріяхъ и институтахъ. Конечно, не мало можно было-бы указать и другихъ слабыхъ сторонъ, или недочетовъ въ тогдашнемъ преподаваніи на нашемъ факультетѣ; рядомъ съ обрисованными мною семью профессорами, оставившими по себѣ добрую память и уваженіе, были и другіе, изъ коихъ о нѣкоторыхъ вспоминаю съ улыбкой, но я не буду говорить о нихъ, такъ какъ они и весьма немногому меня научили, и вовсе не имѣли

на меня никакого вліянія. Поэтому, вспоминая съ благодарностью обо всемъ хорошемъ, что я вынесъ изъ своей alma mater, повторяю вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,
Къ устамъ подъявъ признательную чашу
Не помня зла, за благо воздадимъ!

Покончивъ съ воспоминаніями объ университетѣ и его выдававшихся профессорахъ, перехожу къ своей, виѣуниверситетской, студенческой, жизни, и къ моимъ занятіямъ и участію въ Васильеостровской бесплатной школѣ, имѣвшей самое важное значеніе для всего моего послѣдующаго учительства.

III.

Университетскій кружокъ.—Экономическое положеніе студентовъ.—«Мыслящій пролетаріатъ»,—Мое вступленіе въ кружокъ.—Характеръ кружка.—Характеристика нѣкоторыхъ изъ его членовъ.—Вліяніе на меня Вѣлинскаго, Пирогова и «Современника».—Увлеченіе театромъ и итальянской оперой.—Вліяніе на меня моего дяди.

Обращаясь къ своей внѣуниверситетской жизни, въ которой, подѣ вліяніемъ слышаннаго на лекціяхъ, самостоятельнаго чтенія, наконецъ,—среды товарищеской и общественной, складывалась моя личность, какъ будущаго учителя, останавлиюсь только на нѣкоторыхъ явленіяхъ особенно знаменательнаго для меня времени студенчества.

Прежде всего—нѣсколько словъ о положеніи, такъ сказать, экономическомъ. Оглядываясь въ прошлое, удивляюсь, какъ это, лѣтъ за тридцать пять назадъ, могли существовать въ университетѣ круглые, безсемейные, бѣдняки, подобные мнѣ, не получая со стороны университета ровно никакой матеріальной поддержки. Правда, всѣ переходящіе изъ гимназій, какъ и я, «казеннокоштные» гимназисты, отъ платы за слушаніе лекцій освобождались, но за то въ первый годъ никакими стипендіями не пользовались,—такъ что должны были жить и питаться гдѣ, чѣмъ

и какъ имъ было угодно. Кромѣ нѣсколькихъ, очень немногочисленныхъ, стипендій (напр., И. А. Крылова), которыя получить было чрезвычайно трудно, никакихъ стипендій, казенныхъ или частныхъ, не было тогда вовсе, а существовали, какъ называли у насъ нѣкоторые, особые *«балловыя деньги»*—семь съ полтиной въ мѣсяцъ, которыя выдавались помѣсячно *«казеннымъ»* студентамъ (т.-е. освобожденнымъ отъ платы за лекціи), но не иначе, какъ только черезъ годъ, послѣ переходныхъ экзаменовъ во второй курсъ, какъ-бы въ награду за 4^{1/2} балла въ среднемъ,—причемъ, на слѣдующій годъ, если-бы студентъ получилъ на испытаніяхъ балловъ хотя-бы четвертью менѣе, эта мѣсячная премія за хорошую науку прекращалась. Такимъ образомъ, если на второмъ курсѣ въ перспективѣ представлялись семь съ полтиной, то въ первый годъ не получилось уже ни откуда ровно ничего. Можно было, правда, выхлопотать что-нибудь изъ суммы, собранной съ ежегоднаго концерта, наконецъ, изъ нашей собственной, едва возникшей, кассы; но нуждающихся было такъ много, а денегъ такъ мало, что урвать что-либо было и трудно, да просто и совѣстно, если только проситель буквально не умиралъ съ голоду. И вотъ, особенно на первомъ курсѣ, образовывался особый *«мыслящій пролетаріатъ»*, плохо одѣтый, безъ капошъ и теплаго платья, весьма часто голодный, иногда даже безъ квартиры, т.-е. своего угла, гдѣ-бы можно было хоть переночевать; но, несмотря ни на что,—пролетаріатъ необыкновенно бодрый духомъ, даже веселый и остроумничавшій надъ своимъ-же курьез-

нымъ положеніемъ,—пролетаріатъ выносливый, безъ боязни, съ вѣрою глядѣвшій въ будущее, оптимистически относившійся къ жизни и ухитрявшійся еще читать, работать, даже иногда попасть въ театръ, и—даже, зачѣмъ таить грѣхъ?...—скромно покутить съ товарищами, угостивъ подчасъ и другихъ, ребромъ поставленной, попавшей въ карманъ копейкой... Какъ-же, спроситъ читатель,—такой пролетаріатъ могъ существовать, да еще такъ, какъ вы рассказываете? На такой вопросъ отвѣчу рассказомъ о себѣ самомъ, такъ какъ и я былъ однимъ изъ представителей именно такого «*пролетаріата*».

Прочитавъ 19-го Іюня 1858 г. на торжественномъ актѣ 3-й Спб. гимназіи свою прощальную рѣчь со стихами къ товарищамъ, вызвавшую аплодисменты публики и порицаніе начальства за прочтеніе нѣсколькихъ, не пропущенныхъ гимназической цензурой, фразъ, я получилъ въ руки гимназическое свидѣтельство, и въ гимназическомъ-же платьѣ и единственной, бывшей на мнѣ, парѣ бѣлья вышелъ на улицу уже самостоятельнымъ гражданиномъ. На студенческую экипировку казеннокоштнымъ выдавалось изъ гимназіи рублей сорокъ и, на придачу, гимназическое платье и бѣлье; но изъ-за рѣчи денегъ мнѣ на этотъ разъ не выдали, и получилъ я ихъ уже послѣ, въ августѣ. Такимъ образомъ «*самостоятельный гражданинъ*» очутился на улицѣ, даже безъ обѣда въ перспективѣ. Но встрѣтившійся, опоздавшій на актъ, студентъ-товарищъ (кончившій курсъ годомъ раньше) обѣдомъ меня накормилъ, а ночевать пошелъ я къ другому товарищу С—ну,

вышедшему изъ гимназіи тоже годомъ раньше меня, но не кончивъ курса. Были у него кое-какія средства, дававшія возможность нанимать крохотную квартирку на Петербургской сторонѣ, въ Широкой улицѣ, сытно ѣсть, и даже порядочно одѣваться. Онъ былъ самымъ близкимъ мнѣ гимназическимъ товарищемъ и готовился теперь къ экзамену въ университетъ въ августѣ. Къ нему-то и отправился я ночевать и прожилъ у него цѣлое лѣто. Осенью, экипировавшись кое-какъ, поступилъ я въ университетъ, и тутъ-то и зажилъ жизнью «мыслящаго пролетарія». Всѣ денежные ежемѣсячные ресурсы мои заключались въ пяти рубляхъ серебромъ, за каковыя я долженъ былъ четыре раза въ недѣлю ходить по вечерамъ въ Колтовскую заниматься съ сыномъ одного чиновника, за что въ придачу получалъ всякій разъ по кружкѣ кофе съ ломтемъ ситнаго, что иногда составляло, въ то время, все мое дневное пропитаніе. Въ этотъ первый годъ, какъ часто и потомъ, приходилось питаться въ сухоматку однимъ ситнымъ, или сайкой съ рубцомъ, а то — двумя — тремя бутербродами съ кружкой пива въ одной изъ многочисленныхъ тогда нѣмецкихъ маленькихъ портерныхъ на Васильевскомъ острову, гдѣ насъ, студентовъ, очень любили, и гдѣ можно было и наѣсться, и напиться пива вволю за какойнибудь рубль, да еще въ долгъ. Что-же касается квартиры, то въ первый годъ ея не было у меня вовсе, и первое мое собственное логовище — проходную клѣтушку съ окномъ, отдѣленную перегородкой, — нанялъ я уже въ сентябрѣ слѣдующаго года

за четыре съ полтиной въ мѣсяцъ. Ночевывалъ же я въ «этой бездомовѣ» гдѣ случалось: иногда у родныхъ (домъ моего дяди), иногда у товарищей, а то, въ теплое время, и на скамьѣ Адмиралтейскаго бульвара (нынѣ Александровскій скверъ), или-же на Петербургской, въ Александровскомъ паркѣ,—благо не гнала полиція. Собственности у меня, кромѣ нѣсколькихъ книгъ, да двухъ-трехъ паръ бѣлья, не было никакой, а помянутая наличность сохранялась у товарищей, имѣвшихъ нѣкоторую осѣдлость. У нихъ я и занимался, смотря по тому, у кого была та или другая моя книга. Но чаще всего работалъ я въ прекрасной библіотекѣ академіи наукъ, гдѣ заниматься было и тепло, и спокойно (посѣщалась она мало), и гдѣ давали мнѣ даже бумагу, карандаши и перья. Отсюда-же, благодаря добротѣ почтеннаго библіотекаря, Б. П. Ламбина, за все мое университетское время, и потомъ, бралъ я книги и на домъ, такъ что въ научныхъ пособіяхъ и, вообще, въ добываніи даже журналовъ и беллетристики русской и иностранной, недостатка не терпѣлъ вовсе. Не могу, вспоминая о своемъ годовомъ бездомовѣ, не почтить благодарною памятью одного, умершаго еще въ университетѣ, товарища, котораго фамиліи рѣшительно не могу припомнить, но которому считаю себя не мало обязаннымъ. Былъ онъ дьячковскій сынъ, пришедшій въ университетъ учиться пѣшкомъ, кажется, изъ Рязани; высокій ростомъ и великій возрастомъ, обладалъ онъ большой физической силой и необыкновенной кротостью нрава и мягко-сердечіемъ, прекрасно пѣлъ басомъ духовное и свѣт-

ское, и особенно любилъ греческій языкъ, которымъ владѣлъ въ совершенствѣ. Жилъ онъ на Петербургской сторонѣ, на очень широкой лежанкѣ, у слесаря, ходившаго на поденную работу и къ вечеру возвращавшагося домой пьянымъ. Имѣлъ онъ какіе-то уроки, рублей на 10 въ мѣсяцъ, и на эти-то деньги ухитрился приобрести «осѣдлость», и пропитывать не только себя, но подчасъ накормить и меня, и другихъ — двухъ-трехъ такихъ-же бѣдняковъ-товарищей. Онъ много помогалъ мнѣ въ занятіяхъ греческимъ языкомъ, и не разъ заночевывалъ я у него, помѣстившись вмѣстѣ на теплой лежанкѣ, послѣ укрошенія разбушевавшагося слесаря. Въ свою очередь, когда у меня и такихъ-же бѣдняковъ заводилась копѣйка, приносили и мы товарищу ситника, колбасы, или что-либо подобное, и тутъ уже происходилъ у нашего «ирека» пиръ. Такъ-то и проживалъ, главнымъ образомъ, благодаря товариществу, нашъ тогдашній бездомовный «пролетаріатъ». Это-то товарищество было, по крайней мѣрѣ для меня, великой воспитательно-общественной силой, поддержавшей и сформировавшей мой характеръ въ годы юности. Въ наше время оно тѣсно и быстро сближало студентовъ, безъ различія факультетовъ, даже курсовъ, поддерживало и ободряло другъ друга и вносило въ жизнь основы общественности, взаимопомощи, нравственнаго контроля надъ собой и извѣстный благородный идеализмъ. Семейное-же «ты», на которое тогда переходили студенты съ перваго же знакомства, было какъ-бы внѣшнимъ выраженіемъ той нравственной солидарности, какая

чувствовалась въ насъ по отношенію ко всему студенчеству. Отъ товарищества вообще перейду къ кружку, гдѣ, какъ я думаю, всего болѣе сформировалась моя личность, и откуда, какъ увидимъ дальше, вышло дѣло, и для меня, и для многихъ другихъ, весьма серьезное.

Осенью 1858 г., въ началѣ сентября, встрѣтилъ я въ университетѣ одного изъ моихъ товарищей по *первой* гимназіи С—цына, бывшаго уже на второмъ курсѣ, камералиста. Поздоровавшись со мной, онъ тотчасъ же спросилъ меня, гдѣ я бываю, въ какомъ «*кружкѣ*» принимаю участіе, и на отвѣтъ мой, что, кромѣ одного С—на, товарища по *третьей* гимназіи, благополучно выдержавшаго экзаменъ въ университетъ, да еще двухъ-трехъ изъ новыхъ знакомыхъ студентовъ, не вижу никого и ни въ какомъ кружкѣ не участвую, рассказалъ мнѣ, что существуетъ, молъ, прекрасный кружокъ у нѣкогого, пріѣхавшаго изъ Москвы, кандидата Московскаго университета, ученика Грановскаго, М—скаго, у котораго собираются еженедѣльно по субботамъ, и куда онъ, Ск—цынъ, и введетъ меня въ ближайшую же субботу. Такимъ образомъ, въ самомъ уже началѣ моего пребыванія въ университетѣ, очутился въ кружкѣ и я самъ, а затѣмъ и мой другъ С—нъ, и, кажется, трое изъ знакомыхъ студентовъ. Кружокъ этотъ, во главѣ котораго стоялъ М—скій, самый изъ насъ старшій и образованный, собирався въ большой меблированной комнатѣ, на Конюшенной, еженедѣльно и состоялъ человекъ изъ четырнадцати-пятнадцати, не только насъ студентовъ разныхъ фа-

культетовъ (филологъ былъ одинъ я), но и двухъ юныхъ флотскихъ офицеровъ, братьевъ Стр—скихъ, ходившихъ слушать лекціи въ университетѣ, одного даже гусарскаго полковника Кр—скаго, декабриста Цебрикова, и еще двухъ-трехъ молодыхъ людей, помнится, уже гдѣ-то служившихъ. Цѣль кружка, на собраніяхъ котораго, за все время его существованія, абсолютно не допускалось никакого угощенія, кромѣ чая съ булками или бутербродами, была довольно неопредѣленная и скромная: —просто сходить-ся вмѣстѣ и поговорить обо всемъ, что кого интересуетъ, подѣлиться новостями, какихъ въ то оживленное время было и въ обществѣ, и въ университетѣ довольно, знакомиться сообща съ текущей журналистикой и, путемъ рефератовъ по разнымъ вопросамъ и сообщеній о прочитанномъ, взаимно дополнять свое образованіе. Подписывались мы въ складчину на журналы, которые и разбирали по рубрикамъ, каждый изъ насъ докладывая обо всемъ наиболѣе интересномъ въ области критики и статей политическихъ и экономическихъ, что давало поводъ къ горячимъ разговорамъ и спорамъ, незамѣтно втягивая всѣхъ въ интересы общественные и ставя аи *conscient* того, чѣмъ интересовалась тогда вся мыслящая Россія, приступившая къ величайшимъ реформамъ александровскаго царствованія. Этимъ журналамъ, а также и другимъ выдающимся сочиненіямъ того времени, въ которыхъ сказывалось много свободного критическаго ума, остроумія, глубины, любви къ человѣчеству и родинѣ, обязанъ я,—и, думаю, мои товарищи по кружку своимъ общественнымъ и по-

литическимъ развитіемъ, возбужденіемъ духовныхъ интересовъ и развитіемъ способности подводить частныя явленія жизни подъ общее, сравнивая жизнь нашу съ жизнью образованной Европы. Много, конечно, было высказываемо въ кружкѣ незрѣлаго, наивнаго; не мало въ насъ, юнѣйшихъ членахъ, возбуждалось въ высшей степени комичныхъ либеральныхъ споровъ; много говорилось парадоксальнаго, но нужно признаться, что болѣе зрѣлые изъ насъ, какъ М—скій, напр., умѣли охлаждать неумѣренный пылъ расходившейся юности, направлять и разрѣшать всѣ эти споры, указывая на практическую жизнь и науку, къ которой и призывали насъ для болѣе опредѣленнаго и правильнаго обоснованія нашихъ мыслей. Многіе изъ насъ, именно благодаря кружку, принимались за серьезное чтеніе въ области историческихъ и политическихъ наукъ. А такое живое, свободное обсужденіе всякихъ вопросовъ, подсказанное кружкомъ чтеніе, въ связи съ лекціями профессоровъ, особенно Кавелина и Спасовича, должны были способствовать нашему развитію и общему подъему нравственнаго духа. А сколько и умныхъ рѣчей, спокойно философскихъ, трезво правдивыхъ, проникнутыхъ горячимъ убѣжденіемъ, самой теплой любовью къ родинѣ и желаніемъ ей добра, слышали мы, юноши, въ этой скромной комнатѣ нашего, прямо говорю, руководителя П. В. М—скаго. И ни малѣйшаго педантизма, ни чопорной сухости, ни щекотливаго мелкаго самолюбія—ничего этого не было въ нашемъ кружкѣ, гдѣ почти всѣ, не смотря на разницу лѣтъ и положенія, очень скоро уже были

между собою на «ты», и образовали самое тѣсное, особое, товарищество, не исключавшее, какъ и въ самомъ университетѣ, поддержки другъ друга не только нравственной, но, въ случаѣ нужды, напр., болѣзни, лишенія работы и т. п., какъ ни были мы бѣдны, и матеріальной. Скажу прямо, что нашъ кружокъ былъ для насъ, студентовъ, едва сошедшихъ съ гимназической скамьи, истиннымъ благодѣяніемъ. Не говоря уже о томъ, что для насъ, лишенныхъ семьи, общества, онъ былъ желаннымъ отдыхомъ и разумнымъ, бодрящимъ, развлеченіемъ, котораго ждали мы, какъ праздника, отъ субботы до субботы; онъ былъ для насъ настоящей школой общественной, нравственнымъ контролемъ надъ нашими собственными поступками, такъ сказать, маленькой публичной школой упражненій въ живой рѣчи, что для меня, какъ будущаго учителя, было очень важно,—школой критики, благороднаго остроумія и нивелировкой разнородныхъ, иногда дурно воспитанныхъ, характеровъ. Всего-же важнѣе то, что, за все время существованія кружка, всѣ мы незамѣтно проникались жаждой полезной дѣятельности общественной, честнаго служенія, современемъ, лучшимъ интересамъ родной земли. Прямо скажу:—не попади я, наивный романтикъ, съ гимназической скамьи, кромѣ университета, въ этотъ кружокъ, столкнувшій и сблизившій меня на всю жизнь со многими лучшими людьми, я не знаю, что бы изъ меня вышло. На примѣрѣ этого нашего кружка видится мнѣ ясно, какое значеніе имѣютъ подобные кружки при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ у насъ въ Россіи, гдѣ

юноша такъ часто выходитъ изъ гимназіи очень мало развитымъ, и, предоставленный самъ себѣ, такъ скоро затеривается въ омутъ пошлости, а то и погибаетъ, или вноситъ въ свою послѣдующую дѣятельность одну рутину и апатію.

Говоря о кружкѣ, не могу не сказать нѣсколькихъ словъ о трехъ интересныхъ личностяхъ, производившихъ на меня сильное впечатлѣніе, хотя кружокъ нашъ посѣщали они только въ первый годъ, и отличались не столько серьезностью рѣчей, сколько оригинальностью вообще своего положенія и характера. Это былъ, во-первыхъ, уже упомянутый раньше армейскій гусарскій полковникъ, малороссъ К—скій. Энтузіастъ, горячій патріотъ, онъ не отличался особымъ умомъ или образованіемъ, но былъ человѣкъ необыкновенно сердечный, самый восторженный поклонникъ молодежи, въ которой онъ видѣлъ все будущее Россіи. Типическій представитель времени наступившихъ великихъ реформъ,—времени, о которомъ сказалъ гр. Л. Н. Толстой, что «кто не жилъ тогда въ Россіи, тотъ не знаетъ, что значитъ жить», онъ слѣпо вѣрилъ въ будущее нашей родины, и слово «народъ» было для него чѣмъ-то священнымъ, и произносилъ онъ его дрожащимъ голосомъ, говорилъ о народѣ со слезами на глазахъ и съ нервной жестикуляціей. Онъ былъ бы смѣшонъ, еслибъ не былъ искрененъ,—и эта-то искренность, выкупавшая неопредѣленность смысла и, подчасъ, великія наивности его рѣчей, помню, заразительно на меня дѣйствовала. Онъ былъ человѣкъ достаточный, и, въ качествѣ любителя сильныхъ ощущеній и страстного охотника,

путешествовалъ по Африкѣ и охотился на львовъ. Объ этихъ охотахъ онъ рассказывалъ много и охотно; можетъ быть, кое-гдѣ и прикрашивалъ и прихвастывалъ на счетъ своей храбрости; но эти рассказы, во всякомъ случаѣ, необыкновенно оживленные, и даже художественные, рисовали передо мной, въ живой рѣчи очевидца и участника всѣхъ этихъ приключеній, и невѣдомую природу, и нравы,—а главное, смѣлую личность самого охотника. Цѣльной и оригинальной натурою былъ этотъ, уже пожилой, гусаръ, съ почти голой головой и огромными висячими усами, точно нарочно созданный для необыкновенныхъ подвиговъ, для которыхъ требовался именно такой удалецъ-энтузіастъ,—этотъ старый, но славный, чистый сердцемъ, ребенокъ. Помню его и до сихъ поръ, какъ цѣльнаго человѣка, у котораго слово не расходилось съ дѣломъ, который, что задумалъ, что сказалъ, то и сдѣлалъ, хотя бы это стоило ему жизни. Его я потерялъ совсѣмъ изъ виду. Говорили мнѣ потомъ, что онъ уѣхалъ на югъ, гдѣ у него было небольшое имѣніе. Помнится, въ 1861-мъ году дошелъ до насъ слухъ, что онъ умеръ... Но образъ этого страннаго человѣка, жившаго только нервами и сердцемъ, до сихъ поръ предо мною какъ живой...

Другой оригинальный посѣтитель нашего кружка былъ отставной, кажется, артиллерійскій, офицеръ, лѣтъ за тридцать, полякъ Табенскій. Невысокаго роста, тоже нервный и порывистый, помнится, съ темными курчавыми волосами и мягкими вкрадчивыми манерами, умнымъ и выразительнымъ лицомъ,

онъ съ перваго же раза произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Это былъ тоже патріотъ, какъ и полковникъ, но патріотъ польскій, не только чувствовалъ, но и глубоко убѣжденный, хорошо образованный и мастерски говорившій, настойчиво развивавшій мысль о необходимости для всякаго, кто хочетъ послужить родинѣ, основательнаго историческаго и политическаго образованія, выработки характера и настойчивости въ преслѣдованіи разъ намѣченной цѣли. На насъ, студентовъ, смотрѣлъ онъ, подобно полковнику, какъ на юнцовъ, наивныхъ и неустановившихся, но, какъ и полковникъ, видѣлъ онъ въ насъ людей, изъ которыхъ могутъ выйти, но при собственной работѣ надъ своимъ образованіемъ и характеромъ, полезные дѣятели на разныхъ поприщахъ. Онъ знакомилъ насъ, помнится, съ вопросами экономическими, съ утопическими теоріями объ идеальномъ устройствѣ человѣческихъ обществъ, рассказывалъ кое-что изъ польской исторіи, но, замѣчательно, что никогда не пытался склонить насъ въ полонофильство, и о Польшѣ, собственно, говорилъ рѣдко, никогда не обнаруживая ни малѣйшей ненависти къ намъ, какъ русскимъ; а когда кто-нибудь изъ насъ заговаривалъ о Польшѣ, старался этотъ разговоръ замять и обратить на вопросы болѣе общіе. Это былъ человѣкъ стойкій, выдержанный, не пилъ никакого вина; не курилъ, безглаголиво относился ко всякому слову съ оттѣнкомъ цинизма, и во мнѣ, по крайней мѣрѣ, возбуждалъ къ себѣ какое-то именно уваженіе, съ нѣкоторою даже робостью. Какъ онъ жилъ, чѣмъ занимался въ Петер-

бургѣ, кажется, никто изъ насъ не зналъ. Черезъ годъ онъ уѣхалъ къ себѣ въ Польшу, а затѣмъ я совсѣмъ потерялъ его изъ виду, и живъ ли онъ еще, или нѣтъ,—не знаю. На прощанье подарилъ онъ тремъ изъ насъ по прекрасному портрету Мицкевича, съ поэтической дѣятельностью котораго впервые познакомилъ меня онъ,—Костюшки и Яна Собѣскаго, а мы проводили его ужиномъ, на которомъ пили всѣ, кромѣ него, и привѣтствовали его рѣчами, а я даже и стихами.

Третій,—такъ сказать, болѣе случайный,—членъ кружка, былъ красивый, сѣдой, какъ лунь, декабристъ Цебриковъ. Блестящій гвардейскій прапорщикъ, съ французскимъ воспитаніемъ, блиставшій въ двадцатыхъ годахъ въ Петербургѣ въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, онъ имѣлъ къ дѣлу декабристовъ прикосновеніе самое незначительное, но, тѣмъ не менѣе, былъ разжалованъ въ солдаты, и много лѣтъ прослужилъ въ сибирскихъ линейныхъ баталіонахъ рядовымъ, храбро сражался съ горцами на Кавказѣ, за что и получилъ солдатскаго Георгія, котораго носилъ всегда въ петличкѣ, а затѣмъ, прощенный Императоромъ Александромъ II, по восшествіи его на престолъ, явился въ Петербургъ, въ самый разгаръ всеобщаго возбужденія нашего общества въ пятидесятыхъ годахъ. Этотъ человѣкъ былъ въ кружкѣ элементомъ совсѣмъ особеннымъ, и, окруженный въ нашихъ глазахъ нѣкоторымъ, такъ сказать, ореоломъ *«мученичества»*, пользовался всеобщимъ вниманіемъ и уваженіемъ. Начать съ того, что меня, никогда не выдавашаго свѣтскаго хорошаго

общества, поражали его необыкновенно мягкія, изящныя манеры, самый его голосъ, очень пріятный, ласкающій, проникавшій въ душу, его плавная, красивая рѣчь съ примѣсю французскихъ фразъ, чувство благороднаго сознанія собственнаго достоинства, но безъ рѣзкости и самохвальства или надутой гордости, всегда столь непріятныхъ собесѣднику, какают примирительная гуманность въ сужденіяхъ, и особенно симпатичное отношеніе къ намъ,—молодежи, которую онъ называлъ своими друзьями (*mes amis*). Сколько пережилъ этотъ старикъ!—думалось мнѣ,—и какимъ славнымъ, добрымъ, изящнымъ, сохранился, не озлобившись, не загрубѣвъ, не потерявъ ни вкуса къ жизни, ни вѣры въ нее и въ юную Россію, философски относясь къ пережитому. Эта личность несомнѣнно оставила во мнѣ извѣстный хорошій слѣдъ, и сохранилась въ моей памяти полною своеобычною прелести добраго, симпатичнѣйшаго человека, обнаруживавшаго, не смотря на все пережитое, лучшія стороны хорошаго воспитанія.

Какую-же роль игралъ этотъ человекъ въ кружкѣ? Старикъ посѣщалъ насъ не часто, но всякій разъ, когда онъ къ намъ являлся, его сажали на почетное мѣсто, на диванъ, передъ круглымъ столомъ, стараясь всячески вызвать на рассказы о прошломъ. Изъ вышедшей съ Высочайшаго соизволенія извѣстной книги барона Корфа — «Восшествіе на престолъ Императора Николая I» мы уже знали кое-что о декабристахъ, а рассказы объ ихъ сибирской жизни уже давно ходили въ обществѣ. И старикъ, подзадориваемый нашимъ вниманіемъ, много разска-

зываетъ намъ и о своихъ, наиболѣе извѣстныхъ товарищахъ по судьбѣ, кн. Трубецкомъ и Волконскомъ, и ихъ героическихъ женахъ, о которыхъ потомъ читали мы въ душевныхъ пѣсняхъ Некрасова о русскихъ женщинахъ; рассказывалъ о солдатской своей службѣ и о русскомъ солдатѣ, его выносливости, храбрости и простодушномъ незлобіи, о далекой глухой Сибири, о своеобразной жизни и суровой природѣ этого ссылочнаго, полудикаго, края. Можетъ быть, во всѣхъ этихъ рассказахъ, тоже было много и приподнятаго, прикрашеннаго, какъ и въ рассказахъ милаго полковника, но такой задушевностью вѣяло отъ нихъ, такіе новые, невѣдомые и неподозрѣваемые мною, міры раскрывали они предо мною, что на всю жизнь остались въ моей памяти. И, что замѣчательно, во всѣхъ этихъ рассказахъ и полковника, и Табенскаго, и этого маститаго георгіевскаго кавалера, всегда слышалась нотка гуманности, въ смыслѣ любви къ человѣку вообще и благороднаго патріотизма, въ смыслѣ желанія матеріальнаго и духовнаго блага, счастья родной странѣ.

Такимъ-то образомъ эти три лица своею своеобразностью и рассказами сильно повліяли на меня, юношу, наталкивая мысль на многое, о чемъ ранѣе никогда и не думалось, и, вообще, вносили въ кружокъ оживленіе и нѣкоторый подъемъ духа. Это былъ въ нашемъ кружкѣ элементъ, такъ сказать, жизненный, если можно такъ выразиться, *практическій*, сближавшій насъ съ интересами общественными, знакомившій съ различными сторонами жизни нашей родины. Элементъ же, такъ сказать, *теоретическій*

выражался въ рефератахъ, совмѣстныхъ чтеніяхъ и дебатахъ о вопросахъ научныхъ, общественныхъ и политическихъ. Оглядываясь теперь въ далекое прошлое, конечно, не могу не сказать, что и эта *практика* кружка, и всѣ эти *теоріи*, какъ, по незрѣлости большинства изъ насъ, такъ и по слишкомъ поверхностной нашей образованности, особенно серьезнаго, научнаго, значенія, конечно, имѣть не могли; но они стѣгали, по крайней мѣрѣ, въ моей жизни, великую роль. Они вывели меня изъ тѣснаго круга безпочвенной романтической мечтательности и особенностями въ самомъ себѣ въ широкой кругъ интересовъ общечеловѣческихъ и національныхъ, способствуя пробужденію любознательности и укрѣпляя въ душѣ желаніе въ будущей дѣятельности послужить по мѣрѣ силъ своему дорогому отечеству. Этотъ же кружокъ особенно способствовалъ тѣсному сближенію, шестерыхъ изъ насъ, студентовъ, и двухъ юныхъ морскихъ офицеровъ Стрѣльчихъ. Эти восемь человѣкъ и въ эти университетскіе годы, и потомъ, на всю дальнѣйшую жизнь, остались близкими друзьями, принимавшими, при случаѣ, въ судьбѣ другъ друга самое теплое участіе. Трое изъ насъ уже умерли, но остальные и до сихъ поръ, вмѣстѣ съ основателемъ кружка П. В. Мѣликомъ, продолжаютъ служить родинѣ на разныхъ поприщахъ по мѣрѣ силъ своихъ, принимая посильное участіе въ общественной, педагогической, или литературной дѣятельности, за всѣ протекшіе болѣе тридцати лѣтъ нашей жизни.

Теперь хотѣлось бы сказать о моемъ самостоя-

тельномъ чтеніи, т. е. о томъ, что, на сколько помню, изъ читаннаго въ мои студенческіе годы, произвело на меня наибольшее впечатлѣніе, такъ или иначе, повліяло на мое рѣшеніе сдѣлаться учителемъ, и придало извѣстную окраску моей послѣдующей педагогической и литературной дѣятельности. Великое значеніе для меня и моихъ товарищей имѣли тогдашніе журналы. Особенно тѣ изъ нихъ, которые соединяли въ себѣ почти всѣ лучшія литературныя силы. Представляя, съ одной стороны, богатѣйшій матеріалъ для чтенія критическій и общественно-политическій, не говоря уже о талантливейшей беллетристикѣ (Тургеневъ, Некрасовъ, М. И. Михайловъ, Плещеевъ и др.), съ другой—они привлекали горячимъ отношеніемъ къ общественнымъ вопросамъ, беспощаднымъ сатирическимъ бичеваніемъ всего того, что противорѣчило идеѣ прогресса и старалось набросить тѣнь на благія реформы новаго царствованія... Тогда нерѣдко являлись въ журналахъ критическія и научныя статьи, читавшіяся нарасхватъ. Достаточно указать, напр., на критическія статьи Добролюбова, вышедшія затѣмъ въ четырехъ томахъ, на капитальныя статьи, въ родѣ Лессинга, очерковъ Гоголевскаго періода русской литературы, о Пушкинѣ, о Гоголѣ, чтобы представить себѣ, какой интересъ возбуждала къ себѣ у насъ, молодежи, литература. Особенно же важное мѣсто въ исторіи моего развитія, какъ учителя словесности и писателя, имѣлъ Бѣлинскій, нѣкоторыя статьи котораго, но безъ подписи, читывалъ я еще въ гимназіи. Выходъ его сочиненій какъ разъ совпалъ со

временемъ пребыванія моего въ университетѣ, и за эти три-четыре года я прочелъ Бѣлинскаго съ величайшимъ увлеченіемъ, по тому за томомъ, — всего, что называется, отъ доски до доски, постоянно дѣлая выписки и перечитывая многое по нѣскольку разъ. На этихъ двѣнадцати томахъ я пережилъ послѣдовательно, вмѣстѣ съ великимъ критикомъ, всѣ три фазы его собственнаго развитія, начиная съ туманнаго шелленгизма и гегелизма, съ которыми я отчасти попутно познакомился изъ кнпгъ, отъ его романтизма съ прискорбными шатаніями мысли до жпваго реализма позднѣйшей трезвой критики. Вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ я бранилъ Менцеля, увлекался подъ его же вліяніемъ, даже елеяною исторіей древней литературы Шевырева, бредилъ народною литературою, которая въ то время съ увлеченіемъ собиралась и разрабатывалась, между прочимъ, Бу-слаевымъ, котораго *Очерки народной литературы и искусства* я также прочелъ; наконецъ, Бѣлинскій же въ своихъ послѣднихъ томахъ отрезвилъ меня, выведя на дорогу здоровой реальной критики, въ которой и утвердили меня потомъ статьи въ *Современникѣ*, и позднѣйшія сочиненія А. Н. Пыпина. Бѣлинскій составилъ для меня цѣлый основной капиталъ, такъ сказать, прочный фундаментъ всего моего литературнаго знанія и развитія. На Бѣлинскомъ я, юноша, пережилъ за три-четыре года, послѣдовательно, разные періоды умственнаго роста; онъ, великій русскій энциклопедистъ-популяризаторъ, далъ мнѣ цѣлую массу понятій эстетическихъ, философскихъ, общественныхъ, нравственныхъ, кото-

рия потомъ только болѣе опредѣлялись, оформливались и расширялись чтеніемъ. Своею горячею, ясною и образною рѣчью онъ былъ моею школою литературнаго стиля и формы. Изъ Бѣлинскаго же впервые узналъ я о существованіи множества писателей иностранныхъ, и многихъ изъ нихъ (Шекспиръ, Шиллеръ, Гете, Байронъ, Диккенсъ, Жоржъ Зандъ, Гюго, Гейне и мн. др.) въ университетѣ же перечиталъ именно потому, что на нихъ указала мнѣ его критика. Не говорю уже о томъ, какъ благотворно подѣйствовала на меня, вообще, честная личность этого писателя, никогда не отдѣляющаяся отъ его сочиненій. «Молясь», — вмѣстѣ съ Некрасовымъ, — многострадальной тѣни великаго моего учителя» (См. «Медвѣжья охота, Некрасова»), «научившаго меня гуманно мыслить», долженъ сказать, что, во всей послѣдующей моей литературной и педагогической дѣятельности, онъ сталъ для меня, вмѣстѣ съ Грановскимъ, идеаломъ честнаго человѣка — педагога въ самомъ лучшемъ и обширномъ значеніи этого слова, и думаю, что, избравъ себѣ примѣрами на жизненномъ пути именно этихъ двухъ людей, не ошибутся и тѣ юноши, которые теперь, сидя еще на университетской скамьѣ, помышляютъ о будущей карьерѣ учителя или писателя.

Но, помимо всѣхъ этихъ вліяній, которыя имѣлъ на меня Бѣлинскій, вліяніе его было еще на меня и специально педагогическое. Еще въ гимназіи, я прочиталъ знаменательнѣйшіе въ исторіи юной русской педагогіи «Вопросы жизни» Пирогова, поразившіе меня широкою постановкой вопроса объ обще-

человѣческомъ гуманномъ воспитаніи и, съ радостью встрѣтивъ подобныя же взгляды у Бѣлинскаго, я особенно внимательно останавливался на всѣхъ тѣхъ, довольно многочисленныхъ, мѣстахъ разныхъ его сочиненій, гдѣ говоритъ онъ такъ горячо и ярко о томъ же предметѣ по поводу того или другого разбираемаго характера въ художественномъ произведеніи, или въ разборахъ дѣтскихъ книгъ. На эту, собственно, *педагогическую*, сторону его сочиненій, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, обратилъ вниманіе и покойный профессоръ О. О. Миллеръ, и даже издалъ отдѣльныя книжки—«*Бѣлинскій какъ педагогъ*» и «*Бѣлинскій какъ моралистъ*».

Здѣсь позволю себѣ сказать нѣсколько словъ вообще относительно того, какъ смотрю я, уже наклонѣ своей педагогической дѣятельности, подвизаясь на ней болѣе 30 лѣтъ, на общую подготовку къ священной дѣятельности учителя именно у насъ въ Россіи. Разумѣется, необходима прежде всего учителю подготовка спеціально педагогическая, т.-е. основательнѣйшее знаніе избраннаго спеціальнаго научнаго предмета съ его методикой, а также и исторія педагогики общей и русской. Но, чтобы не съузиться умственно, не оспеціализироваться до педантизма, всякому, готовящемуся въ учителя какого-бы то ни было предмета, вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо и общее образованіе гуманно-философское въ смыслѣ собственно философіи (логика, психологія, и исторія философіи), общаго курса философской исторіи и нѣкоторыя знанія главнѣйшихъ наукъ о природѣ, безъ чего немыслима самая педагогія, столь связан-

ная съ знаніемъ физической стороны человѣка. Но всѣхъ этихъ знаній, кромѣ специальныхъ, въ мое время, да, пожалуй, и до сихъ поръ, университеты наши почти не даютъ. Исторія педагогики, за смертью профессора Фишера, при мнѣ не читалась вовсе, а теперь нигдѣ въ университетахъ и не читается; что же касается философіи, то при мнѣ ея тоже не было, а потомъ, и даже по сіе время, прививается она къ нашимъ университетамъ крайне плохо; знакомство съ природой пріобрѣтается только на одномъ факультетѣ естественныхъ наукъ, а для математиковъ и филологовъ эти знанія необязательны, равно какъ и исторія обязательна только для филолога. Такимъ образомъ, специально педагогической, тѣмъ болѣе, философской подготовки для русскаго человѣка, готовящагося въ университетѣ въ учителя, не существуетъ вовсе, и ему приходится, какъ и мнѣ нѣкогда, дополнять ее самому, оцупью, безъ руководства, по книжкамъ,—такъ что въ большинствѣ, на сколько приходилось мнѣ наблюдать, наши учителя—часто узкіе специалисты, въ лучшемъ случаѣ, умѣющіе по сметкѣ и навыку обучить своему предмету, нисколько не вліяя на юношей сколько нибудь воспитательно и вовсе не способствуя развитію любознательности и умственной самостоятельности. Въ нашемъ русскомъ учителѣ, а также и въ профессорѣ, рѣдко встрѣтишь живаго человѣка, вносящаго въ школу, а слѣдовательно и въ жизнь, свѣтъ и тепло. Въ рѣдкихъ изъ нихъ, даже молодыхъ, едва сошедшихъ съ университетской скамьи, встрѣтишь любовь къ своему предмету и вѣру въ его нрав-

ственное гуманизирующее значеніе: холодомъ какимъ-то, педантизмомъ, официальной программой да однимъ стремленіемъ пройти къ экзамену назначенный курсъ вѣдетъ зачастую на юношей даже отъ этихъ молодыхъ педагоговъ, которые сами едва только вышли изъ юношей. Недаромъ русскій учитель какого угодно предмета, въ значительномъ большинствѣ, существо какое-то крайне обособленное, педантичное, нерѣдко совсѣмъ неразвитое философски, общественно и политически, мало образованное, внѣ своей специальности, до чрезвычайности скучное, умѣющее только отбывать свои уроки, а въ обществѣ, за отсутствіемъ всякихъ общихъ интересовъ, убивать вечеръ за неизбѣжнымъ винтомъ. Исключенія, конечно, попадаются, но они рѣдки даже въ столицахъ. А между тѣмъ нигдѣ въ мірѣ не имѣетъ такого великаго значенія учитель, какъ у насъ въ Россіи, гдѣ на сто-милліонную массу населенія приходится около 70 милліоновъ безграмотныхъ дикарей, да и изъ гимназій-то, а нерѣдко и изъ университетовъ, выходитъ такъ мало людей, сколько нибудь образованныхъ, просвѣщенныхъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова и въ смыслѣ истиннаго патріотизма. А эти-то познанія именно и нужно прежде всего и больше всего проводить въ наше сонное, апатичное, узко-матеріальное общество. Въ огромномъ большинствѣ еще и до сихъ поръ оно живетъ полуживотною жизнью гоголевскихъ пріобрѣтателей, лежебоковъ и всякаго рода чудаковъ и проходимцевъ. Много, очень много могъ бы и долженъ былъ бы сдѣлать въ этомъ смыслѣ русскій учитель, особенно молодой, полный силъ и

энергіи, еслибы только онъ прозрѣлъ въ себѣ свое великое назначеніе. Но здѣсь я позволю себѣ привести цѣликомъ одно мѣсто изъ статей «*Очерки гоюлевскаго періода русской литературы*», которыя я читалъ еще, кажется, на первомъ курсѣ, въ «Современникѣ» 1856 г. Живо помню, какъ сильно поразило меня оно, врѣзавшись въ память на всю жизнь, необыкновенно яркимъ объясненіемъ именно того гуманнаго патріотизма, о которомъ я сейчасъ говорилъ, и который, по мнѣнію автора статьи, обязательнъ у насъ для всякаго дѣятеля въ умственной и нравственной сферѣ, а слѣдовательно и для учителя. Вотъ это знаменательное мѣсто.

«Всѣ высокія слова, какъ любовь, добродѣтель, слава, истина, слово патріотизмъ иногда употребляется во зло непонимающими его людьми для обозначенія вещей, не имѣющихъ ничего общаго съ истиннымъ патріотизмомъ, потому, употребляя священное слово «патріотизмъ», часто бываетъ необходимо опредѣлять, что именно мы хотимъ разумѣть подъ нимъ. Для насъ идеалъ патріота—Петръ Великій; высочайшій патріотизмъ—страстное, безпредѣльное желаніе блага родинѣ, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю дѣятельность этого великаго человека. Понимая патріотизмъ въ этомъ единственномъ истинномъ смыслѣ, мы замѣчаемъ, что судьба Россіи въ отношеніи къ душевнымъ чувствамъ, руководившимъ дѣятельностью людей, которыми наша родина можетъ гордиться, доселѣ отличалась отъ того, что представляетъ исторія многихъ другихъ странъ. Многіе изъ великихъ людей Германіи, Франціи, Ан-

гли заслуживаютъ свою славу, стремясь къ цѣлямъ, не имѣющимъ прямой связи съ благомъ ихъ родины; напримѣръ (чтобы ограничиться сферою дѣятельности, доступной частнымъ людямъ), многіе изъ величайшихъ ученыхъ, поэтовъ, художниковъ, имѣли въ виду служеніе чистой наукѣ или чистому искусству, а не какимъ-нибудь исключительнымъ потребностямъ своей родины. Бэконъ, Декартъ, Галилей, Лейбницъ, Ньютонъ, Гумбольдтъ и Либихъ, Кювье и Фараде трудились, думая о пользахъ науки вообще, а не о томъ, что именно въ данное время нужно для блага извѣстной страны, бывшей ихъ родиною. Мы не знаемъ и не спрашиваемъ себя, любили-ли они родину: такъ далека ихъ слава отъ связи съ патріотическими заслугами. Они, какъ дѣятели умственнаго міра, космополиты. То-же надобно сказать о многихъ великихъ поэтахъ западной Европы. Укажемъ, какъ примѣръ, на величайшаго изъ нихъ—Шекспира. Неизмѣримо велики его заслуги для развитія чистаго искусства; по своему художественному совершенству и психологическому глубокомыслію, его произведенія имѣли огромное и благотѣльное дѣйствіе на судьбу искусства, и черезъ то, косвеннымъ образомъ, вообще на развитіе человѣчества,—и въ Англіи, конечно, какъ и въ Германіи, Франціи, Россіи. Но что хотѣлъ онъ сдѣлать специально для современной ему Англіи? Въ какомъ отношеніи былъ онъ къ вопросамъ ея тогдашней исторической жизни? Онъ, какъ поэтъ, не думалъ объ этомъ: онъ служилъ искусству, а не родинѣ; не патріотическія стремленія, а только художественно-психологическіе вопросы были дви-

нуты впередъ Макбетомъ и Лиромъ, Гамлетомъ и Отелло. Изъ другихъ великихъ поэтовъ о многихъ надобно сказать тоже самое. Назовемъ Аріосто, Корнеля, Гете. О художественныхъ заслугахъ передъ искусствомъ, а не особенныхъ, преимущественныхъ стремленій дѣйствовать во благо родины, напоминаютъ ихъ имена. У насъ не то: историческое значеніе каждаго русскаго великаго человѣка измѣняется его заслугами родинѣ, его человѣческое достоинство—силою его патріотизма. Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Пушкинъ справедливо считаются великими писателями,—но почему? «Потому что оказали великія услуги просвѣщенію или эстетическому воспитанію своего народа». Ломоносовъ страстно любилъ науку, но думалъ и заботился исключительно о томъ, что нужно было для блага его родины. Онъ хотѣлъ служить не чистой наукѣ, а только отечеству. Державинъ даже считалъ себя имѣющимъ право на уваженіе не столько за поэтическую дѣятельность, сколько за благія свои стремленія въ государственной службѣ. Да и въ своей поэзіи что цѣнилъ онъ? Служеніе на пользу общую. То же думалъ и Пушкинъ. Любопытно въ этомъ отношеніи сравнить, какъ они видоизмѣняютъ существенную мысль гораціевой оды «Памятникъ», выставя свои права на безсмертіе. Горацій говоритъ: «я считаю себя достойнымъ славы за то, что хорошо писалъ стихи»; Державинъ замѣняетъ это другимъ: «я считаю себя достойнымъ славы за то, что говорилъ правду и народу, и царямъ»; Пушкинъ—«за то, что я благодѣтельно дѣйствовалъ на общество, и защищалъ страдальцевъ».

Но ни въ комъ изъ нашихъ великихъ писателей не выражалось такъ живо и ясно сознаніе своего патріотическаго значенія, какъ въ Гоголѣ. Онъ прямо себя считалъ человѣкомъ, призваннымъ служить не искусству, а отечеству, онъ думалъ о себѣ: «Я не поэтъ, я гражданинъ».

«Невозможно, чтобы наши великіе поэты ошибались въ этой мысли о своемъ призваніи и дѣятельности, которая руководила всѣми ими. Невозможно, чтобы все отечество ошибалось, въ теченіи слишкомъ ста лѣтъ, о каждомъ изъ своихъ замѣчательныхъ писателей, ученыхъ и поэтовъ, одинаково говоря: «онъ великъ потому, что дѣятельность его была направлена къ общей пользѣ». Дѣйствительно, до сихъ поръ для русскаго человѣка единственная возможная заслуга передъ высокими идеями правды, искусства, науки—содѣйствіе распространенію ихъ въ его родинѣ. Современемъ будутъ и у насъ, какъ у другихъ народовъ, мыслители и художники, дѣйствующіе чисто только въ интересахъ науки или искусства; но, пока мы не станемъ по своему образованію наравнѣ съ наиболѣе успѣвшими націями, есть у каждого изъ насъ другое дѣло, болѣе близкое къ сердцу—содѣйствіе по мѣрѣ силъ дальнѣйшему развитію того, что начато Петромъ Великимъ. Это дѣло до сихъ поръ требуетъ и, вѣроятно, еще долго будетъ требовать всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, какими обладаютъ наиболѣе одаренные сыны нашей родины. *Русскій, у кого есть здоровый умъ и живое сердце, до поръ сихъ не могъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ патриотомъ, въ смыслѣ*

Петра Великаго, — дѣятелемъ въ великой задачѣ просвѣщенія русской земли. Всѣ остальные интересы его дѣятельности — служеніе чистой наукѣ, если онъ ученый, чистому искусству, если онъ художникъ, даже идеѣ общечеловѣческой правды, если онъ юристъ, — подчиняются у русскаго ученаго, художникъ, юриста великой идеѣ служенія на пользу своего отечества».

Вотъ эта-то просвѣтительная патріотическая у насъ въ Россіи роль всякаго умственнаго дѣятеля и показалась мнѣ, ювошѣ, особенно привлекательною въ формѣ профессора или учителя именно словесности, литературы, всегда мною особенно любимыхъ. Профессоромъ, частію по многимъ обстоятельствамъ личной жизни, а больше, полагаю, по неспособности къ упорному кабинетному труду, я не сдѣлался, учителемъ же остался на всю жизнь, — и нисколько въ томъ не раскаиваясь.

Вспоминая о профессорахъ, кружкѣ, товариществѣ, журналистикѣ, вообще чтеніи, на меня вліявшихъ, не могу не упомянуть и о театрѣ, который страстно любилъ я съ дѣтства. Эта страсть явилась во мнѣ подъ вліяніемъ ранняго посѣщенія театра, куда довольно часто вживалъ меня отецъ, самъ большой театралъ и хорошій декламаторъ. Еще ребенкомъ слышалъ я отъ негс рассказы о прежнихъ актерахъ, о театральныхъ писателяхъ, а также декламации отрывковъ изъ Озерова, Хмѣльницкаго, Грибоѣдова и др.

Издавался въ сороковыхъ и началъ пятидесятихъ годовъ довольно порядочный театральный журналъ

Репертуаръ и пантеонъ, съ оригинальными и переводными пьесами лучшихъ авторовъ, а также со множествомъ хорошихъ статей о театрѣ. Отецъ купилъ его постепенно за всѣ года, и чтеніе этихъ излюбленныхъ мною книжекъ увлекало меня въ дѣтствѣ лѣтъ съ девяти. Нерѣдко читывалъ я отрывки изъ любимыхъ пьесъ своей старушкѣ нянѣ, или отцу, и, вмѣсто всякихъ игръ, чуть не по цѣлымъ днямъ занимался разыгрываніемъ сценъ, декламаціей монологовъ, устраивалъ импровизированный театръ изъ стульевъ, облакаясь въ игрушечный шлемъ и вооруженіе, или, драпируясь въ нянинъ платокъ, воображалъ себя въ роли какого-нибудь Ернани, Трибуле, Гамлета, или маркиза Позы. Къ этимъ милымъ книгамъ обращался я и потомъ, по смерти моего отца, и за гимназическій періодъ моей жизни перечиталъ въ разное время ихъ всѣ, такъ что, еще до университета, зналъ цѣлую массу пьесъ и ознакомился съ біографіями многихъ иностранныхъ и отечественныхъ драматурговъ и актеровъ. Въ драматическій театръ, и гимназистомъ, и студентомъ, ходилъ я, впрочемъ, рѣдко, потому что было не на что, но тѣмъ сильнѣе запечатлѣвались во мнѣ тѣ немногіе спектакли, которые я видѣлъ.

Никогда не забуду благородной, нѣсколько приподнятой, игры трагика В. А. Каратыгина и Брянскаго, видѣнныхъ мною много разъ въ дѣтствѣ. Въ университетскій же періодъ особенно поражала меня игра незабвенныхъ Мартынова и Линской, В. В. Самойлова, П. В. Васильева и Снѣтковой 3-й.

Эти великіе таланты, вмѣстѣ съ Садовскимъ, ко-

тораго я видѣлъ въ Петербургѣ всего разъ, въ одинъ изъ его прїѣздовъ, несомнѣнно повліяли на развитіе извѣстнаго вкуса, а нѣкоторыя хорошія критическія статьи изъ «Репертуара и Пантеона», вмѣстѣ съ театральными статьями Бѣлинскаго, способствовали во мнѣ, будущемъ учителѣ, развитію здоровой драматической критики. Но особенное, болѣе частое, наслажденіе доставляло мнѣ, за все университетское время, по зимамъ, періодическое посѣщеніе, черезъ недѣлю, итальянской оперы, да еще такъ, что возсѣдалъ я, «мыслящій пролетарій», въ скверномъ форменномъ сюртучишкѣ, въ прекраснѣйшемъ номерѣ ложи 3-го яруса. Для объясненія долженъ сказать, что ложа абонировывалась въ складчину такимъ количествомъ лицъ, что даже, не смотря на очередь абонентовъ посѣщать спектакли каждому черезъ разъ, все-таки ложа была набита биткомъ, — такъ что каждому приходилось уплатить всего рублей около десяти за весь сезонъ.

Абонементъ этотъ какъ-то устроили для себя, меня и моей двоюродной, тогда еще молоденькой, сестры, два мои двоюродные брата, офицеры, кончившіе курсъ въ корпусѣ почти одновременно со мною и очень со мной дружные.

Они также похаживали въ университетъ слушать нѣкоторыхъ профессоровъ и появлялись иногда въ нашемъ кружкѣ. Они-то, кажется, спасибо имъ, и внесли за меня деньги въ годъ моего полнаго безденежья, а потомъ платилъ я уже за себя и самъ. Господи, что была это за чудная опера! До сихъ поръ еще, больше чѣмъ черезъ тридцать лѣтъ, раздаются

въ ухахъ моихъ дивные звуки этихъ вдохновенныхъ мастеровъ патетическаго итальянскаго пѣнія. До сихъ поръ еще не могу вспомнить безъ трогательнаго чувства этого Арнольда Мельхтала (Карлъ Смѣлый)—Тамберлика, этого Альмавиву—Кальцолари, эту Травіату и Сомнамбулу—Бозио, эту Норму—Лагруа, этого Бартоло, или Ленорелло—Лабаша.

Всякая нужда, всякое горе забывались при этихъ звукахъ, и до сихъ поръ помню, какъ, съ братьями и сестрой, пѣшкомъ хаживали мы въ Большой театръ съ Петербургской стороны черезъ Неву, и такимъ же порядкомъ ночью возвращались назадъ, захвативъ, коли были деньги, на обратномъ пути, въ колбасной, горячихъ колбасъ и пеклеваниковъ на ужинъ. И Боже мой, какъ кратокъ казался намъ длинный путь за спорами о пѣвцахъ и напѣваньемъ на морозѣ ухваченныхъ на память мотивовъ; какъ вкусны были, по возвращеніи домой, къ дядѣ, эти колбасы, поѣдаемыя нами четырьмя, въ безмолвной ночной тишинѣ крѣпко спавшаго дома, въ маленькой комнатѣ братьевъ, при нашей болтовнѣ шепотомъ, чтобы не разбудить старшихъ...

Проходя памятью по лицамъ и явленіямъ, болѣе или менѣе благотворно вліявшимъ на мою юность, не могу пройти молчаніемъ прекрасной личности дяди,—родного брата моего отца. Этотъ, какъ онъ самъ себя называлъ, «одинъ изъ послѣднихъ, оставшихся въ живыхъ человѣковъ прошлаго вѣка», родившійся въ одинъ годъ съ Пушкинымъ, въ 1799 году, и умершій въ полномъ обладаніи своимъ недюжин-

нымъ умомъ и свѣжестью чувства, 82-лѣтнимъ старикомъ, былъ личность замѣчательная. Не получивъ законченнаго высшаго образованія, хотя, кажется, и состоялъ года два вольнослушателемъ Петербургской медицинской академіи, онъ всю долгую жизнь свою прослужилъ чиновникомъ, сначала въ министерствѣ финансовъ, а потомъ, болѣе 25-ти лѣтъ, въ комитетѣ о раненыхъ. Въ концѣ шестидесятихъ годовъ вышелъ онъ въ отставку съ небольшою пенсіей, на которую и жилъ весьма скромно, съ семействомъ до самой смерти. Но чиновничество не опощило и не измѣлило его даровитой натуры, не смотря на то, что, при большой семьѣ, приходилось ему, на старости лѣтъ, едва-едва сводить копѣйку съ копѣйкой.

Еще въ юности отличался онъ любовью къ родной литературѣ.

Живой свидѣтель всего ея роста, начиная съ Жуковскаго и Батюшкова, и кончая Тургеневымъ, онъ всю жизнь, до самой своей смерти, зорко слѣдитъ за ея ходомъ, покупая книги всѣхъ лучшихъ нашихъ авторовъ, до Салтыкова включительно. Интересовался онъ и русской журналистикой, и, идя за вѣкомъ, послѣдовательно читалъ и «Телеграфъ», и «Телескопъ», и «Библиотеку для чтенія» Сенковского, и «Отечественныя Записки» Краевскаго, и «Современникъ» Некрасова, и «Искру» Курочкина, а въ послѣдніе годы жизни прочитывалъ новые народившіеся журналы, и обо всемъ прочитанномъ имѣлъ свое собственное мнѣніе, всегда, болѣе или менѣе, вѣрное, остроумное, иногда очень оригинальное и

мѣткое. Это былъ человѣкъ рѣдкаго литературнаго вкуса и просвѣщеннаго взгляда на вещи, шедшій въ уровень съ передовыми идеями смѣнявшихся на его глазахъ эпохъ. Никогда не напечатавъ, кажется, ни единой строки, онъ любилъ литературу въ ея лучшихъ представителяхъ, такъ сказать, платонически. Онъ видывалъ и Крылова, и Жуковского, и Пушкина, зналъ и о нихъ, какъ и о многихъ другихъ писателяхъ, старыхъ и новыхъ, множество разсказовъ, которые мастерски и съ охотой передавалъ. До глубокой старости помнилъ онъ наизусть и охотно декламировалъ басни Крылова и, чуть-ли не цѣликомъ, «Горе отъ ума» и «Евгенія Онегина»,— свои любимыя произведенія. Это была цѣлая энциклопедія русской литературы нашего столѣтія, которая для этого почтеннаго человѣка была единственнымъ прибѣжищемъ, уютнымъ уголкомъ, куда уходилъ онъ въ свободное время отъ служебныхъ и семейныхъ невзгодъ и непріятностей, — тѣмъ теплымъ уголкомъ, гдѣ чудесно сохранился живой человѣкъ, до глубокой старости умѣвшій любить молодежь, понимать ея добрыя стремленія и снисходить къ ея слабостямъ и увлеченіямъ. Всегда привѣтливый, со свѣтлой, добродушной, улыбкой, съ безобидной шуткой, а подчасъ и ѣдкимъ юморомъ, съ многолѣтнимъ опытомъ жизни и знаніемъ людей, онъ былъ интереснѣйшимъ собесѣдникомъ, неистощимымъ въ разсказахъ о прошломъ, добрымъ и мудрымъ совѣтникомъ въ самыхъ разнообразныхъ, интимныхъ, дѣлахъ, которыя откровенно повѣряли ему и старики, и молодежь.

Съ двѣнадцати лѣтъ, по смерти отца, я находился подѣ его попеченіемъ, ходилъ къ нему часто въ отпускъ по праздникамъ, читалъ книги изъ его библіотеки, слушалъ рассказы о прошломъ и его изящную, простую, задумчивую декламацию; у него же я и ночевывалъ зачастую, особенно въ годъ студенческаго моего бездомовья, проводя много счастливыхъ часовъ въ обществѣ его самого и его дѣтей, моихъ двоюродныхъ братьевъ—офицеровъ и институтки—сестры.

Онъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе на мое литературное развитіе. Ему съ дѣтскихъ лѣтъ повѣрялъ я свои литературныя опыты и мечты объ учительствѣ и писательствѣ; онъ участливо выслушивалъ ихъ, поощряя мои наклонности, въ послѣдствіи такъ сердечно радуясь всякому моему успѣху и поддерживая меня своимъ отеческимъ участіемъ въ горькія минуты послѣдующей моей жизни. Въ его небогатую квартиру на Петербургской сторонѣ собиралось иногда по нѣскольکو человѣкъ и изъ нашего кружка, и многое изъ того, что говорилось тамъ, въ кружкѣ, обсуживалось и здѣсь, вмѣстѣ съ радушнымъ хозяиномъ, любившимъ не только меня, но и привязавшимся, какъ къ роднымъ, къ моимъ университетскимъ товарищамъ. Домъ моего покойнаго дяди былъ для меня, за все мое студенческое время, едва-ли не единственнымъ хорошимъ семейнымъ домомъ, гдѣ находилъ я ласку и теплый, родственныи, привѣтъ.

Такимъ-то образомъ, мало-по-малу, подѣ вліяніемъ и лекцій, и театра, и кружка, и товарищества, гдѣ

тоже всѣ одобряли мое рѣшеніе, сдѣлаться учителемъ, и, наконецъ, дяди, складывалось во мнѣ твердое рѣшеніе, выйдя изъ университета, сдѣлаться преподавателемъ именно русскаго языка и словесности.

Частные-же уроки по этимъ предметамъ, которые сталъ я получать уже со второго курса, и которые давалъ, на первыхъ порахъ, руководствуясь оставшимися отъ гимназіи конспектами В. Я. Стоюнина, да импровизированными бесѣдами А. В. Никитенко, были первою моею преподавательскою практикою.

Но во второй годъ моего студенчества произошло событіе, которое имѣло для меня, да и нѣсколькихъ другихъ лицъ кружка, наиболѣе важное значеніе, какъ для будущихъ учителей. Это событіе было основаніе нашимъ кружкомъ Василеостровской бесплатной школы. Но исторія эта требуетъ разсказа болѣе подробнаго.

IV.

Василеостровская школа.—Неудовлетворенность нашего кружка «разговорной дѣятельностью».—Критикъ и скептикъ кружка Н. Н. Страннолюбскій. — Таврическая школа.—Возникновеніе мысли объ учрежденіи своей школы. — Участіе К. Д. Кавелина въ осуществленіи этой мысли.—Подготовительныя собранія передъ учрежденіемъ школы. — В. И. Струбинскій и Н. М. Пальминъ.—Открытіе школы и неопредѣленный ея характеръ.

Говоря о развивающемъ вліяніи нашего кружка, вообще, въ смыслѣ расширенія умственнаго кругозора, возбужденія въ насъ, молодежи, новыхъ интересовъ и настроеній, не могу не сказать, что чего нибудь опредѣленнаго, чего нибудь такого, что могло бы тѣснѣе связать насъ въ какой-нибудь общей дѣлѣ, совмѣстнымъ душевнымъ трудомъ, кружокъ не давалъ.

Въ этотъ первый годъ студенчества (1858—1859) мы много говорили, спорили, благородно волновались, жадно проглатывали текущую литературу и книги въ пополненіе нашего образованія; но уже къ концу года, въ нѣкоторыхъ изъ насъ, стала появляться неудовлетворенность одной разговорной дѣятельностью кружка, а, по временамъ, и скептическое отношеніе другъ къ другу,—причемъ, конечно, съ свойственной юности рѣзкостью, не обходилось и безъ без-

пощаднаго самоанализа и самобичеванія. Этимъ направленіемъ отличалось особенно два, очень умныхъ отъ природы остроумнѣйшихъ, члена нашего кружка. Одинъ былъ студентъ-юристъ, высокаго роста, обладавшій большою физической силой, добродушный финляндецъ, чудесный товарищъ, Н. К. В—ръ, въ шутку прозванный у насъ почему-то не «слономъ», а «слоной»; а когда его острый языкъ уже черезъ-чуръ задѣвалъ за живое своей правдой наиболѣе наивныхъ членовъ, то послѣдніе огрызались болѣе язвительною, по ихъ мнѣнію, кличкой «малороссійскаго философа Сквороды». Этотъ разносторонній и способный человѣкъ, ухитрившійся, не смотря на самое дѣятельное участіе во всѣхъ веселыхъ студенческихъ времяпровожденіяхъ, читать, кажется, больше всѣхъ насъ вмѣстѣ взятыхъ, пользовался между нами не только общей любовью, но и нѣкоторымъ авторитетомъ. Многіе изъ насъ, въ томъ числѣ особенно я, въ значительной степени обязаны ему, въ это время, нѣкоторымъ обращеніемъ къ самоанализу, критикѣ своихъ собственныхъ поступковъ, словомъ—оглядкой на себя и окружающее, здравымъ взглядомъ трезваго разума, о которомъ часто забывалось подъ вліяніемъ юношескихъ порывовъ и романтическихъ увлеченій. Онъ, этотъ милый товарищъ, и потому, впослѣдствіи, нерѣдко принималъ близкое и безкорыстное участіе въ судьбѣ товарищей, и, очень мало сдѣлавъ въ жизни для своего собственнаго счастья, много сдѣлалъ добраго для другихъ въ смыслѣ совѣта, нравственной и матеріальной поддержки въ критическія минуты. Я распространился о немъ потому, что

В — рѣ имѣлъ сильное и доброе на меня и на всѣхъ насъ вліяніе въ этотъ періодъ нашего развитія, а въ Василеостровской школѣ, о которой поведу рѣчь, принималъ одно время дѣятельнѣйшее участіе.

Другой былъ, умершій 26-ти лѣтъ, кажется, въ 1866 г., мичманъ Николай Николаевичъ Страннолюбскій, который, какъ увидимъ ниже, по всей справедливости, долженъ быть признанъ инициаторомъ Василеостровской школы. Худенькій, невысокаго роста, слабосильный, съ жидкими усами и баками, съ подвижной фізіономіей, выразительными живыми глазами и иронической улыбкой, онъ представлялъ полный контрастъ съ В—ромъ. Какъ послѣдній былъ человѣкомъ анализа надъ собой и другими, болѣе разсудочнымъ, болѣе, такъ сказать, дѣловитымъ практикомъ, такъ этотъ, напротивъ, былъ настоящая художественная натура съ несомнѣнными задатками поэтическаго дарованія, но преимуществу, сатирическаго характера. Это дарованіе обнаружилось у него въ цѣломъ рядѣ экспромтовъ, стихотвореній переводныхъ, напр., изъ Гейне, и оригинальныхъ, незадолго до его смерти начавшихъ появляться въ извѣстномъ сатирическомъ журналѣ — «Искрѣ», гдѣ обратилъ на нихъ вниманіе покойный В. С. Курочкинъ. Мастерской рассказчикъ, обладавшій замѣчательнымъ юморомъ и способностью игры голосомъ и фізіономіей, Н. Н. С—кій часто импровизировалъ цѣлыя, якобы съ нимъ самимъ случившіяся, исторіи, которыми ему удавалось иногда курьезно мистифицировать слушателей, и былъ нашимъ кружковымъ

поэтомъ и запѣвалой и оживителемъ всѣхъ нашихъ дружескихъ сходбищъ внѣ собраній у М—скаго.

Бывалъ Н. Н. С—кій въ самыхъ разнообразныхъ обществахъ и средняго, и низшаго круга, и всюду, набираясь впечатлѣній и подмѣчая особенности людей и обстановки, пропадалъ иногда, неизвѣстно гдѣ, по нѣсколькимъ днямъ, возвращаясь съ кучей наблюденій и новостей. И если мы всѣ были, большею частью, въ это время людьми, такъ сказать, обособленными, *кружковыми*, то онъ, по преимуществу, былъ человѣкъ *общественный*.

А между тѣмъ, какъ нашъ кружокъ, съ сентября 1859 г. начавшій собираться еще и по вторникамъ у одного изъ нашихъ членовъ, товарища моего по 3-й гимназій, В. М. Сор—на, велъ замкнутую кружковую жизнь, — въ Петербургскомъ обществѣ проявилось, неслыханное дотолѣ, педагогическое оживленіе. Знаменитыя статьи Пирогова въ «Морскомъ Сборникѣ» 1856 г. *Вопросы жизни* и *Школа и жизнь*, появленіе педагогическихъ журналовъ, множество школьныхъ воспоминаній въ печати, вмѣстѣ съ ожидавшимся освобожденіемъ крестьянъ, при сознаніи нашей образовательной и воспитательной несостоятельности и невѣжествѣ въ народной массѣ, — все это вмѣстѣ естественно обратило общество къ вопросамъ педагогическимъ. Сначала обсуждались они всюду только въ разговорахъ и печати, а потомъ вскорѣ перешли и къ опытамъ практическаго разрѣшенія, въ формѣ учрежденія на новыхъ началахъ и самыхъ школъ, ежедневныхъ и воскресныхъ. Естественно также, что, при тогдашнемъ общемъ подъемѣ

духа, въ молодежи, всегда чутко отзывающейся на все новое, манящее къ себѣ идейностью содержанія и перспективой будущаго, это общественное движеніе должно было встрѣтить особенное сочувствіе. И вотъ, уже въ 1859 г. основывается въ Петербургѣ, около Таврическаго сада, частное бесплатное Таврическое училище. Оно основывается юнымъ инженернымъ офицеромъ, барономъ Михаиломъ Осиповичемъ Косинскимъ, горячимъ энтузіастомъ, вмѣстѣ съ учителемъ, преподававшимъ въ Смольномъ институтѣ, покойнымъ редакторомъ «Русской Старины», М. И. Семеvскимъ, извѣстнымъ педагогомъ Д. Д. Семеновымъ, покойнымъ профессоромъ О. Ѳ. Миллеромъ и другими молодыми людьми изъ офицеровъ и студентовъ и нѣсколькими дамами и дѣвцами. Вотъ это *первое* у насъ въ Россіи ежедневное бесплатное начальное народное училище, основанное кружкомъ частныхъ лицъ, добровольно и безкорыстно пожелавшихъ послужить русскому просвѣщенію, и положило, кажется, начало такъ скоро остановленному у насъ развитію *частныхъ* ежедневныхъ и воскресныхъ школъ, именно въ то время, когда мы такъ настоятельно нуждались въ скорѣйшемъ распространеніи начальнаго образованія. Насколько-же труды этихъ молодыхъ людей, піонеровъ нашего новаго народнаго просвѣщенія, были на первыхъ-же порахъ благотворны и искусны, видно изъ того, что уже вскорѣ по открытіи Таврической школы, быстро показавшей замѣчательные успѣхи въ первоначальномъ обученіи, нѣсколько лицъ изъ ея основателей, напр., самъ Косинскій, М. И. Семеvскій, Д. Д. Се-

меновъ и нѣкоторые другіе получили приглашеніе занять уроки въ Смольномъ институтѣ отъ ея знаменитаго въ юной исторіи русской педагогики инспектора института К. Д. Ушинскаго *).

Вотъ эта-то Таврическая школа и послужила, такъ сказать, ближайшимъ толчкомъ для нашего кружка, чтобъ перейти отъ разговоровъ къ живому дѣлу.

Въ одинъ изъ сентябрьскихъ вторниковъ 1859 г. собрался нашъ обычный кружокъ въ квартирѣ В. М. Сор—на на Васильевскомъ о—ву, въ 8 линіи. Было насъ въ этотъ вечеръ человѣкъ пятнадцать, въ числѣ ихъ П. В. М—скій, и А. Н. Стр—скій,—не было только Н. Н. Страннолюбскаго. Помнится, не смотря на то, что еще такъ недавно сошлись мы всѣ вмѣстѣ послѣ продолжительныхъ каникулъ, общая беседа какъ-то не клеилась. Разбившись по парамъ, мы пили чай, занятые частными разговорами. Вдругъ, уже довольно поздно, раздался звонокъ. Это былъ нашъ опоздавшій поэтъ-мичманъ. Радостно приветствовало его все общество, ожидая шутокъ и разсказовъ; но желанный гость былъ не то не въ духѣ, не то чѣмъ-то озабоченъ... Усѣвшись въ уголь, онъ едва выронилъ нѣсколько словъ, чтобъ отвязаться отъ разспросовъ, и упорно молчалъ, время отъ времени какъ-то таинственно и саркастически улыбаясь. Но вотъ разговоръ коснулся вопроса о томъ, какъ-

*) Объ Ушинскомъ и этомъ времени смотри мою книгу *Русскіе педагогическіе дѣятели*. М. 1886 г., изд. магазина Е. Н. Тихомировой, «Начальная Школа», также «Жизнь знаменитыхъ людей»—изд. Павленкова—Ушинскій. Песковского.

бы попроизводительнѣе и серьезнѣе устроить намъ на этотъ годъ наши собранія,—и, какъ водится, завязался споръ. Н. Н. продолжалъ по прежнему молчать и улыбаться. Вдругъ, въ самомъ разгарѣ бесѣды, сдѣлавшейся общей, когда кто-то изъ насъ предложилъ какой-то новый проектъ самообразованія, Н. Н. быстро всталъ и, подойдя къ столу, у котораго большая часть насъ размѣстилась, громко сказалъ, помнится, приблизительно слѣдующее: «Господа! все это вздоръ, фразы, говорильня! мы только теряемъ время въ разговорахъ, и ничего не дѣлаемъ, а другіе, такіе-же молодые люди, какъ и мы, трудятся на общую пользу, такіе-же бѣдняки отдаютъ послѣдній грошъ, чтобы по мѣрѣ силъ служить народу и обществу... Послушайте-ка, гдѣ я былъ и что видѣлъ»... И полилась изъ устъ этого юноши вдохновенная рѣчь, сразу увлекшая насъ всѣхъ, превратившихся въ слухъ и не прерывавшихъ его ни разу цѣлый добрый часъ, который говорилъ онъ не останавливаясь. Онъ былъ остроуменъ, мѣтокъ въ рѣчи, занимателенъ и интересенъ всегда, но мы никогда не видали его еще въ такомъ возбужденномъ,—такомъ, такъ сказать, торжественно-серьезномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ горько обличительномъ, настроеніи по отношенію къ намъ. Глаза его горѣли, голосъ нервно дрожалъ, оживленная жестикуляція сопровождала необычную рѣчь... Мы всѣ сидѣли, впившись глазами въ оратора, въ которомъ привыкли до сихъ поръ видѣть только рассказчика-артиста, застольнаго поэта, остряка... О чемъ-же говорилъ Н. Н.? Намъ, погруженнымъ въ дебаты, книги и

безплодное самобичеваніе, и, за всѣмъ этимъ мало вѣдавшимъ о томъ, что дѣлалось въ обществѣ, разсказалъ онъ, какъ, случайно приведенный своимъ родственникомъ, молодымъ офицеромъ, въ Таврическую школу, гдѣ этотъ офицеръ также что-то преподавалъ, онъ, Страннолюбскій, былъ до глубины души пораженъ всѣмъ, что онъ, недавній еще воспитанникъ суроваго морскаго корпуса, здѣсь увидалъ... Онъ видѣлъ десятки дѣтей бѣдныхъ и плохо одѣтыхъ, но веселыхъ и довольныхъ, одинъ передъ другимъ старавшихся скорѣе усвоить себѣ школьную науку, которая здѣсь преподавалась такъ живо, интересно, съ такимъ вниманіемъ и доброю снисходительностью и участіемъ къ маленькому народу, что вовсе не казалась сухой, а, напротивъ, увлекательной, видимо доставлявшей школьникамъ удовольствіе... Онъ видѣлъ юныхъ учителей, офицеровъ, студентовъ, учительницъ-дѣвушекъ изъ свѣтскаго общества, полагавшихъ всю душу свою на то, чтобы какъ можно лучше обучить и вмѣстѣ очеловѣчить добромъ и лаской этотъ маленькій народъ, собранный изъ трущобъ, голодныхъ и грубыхъ; видѣлъ, съ какимъ участіемъ относятся къ дѣтямъ эти неопытные, но одушевленные идеей народнаго и общественнаго блага, самозванные педагоги, идущіе на помощь дѣтворѣ не только наукой, но и матеріальной поддержкой, ввидѣ даровой одежды, пищи, учебныхъ пособій для наиболѣе бѣдныхъ. Словомъ, онъ видѣлъ цѣлую, организованную, совсѣмъ необыкновенную, по семейному и дружному характеру, школу, подобной которой онъ, Страннолюбскій, не могъ-бы

и вообразить. И что всего чуднѣе,—все это возникло, только благодаря почину и энергіи нѣсколькихъ юношей, какъ и мы сами,—юношей неопытныхъ, но смѣло пошедшихъ на встрѣчу великому дѣлу съ полной готовностью учиться на практикѣ самимъ, взаимно контролируя другъ друга и сообщая обсуживая возникающіе педагогическіе вопросы на еженедѣльныхъ собраніяхъ учащихся, причемъ школа управлялась и руководилась не однимъ лицомъ, а общимъ совѣтомъ. Много еще говорилъ намъ Н. Н. Страннолюбскій и о школьныхъ пособіяхъ, и о возникающей библіотекѣ, и о чтеніяхъ ученикамъ интересныхъ отрывковъ изъ писателей, и о томъ, какъ содержалась эта школа при даровомъ трудѣ многочисленныхъ участниковъ на грошоваго пожертвованія деньгами...

«Такъ вотъ что дѣлается,—заклучилъ, помнится, ораторъ горячую рѣчь,—энергическими, чуткими къ нуждамъ народа, людьми въ то время, камъ мы только разговариваемъ»...

Кажется, еслибъ въ эту минуту передъ нами, юношами, явился могучій обличитель, изобразившій, какъ въ зеркалѣ, насъ самихъ со всѣми грѣхами нашими вольными и невольными, и воззвалъ къ поканію, — онъ не произвелъ бы такого глубокаго, подавляющаго впечатлѣнія, какое произвела на всѣхъ насъ эта, совершенно неожиданная, совсѣмъ необыкновенная въ устахъ нашего мичмана, рѣчь. Онъ кончилъ и сѣлъ, взволнованный и мрачный, а мы всѣ, какъ ошеломленные, молчали...

Но вотъ кто-то прервалъ тяжелое молчаніе роб-

кимъ замѣчаніемъ, что вѣдь и мы можемъ попробовать устроить на Васильевскомъ островѣ что-либо подобное Таврической школѣ... Этого замѣчанія было довольно, чтобы вдругъ оживилось все общество, и заговорили, заспорили чуть не всѣ разомъ. — «Не можемъ, а должны!» — кричали одни; «и непременно, сейчасъ же приняться за дѣло!» — подхватывали другіе. Напрасно два-три скептика попробовали было усомниться въ возможности скорого осуществленія такого дѣла, указывая на его трудность, и даже осмѣлились выразить сомнѣніе въ томъ, такъ ли въ самомъ дѣлѣ ужъ хорошо въ школѣ, о которой такъ восторженно рассказывалъ Страннолюбскій, — на скептиковъ ожесточенно набросились всѣ, и скоро и они сами, вмѣстѣ со всѣми прочими, уже заговорили о томъ, какъ бы поскорѣе приняться за дѣло. А дѣло было нелегкое. Начать съ того, что почти всѣ мы были бѣдняки, — едва пробавлявшіеся кое-какъ со дня на день сами (гдѣ ужъ, кажется, тутъ жертвовать на школу?); не было у насъ рѣшительно никакихъ связей, или знакомствъ въ официальныхъ сферахъ, чтобы выхлопотать разрѣшеніе; наконецъ, нѣкоторые изъ насъ никогда не давали никакихъ уроковъ и понятія не имѣли объ обученіи; остальные же, студенты, хотя и давали уроки еще въ гимназій, но послѣдніе, большею частію, сводились къ репетиціямъ или формальной подготовкѣ къ экзамену. Наконецъ, самая организація дѣла, цѣль, планъ, программы — все это было для насъ совершенная terra incognita. Тѣмъ не менѣе, мы единодушно положили попробовать свои силы, соображая,

что вѣдь и дѣятели школы Таврической тоже не педагоги, и тоже бѣдняки, какъ и мы, однако-же дѣло завели и ведутъ успѣшно... Тутъ-же порѣшено было на дняхъ же отправиться нѣсколькимъ изъ насъ въ Таврическую школу, хорошенько пораспросить обо всемъ и посмотрѣть, какъ все ведется, а затѣмъ сообщить о нашемъ намѣреніи единственному авторитетному у всѣхъ насъ человѣку, профессору К. Д. Кавелину, котораго лекціи всѣ мы, студенты, слушали, и который пользовался особенно популярностью, — и просить его совѣта и руководства.

Ни одно собраніе нашего кружка, съ самаго его основанія, не было еще такъ оживлено и богато, если не серьезностью содержанія, то необыкновеннымъ подъемомъ духа, окрыленного сознаніемъ дѣйствительнаго хорошаго дѣла, которое найдено для насъ всѣхъ и во что бы то ни стало должно было быть нами предпринято. Всѣ мы въ этотъ знаменательный для насъ сентябрьскій вторникъ 1859 г. какъ-то особенно близко сплотились другъ съ другомъ, точно стали вдругъ серьезнѣе, старше. Еще ничего не было; еще только-что брошена была мысль вдохновенною рѣчью одного изъ насъ, а уже всѣхъ захватила она и увлекла. Какія горячія рѣчи раздавались здѣсь, въ этой студенческой комнатѣ, въ этотъ вечеръ; какіе рисовались планы будущей школы, которая, конечно, должна быть еще лучше Таврической; какіе строились воздушные замки нашей общественно-педагогической дѣятельности; какія наивныя, до смѣшнаго, какъ вспомнить теперь, пре-

серьезно высказывались, якобы педагогическія, соображенія относительно цѣлей и состава начального образованія, о которомъ мы не имѣли понятія... Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сколько готовности было въ насъ учиться новому для насъ дѣлу на самой практикѣ! Много, очень много смѣшнаго, какъ вспомнишь теперь со своей тридцатилѣтней педагогической опытностью, было высказано нами въ этотъ вечеръ, но много было въ этихъ рѣчахъ и высокаго, и трогательнаго, о чемъ нельзя вспомнить безъ волненія и сладкой грусти, какъ о невозвратномъ прошломъ. Это трогательное, это высокое — была юношеская чистота помысла, жажда добра на пользу родины, вѣра въ свѣжесть своихъ силъ и торжество свѣта просвѣщенія народа, твердая готовность работать безкорыстно, жертвовать послѣднимъ для дорогого дѣла, и въ этой жертвѣ видѣть счастье въ исполненіи долга. Уже на разсвѣтѣ (такъ поздно мы никогда не засиживались), разошлись мы въ эту ночь по своимъ угламъ, счастливые и радостные, — точно дѣло уже было сдѣлано, и многіе изъ насъ такъ и не ложились, забывъ о снѣ въ разговорахъ о задуманномъ предпріятіи, въ благополучномъ осуществленіи котораго мы не сомнѣвались.....

Былъ въ то время вольнослушателемъ въ нашемъ университетѣ некончившій курса въ Ларинской гимназіи сынъ умершаго петербургскаго профессора, Ник. Мих. Пальминъ. Къ кружку нашему онъ вовсе не принадлежалъ, и даже не со всѣми изъ насъ былъ знакомъ. Это былъ человѣкъ уже лѣтъ за двад-

цать, очень живой и практическій, симпатичный, умѣвшій легко сходиться съ людьми и знакомый со многими профессорами, въ томъ числѣ и съ К. Д. Кавелинымъ. Вотъ къ этому то П—ну и положили мы обратиться съ просьбой рассказать о нашемъ намѣреніи уважаемому профессору и просить его совѣта и руководства. Съ Таврической школой мы уже познакомились, такъ какъ въ слѣдующій же вторникъ двое или трое нашихъ делегатовъ, подробно осматривавшихъ ее, изложили намъ обстоятельно все, что видѣли и узнали отъ основателя ея, барона Косинскаго. Кавелинъ выслушалъ П—на внимательно, затѣй нашей заинтересовался и, записавъ адресъ студента Сор—на, предложилъ придти на наше собраніе въ слѣдующій же вторникъ—самъ.

Такимъ образомъ, черезъ двѣ недѣли послѣ торжественной рѣчи Н. Н. С—скаго, въ той же студенческой квартирѣ, состоялось первое наше собраніе, въ присутствіи К. Д. Кавелина и вступившаго въ кружокъ П—на,—собраніе, имѣвшее уже опредѣленное, рѣшающее, значеніе. Объ этомъ вечерѣ скажу подробнѣе.

Извѣстіе не только о сочувствіи нашему дѣлу со стороны любимаго профессора, но и о радушной его готовности даже придти къ намъ, и обрадовало насъ, и немножко смутило. «Какъ-то будемъ мы толковать съ такимъ знаменитымъ лицомъ, какъ-бы не скомпрометировать себя передъ нимъ своимъ невѣжествомъ, какой-нибудь глупостью, неловкостью, какъ-бы не осрамиться?» — опасались скептики; но самонадѣянные романтики зажали скептикамъ рты,

утверждая, что ничего молъ такого особеннаго нѣтъ въ томъ, что къ намъ пожалуетъ хотя-бы самъ Кавелинъ. Однако и тѣ, и другіе сообща озаботились заранѣе приготовить небольшую записку, гдѣ, по крайнему разумѣнію, набросали вкратцѣ цѣль и планъ школы, чтобы было что-нибудь, отъ чего можно было-бы въ обсужденіи дѣла идти.

Ранѣе обыкновеннаго, и въ большемъ числѣ, чѣмъ когда-бы то ни было прежде, чуть не двадцать человекъ, собрались мы въ комнату С—на. Нашъ хозяинъ, пріодѣвшійся и пріубравшійся для торжественнаго дня, озабоченно хлопоталъ на счетъ чаю... Около 8 часовъ наконецъ явился въ сопровожденіи Н. М. П—на и Константина Дмитріевича Кавелинъ. Какъ напрасны были всѣ наши опасенія и тревоги! Совсѣмъ просто, какъ къ добрымъ знакомымъ, вошелъ этотъ небольшого роста человекъ съ курчавыми черными волосами, въ золотыхъ очкахъ, въ наполненную табачнымъ дымомъ и людьми комнату; съ каждымъ познакомился и поздоровался и, пробравшись между стульями къ дивану за чайнымъ столомъ, преспокойно усѣлся, взялъ стаканъ чаю, сказалъ что-то очень любезное въ похвалу нашимъ намѣреніямъ, и попросилъ рассказать о дѣлѣ подробнѣе. Кажется, П. В. М—скій, какъ болѣе солидный между нами и едва-ли самъ не слушатель Кавелина въ юридическомъ факультетѣ московскаго университета, прочелъ нашу записку. Какъ и слѣдовало ожидать, оказалась она и неопредѣленною, и неполною, обнаруживающею совершенное незнаніе дѣла; но ни насмѣшки, ни отношенія свысока не

встрѣтила она въ этомъ чудномъ человѣкѣ. Очень внимательно и совершенно серьезно выслушалъ ее Константинъ Дмитріевичъ безъ возраженій всю до конца, и только тогда сталъ обсуждать ее по пунктамъ вмѣстѣ съ нами, нисколько не шокируясь нашими, подчасъ нелѣпыми или наивными, выраженіями, направляя обсужденіе къ опредѣленнымъ, обоснованнымъ, положеніямъ. Уже никто изъ насъ не чувствовалъ ни малѣйшей неловкости въ присутствіи этого, уже въ то время извѣстнѣйшаго во всей интеллигентной Россіи, ученаго, общественнаго дѣятеля и литератора. Всѣхъ заполонилъ онъ своею мягкой, строго логической и задушевно-простой рѣчью; каждый высказывался совсѣмъ свободно, — вызывая профессора на подробныя объясненія всего, что казалось несовсѣмъ яснымъ, — словомъ, не смотря на разницу лѣтъ, образованія и положенія насъ и нашего гостя, бесѣда приняла серьезный и дѣловой характеръ, и къ концу вечера всѣ выработанныя, по указанію и подъ руководствомъ Кавелина, положенія въ общихъ чертахъ были записаны, и составленъ первый, такъ сказать, протоколъ основателей школы. Въ концѣ вечера, затянувшася за полночь, Кавелинъ предложилъ намъ собраться еще нѣсколько разъ для выработки болѣе подробнаго устава школы и, тепло простившись съ нами, обѣщалъ быть на всѣхъ предварительныхъ засѣданіяхъ самъ, а тамъ, если мы найдемъ лицо, которое-бы взяло школу на свое имя, и похлопотать передъ высшимъ начальствомъ о разрѣшеніи ее открыть. Совсѣмъ очарованные милымъ гостемъ, котораго за этотъ одинъ

вечеръ уже успѣли мы всѣ полюбить, мы долго еще продолжали толковать обо всемъ происшедшемъ и разошлись еще болѣе, чѣмъ прежде, увѣренные въ успѣхѣ.

Кажется, цѣлый мѣсяцъ шли у насъ собранія съ Констанентиномъ Дмитріевичемъ, и подъ его руководствомъ окончательно выработался планъ и уставъ школы, причемъ мы, мало-по-малу, частію по его указаніямъ, частію разыскивая книги сами, стали знакомиться съ педагогическими и дѣтскими журналами, книгами и, немногими тогда, элементарными учебниками и хрестоматіями.

Уже въ первое-же собраніе съ К. Д. Кавелинымъ положили мы, еще до открытія школы, ежемѣсячно вносить, начиная съ этого-же мѣсяца, каждый, сколько хотѣлъ, на содержаніе будущей школы, хотя-бы маленькую сумму, и избрали казначея, которому нѣкоторые изъ насъ и отдали тутъ же первый взносъ. Вносили по рублю, и менѣе, отдѣляя гроши отъ заработка за уроки, и даже нарочно для этой цѣли выискивали себѣ особые уроки, переводы, корректуру и т. п. Къ посильнымъ пожертвованіямъ, единовременнымъ и ежемѣсячнымъ, стали мы привлекать и другихъ товарищей и знакомыхъ, и въ первый-же мѣсяцъ, къ концу октября, собралась нѣкоторая сумма, но, конечно, недостаточная для первоначальнаго обзаведенія школы, требовавшей извѣстной обстановки, книгъ и проч. Нужно было прискать также и пользующееся извѣстнымъ положеніемъ лицо, которое-бы открыло школу на свое имя. Здѣсь, какъ и вообще въ пріисканіи средствъ и

пожертвованій вещами, неоцѣненнымъ по изобрѣтательности и энергіи пособникомъ для нашего дѣла оказался тотъ-же Н. М. П—нъ, который привлекъ и К. Д. Кавелина. Въ числѣ знакомыхъ этого П—на былъ одинъ богатый молодой человѣкъ, недавно кончившій курсъ въ университетѣ, Владиміръ Ивановичъ Струбинскій. Онъ нигдѣ не служилъ, проживая со старухой-матушкой въ своемъ небольшомъ одноэтажномъ барскомъ домѣ на углу Знаменской улицы и Ковенскаго переулка, и занимаясь химіей въ устроенной на широкую ногу лабораторіи. Этотъ, нѣсколько апатичный, спокойный, малоразговорчивый баринъ былъ добрый и милый гостепріимный человѣкъ, повидимому, скучающій жизнью; едва ли принималъ онъ какое-нибудь участіе въ тогдашнемъ возбужденіи русскаго общества и, до вторженія въ его домъ нашего демократическаго кружка, жилъ себѣ со-всѣмъ особнякомъ въ богатыхъ апартаментахъ. П—ну ли удалось заинтересовать его нашей затѣей; самъ ли онъ, тяготясь сытымъ бездѣльемъ,—обрадовался хоть-какому нибудь дѣлу, въ которомъ могъ бы играть видную роль — только Струбинскій отнесся къ намъ очень сочувственно, и черезъ П—на пригласилъ насъ всѣхъ въ ближайшую-же субботу къ себѣ. И вотъ, съ начала ноября 1859 г. наши собранія перекочевали къ нему, гдѣ и происходили аккуратно каждую субботу до самаго открытія школы. Въ этотъ-же недолгій подготовительный періодъ вошла въ составъ кружка и первая женщина, молодая классная дама, Любовь Александровна Черкасова, введенная къ намъ тѣмъ-же П—нымъ послѣ

продолжительныхъ и бурныхъ преній о томъ,—допускать ли въ нашъ кружокъ женщинъ. Такимъ образомъ, постепенно былъ выработанъ уставъ школы, названной нами *Василеостровское бесплатное училище*, которое, въ качествѣ отвѣтственнаго лица, принялъ подъ свое покровительство Струбинскій. П—нъ вмѣстѣ съ нами составилъ инвентарь всего обзаведенія школы, на которое далъ 400 р. Струбинскій. Въ началѣ января, благодаря хлопотамъ Кавелина, было получено и разрѣшеніе на открытіе школы, и тотчасъ же нѣсколько человѣкъ изъ насъ отправилось разыскивать по Васильевскому острову квартиру. Найдена была таковая, кажется, за 15 р. въ мѣсяцъ, въ 15-ой линіи между Большимъ и Среднимъ проспектами, въ деревянномъ домѣ Ибаева, во второмъ этажѣ. Состояла она изъ прихожей съ кухней, комнаты въ одно окно, представлявшей пріемную, и двухъ классныхъ комнатъ:—одна—большая въ три окна, другая маленькая—въ одно. Благодаря хозяйственной распорядительности П—на, обѣгавшаго чуть-ли не весь Петербургъ, разыскивая, гдѣ бы повыгоднѣе купить вещи, денегъ Струбинскаго не только вполнѣ хватило на всю обстановку, но, помнится, едва-ли не 150 руб., осталось еще въ качествѣ запаснаго капитала, Двѣ, три недѣли каждый день привозились въ школу вещи, сдаваемые на руки нанятому старому солдатику, помѣстившемуся въ школѣ, и, по мѣрѣ приближенія всѣми нами столь нетерпѣливо ожидаемаго дня открытія, квартирка принимала все болѣе и болѣе уютный и приличный видъ. Въ прихожей появилась

вѣшалка человѣкъ на пятьдесятъ, въ приѣмной—большой шкафъ для книгъ, которыя частію купили мы, частію получили отъ разныхъ лицъ въ пожертвованіе, большой столъ и шесть стульевъ, въ обоихъ классахъ скамьи, столы и стулья для учителей, карты, лампы и проч. Получили мы въ даръ отъ одного изъ василеостровскихъ торговцевъ нѣсколько стопъ бумаги и другія письменныя принадлежности,—словомъ, школа обставилась всѣмъ необходимымъ какъ нельзя лучше. Еще недѣли за двѣ до открытія распредѣлили мы между собой дежурства по утрамъ для записыванія и проэкзаменовки поступающихъ въ школу дѣтей *), которыхъ скоро набралось до сорока, распредѣленныхъ нами на три класса слѣдующимъ образомъ. Совершенно безграмотные — десять человѣкъ — составили, такъ сказать, подготовительный классъ, другіе десять, уже умѣвшіе читать и писать, но мало развитые, образовали первый классъ, а двадцать остальныхъ, постарше, уже достаточно грамотные и болѣе развитые — высшій — второй. Никакой подготовки въ какія-нибудь учебныя заведенія школа ввиду не имѣла, хотя въ послѣдствіи мы и подготовляли болѣе способныхъ учениковъ въ гимназіи, академію художествъ и пр. Она просто должна была быть общеобразовательнымъ училищемъ, которое давало бы полный курсъ элементарнаго образованія, въ то-же время преслѣ-

*) До открытія школы нѣкоторые изъ насъ приняли на себя отыскиваніе наиболѣе бѣдныхъ дѣтей изъ живущихъ на Острову и предложеніе родителямъ отдавать ихъ учиться въ нашу школу.

дуя и цѣли воспитательныя, въ смыслѣ умственнаго и нравственнаго развитія дѣтей. Ученіе должно было происходить отъ 4 до 7 часовъ, такъ какъ большая часть насъ были по утрамъ заняты, и только въ приготовительномъ классѣ уроки шли утромъ. Управляться школа должна была общимъ совѣтомъ всѣхъ основателей, но ближайшее завѣдываніе ею возлагалось на одно выбранное изъ нашей среды лицо, которое должно было находиться въ школѣ, по возможности, цѣлый день. Предположено было взаимно посѣщать уроки другъ друга, внося въ особую, хранившуюся у ежедневнаго дежурнаго, *книгу заявленій* свои замѣчанія, обсуждавшіяся въ ближайшее засѣданіе всѣхъ преподавателей, и вообще, основателей училища. Засѣданія должны были происходить еженедѣльно по субботамъ послѣ классовъ. Самое преподаваніе должно было вестись по заранѣе обсужденнымъ программамъ, возможно интереснѣе для учениковъ, при помощи наглядныхъ пособій, картъ, картинъ, моделей, чучелъ и проч. Въ основаніе установки отношеній къ ученикамъ положена была самая широкая гуманность и ласковая внимательность и снисходительность къ дѣтямъ, нерѣдко росшимъ въ печальной нищенской обстановкѣ. Самымъ бѣднымъ предполагалось помогать платьемъ и деньгами, а больныхъ лечить, что и принялъ на себя безвозмездно докторъ Боковъ. Наказанія ограничивались выговоромъ, высылкой изъ класса, и самое важно—выговоромъ въ присутствіи совѣта и временнымъ удаленіемъ изъ школы.—Содержаться школа должна была какъ на ежемѣсяч-

ные взносы всѣхъ основателей, что обезпечивало ежемѣсячный бюджетъ (около 35—40 р.), такъ и на добровольныя пожертвованія постороннихъ лицъ, шедшія на школьныя пособія, бібліотеку и помощь бѣднѣйшимъ ученикамъ. Занятія въ школѣ распределялись между основателями школы и желающими бесплатно послужить дѣлу посторонними лицами, присоединившимися къ намъ уже по открытіи ея, и состояли: 1) въ даваніи уроковъ, 2) въ чтеніяхъ для учениковъ и 3) въ дежурствахъ по утрамъ *).

25 Января 1860 г., утромъ, послѣдовало торжественное открытіе Васильеостровскаго бесплатнаго училища. Собрались принятые ученики, ихъ родители, всѣ мы, Струбинскій, К. Д. Кавелинъ и приглашенный нами баронъ Михаилъ Осиповичъ Косинскій, завѣдывавшій Таврической школой, много помогшій намъ на первыхъ порахъ своимъ опытомъ и указаніями. Послѣ молебна съ пѣвчими, отслуженнаго нашимъ новымъ законоучителемъ, священникомъ Смоленской кладбищенской церкви О. Матвѣевскимъ, послѣднимъ было сказано нѣсколько словъ, обращенныхъ къ дѣтямъ и родителямъ; за нимъ, тоже обращаясь къ будущимъ питомцамъ основываемой школы, просто и задушевно сказалъ небольшое слово Косинскій; заключилъ же актъ открытія училища К. Д.

*) Вотъ имена основателей школы: В. И. Струбинскій, К. Д. Кавелинъ, П. В. Макалинскій; морскіе офицеры: Д. К. Глинка, Старицкій, А. Н. Страннолюбскій, и Н. Н. Страннолюбскій; поручикъ А. Н. Острогорскій; вольнослушатель университета Н. М. Пальминъ и студенты: Н. К. Веберъ, Виньери, Н. А. Гомвинъ, В. П. Острогорскій, А. Е. Скобельцынъ, В. М. Сорокинъ и А. Сперавскій.

Кавелинъ горячею рѣчью, въ которой указалъ на великую отвѣтственность передъ обществомъ, родителями и дѣтьми, какую принимаемъ на себя всѣ мы, открывая школу, и въ заключеніе пожелалъ ей преуспѣянія. Тотчасъ-же по окончаніи акта дѣти были разведены по классамъ, и начались уроки.

Такъ осуществился нашъ замыселъ, вызванный въ студенческой комнаткѣ рѣчью покойнаго Н. Н. Страннолюбскаго,—осуществился, благодаря особенно тремъ лицамъ, имена которыхъ тѣсно связаны съ возникновеніемъ Василеостровскаго училища: Кавелина, руководившаго нами на первыхъ порахъ и выхлопотавшаго разрѣшеніе на открытіе школы; Струбинскаго, пожертвовавшаго деньги на первоначальное обзаведеніе и взявшаго школу на свою отвѣтственность, и, наконецъ, Н. М. П—на, организовавшаго и устроившаго всю матеріальную, практическую часть дѣла. Что чувствовали въ этотъ знаменательный для насъ день 25 Января 1860 г. мои товарищи, видѣвшіе осуществленіе такъ горячо принятой къ сердцу мысли, говорить не буду;—скажу только, что этотъ день останется въ моей памяти и во всю остальную жизнь самымъ дорогимъ и знаменательнымъ. Съ этого дня открылась для меня общественная педагогическая дѣятельность, начавшаяся и продолжавшаяся подъ руководствомъ многихъ лучшихъ людей, въ тѣсномъ товарищескомъ кругу лицъ, связанныхъ однимъ стремленіемъ:—принести посильную пользу бесплатнымъ обученіемъ бѣднымъ дѣтямъ *).

*) Уроки распредѣлялись въ первые мѣсяцы по открытіи училища слѣдующимъ образомъ: Законъ Божій — свят. Матвѣевскій,—

Еще до открытія школы по Васильевскому острову распространилась молва о возникающемъ оригинальномъ училищѣ и, какъ только найдено было помѣщеніе и завелись дежурства, стали являться разныя лица съ предложеніемъ своихъ услугъ въ качествѣ преподавателей, дежурныхъ или жертвователей. Такъ, къ открытію школы къ нашему кругу присоединились, между прочимъ, Л. Н. Модзолевскій, молодой артиллеристъ А. Д. Путята, Михаилъ Николаевичъ Филиповъ, его сестра, классная дама и учительница Николаевскаго института, О. Н. Филипова, Ѳ. Ѳ. Каменскій съ его тремя сестрами дѣвками и др.

Теперь, черезъ тридцать пять лѣтъ, говоря о нашихъ первыхъ шагахъ на поприщѣ учительской дѣятельности, не могу припомнить въ подробности, какъ именно велось у насъ на первыхъ порахъ преподаваніе, въ которомъ мало было системы, и еще менѣе опытности; но скажу одно, что, относясь къ дѣтямъ съ любовью, мы всѣ, по крайнему своему разумѣнію, влагали въ преподаваніе всю душу, стараясь какъ можно болѣе заинтересовать учениковъ и пробудить

позже свящ. Демкинъ, Русскій языкъ—только что кончившій курсъ въ Петербургскомъ университетѣ филологъ Л. Н. Модзолевскій, В. П. Острогорскій, В. М. Сорокинъ и нѣсколько дамъ, взявшихся собственно за обученіе безграмотныхъ; письмо — Н. К. Веберъ; ариметика—П. В. Макалинскій и А. Н. Страннолюбскій, который въ первое время принялъ на себя завѣдываніе школой и бывалъ въ ней каждый день; географія, въ видѣ рассказовъ въ связи съ элементарнымъ естествовѣдѣніемъ—А. Н. Страннолюбскій; начала геометріи—А. Д. Путята; рисованіе—г. Брюловъ (нынѣ академикъ), также Ѳ. Ѳ. Каменскій, нынѣ извѣстный скульпторъ, тогда еще ученикъ академіи.

въ нихъ охоту къ ученю. И это уже одно отношеніе къ дѣлу, какъ-бы ни были мы малоопытны, какіе бы ни дѣлали педагогическіе промахи и ошибки,—этотъ строгій взаимный контроль другъ за другомъ сдѣлали тѣмъ не менѣе то, что съ первыхъ же уроковъ дѣти полюбили и школу, и насъ, и, заинтересованные уроками, на которыхъ все необходимое выучивалось и усваивалось тутъ-же въ классѣ, безъ задаванія уроковъ на домъ, очень скоро стали обнаруживать видимые успѣхи, да и школьная дисциплина, подъ вліяніемъ добрыхъ отношеній къ дѣтямъ, скоро установилась какъ-то сама собою. Быстроу установленію прочной связи школы не только съ учениками, но и ихъ родителями, не мало способствовало также и то обстоятельство, что, благодаря стекавшимся со стороны пожертвованіямъ, не только небольшими денежными суммами, но и вещами, напр., платьемъ, обувью и т. п., оказалось возможнымъ хотя нѣсколько улучшить матеріальное положеніе особенно бѣдныхъ учениковъ. Словомъ, съ самаго открытія училища все пошло, повидимому, какъ нельзя лучше; но нельзя было въ то-же время не замѣтить, что, не смотря на всѣ наши благія намѣренія и энергію, мы идемъ въ новомъ дѣлѣ ощупью и въ разбродъ, и что для постановки дѣла на серьезную почву намъ недостаетъ руководителя. Уже на первыхъ-же собраніяхъ въ школѣ, куда явилось, кромѣ насъ, много новыхъ лицъ, обнаружились разногласія въ методахъ преподаванія, во взглядахъ на дисциплину и т. п. Говорилось очень много и горячо, спорилось еще горячѣе, но осязательнаго-то,

опредѣленнаго, результата собранія наши давали мало. Внесеніе въ нихъ порядка, серьезности, и, главное, богатаго фактическаго содержанія, которое сдѣлало изъ нашего училища не только хорошую школу, но, нѣкоторымъ образомъ, и настоящую педагогическую семинарію для насъ самихъ, произошло только черезъ полтора мѣсяца по открытіи училища, благодаря новой, любопытнѣйшей, личности **Θ. Θ. Резенера**, вошедшаго въ нашъ педагогическій кругъ въ Мартѣ того-же года. Этому-то интересному человѣку болѣе всего обязана вся организація училища, можно сказать, однимъ имъ благоустроеннаго и поставленнаго на прочную ногу.

V.

Ө. Ө. Резенеръ.—Появленіе его въ школѣ.—Біографическія о немъ свѣдѣнія.—Роль его на нашихъ собраніяхъ.—Оживленіе послѣднихъ.—Вступленіе въ школу А. Я. Герда.—Отношеніе Резенера къ школѣ и дѣтямъ.—Отношеніе его къ намъ—студентамъ.—Воспоминанія о Резенерѣ его бывшихъ учениковъ: покойнаго художника В. С. Шпака и инженера В. В. Оглоблина.—Закрытіе Василеостровскаго училища.—Дѣятельность Резенера въ качествѣ воспитателя въ «Колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ».—Послѣдніе годы его жизни.—Воспоминанія о Резенерѣ, какъ о воспитателѣ въ семействѣ.—Смерть.

Въ одинъ изъ субботнихъ вечеровъ, въ мартѣ 1860 г., происходило обычное наше собраніе въ школѣ. Въ самый разгаръ горячихъ преній по поводу вопроса объ отношеніяхъ учителей къ ученикамъ и о наказаніяхъ, раздался въ передней звонокъ, и сторожъ зачѣмъ-то вызвалъ предсѣдателя. Засѣданіе прервалось, а вскорѣ затѣмъ вернувшійся М—скій заявилъ намъ о просьбѣ неизвѣстнаго пришедшаго господина, какого-то Өedora Өедоровича Резенера, интересующагося школой, позволить ему послушать наши пренія, чтобы ближе ознакомиться съ ея характеромъ. Нѣсколько пораженные такимъ неожиданнымъ вторженіемъ прямо въ наше собраніе, мы встрѣтили это заявленіе съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ, но войти Резенеру разрѣшили. И

вотъ, вошелъ въ классъ человекъ лѣтъ тридцати пяти—сорока, съ просѣдью, съ серьезнымъ, умнымъ лицомъ, необыкновенно быстрыми, живыми, пронзательными глазами, прежде всего обращавшими на себя вниманіе, въ потертомъ сюртукѣ, и, отрекомендовавшись намъ сосѣдомъ, слышавшимъ о школѣ, и поблагодаривъ за допущеніе въ наше собраніе, скромно усѣлся въ углу, на краю школьной скамьи. Пренія возобновились,—сначала, въ присутствіи незнакомаго лица, нѣсколько робко, но вскорѣ, увлекшись разбираемыми вопросами, мы какъ-то забыли о немъ, и все пошло по-прежнему, горячо, бурно, молодод..... Непрошенный гость сидѣлъ молча, внимательно вслушиваясь во все и, только по временамъ, осторожно и скромно прерывая споры, вопросами, для разъясненія или дополненія того, о чемъ говорилось *). Хотя, какъ сообразили мы потомъ, уже въ этихъ вопросахъ сразу ясно обнаруживалось серьезное пониманіе дѣла и необыкновенный умъ, но мы мало обращали вниманія на незнакомца, еще разъ поблагодарившаго насъ за допущеніе въ собраніе и при уходѣ заявившаго желаніе вступить въ число преподавателей грамоты. Съ ближайшаго-же понедѣльника начались его уроки, и тутъ-то увидѣли мы, что имѣемъ дѣло съ человекомъ недюжиннымъ, любящимъ дѣтей и умѣющимъ сходитьсѣ съ ними,—съ образованнымъ педагогомъ, далеко превосходя-

*) Нѣкоторыя подробности о Василеостровской школѣ и Резнерѣ читатели найдутъ въ статьѣ Вл. Сорокина «Воспоминаніе стараго студента». Русская Старина 1888 г. № 11.

щимъ всѣхъ насъ знаніемъ дѣла, искусствомъ и дѣльностью преподаванія.

Но во весь ростъ и сразу предсталъ предъ нашими изумленными глазами этотъ оригинальный, можно сказать, единственный видѣнный мною въ жизни, настоящій педагогъ по-призванію и глубокому общему и специальному образованію, на собраніи въ слѣдующую субботу. Тутъ уже, можно сказать, не мы вели засѣданіе, не любимый, болѣе солидный изъ всѣхъ насъ, обычный предсѣдатель направлялъ пренія,—нѣтъ, это было собраніе, котораго побѣдоноснымъ героемъ и направителемъ всецѣло явился одинъ онъ, этотъ таинственный незнакомецъ. Совершенно оставляя въ сторонѣ частности и вопросы второстепенные, подробности методическія, недоумѣнія, накопившіяся за недѣлю, онъ прямо началъ съ самаго существеннаго, основнаго. Началъ онъ съ вопроса о воспитательномъ значеніи школы вообще и зависимости отъ него всего методическаго и дисциплинарнаго строя на твердомъ основаніи самой широкой гуманности, которая должна быть положена въ основу всего педагогическаго дѣла. Собственно говоря, это былъ не совѣтъ, не засѣданіе школы,—это была цѣлая вдохновенная, полная самыхъ глубокихъ мыслей и философскаго значенія, сплошная рѣчь, длившаяся часа три передъ изумленными юношами, никогда не слыжавшими ничего подобнаго и глубоко пораженными этимъ, новымъ для всѣхъ насъ, словомъ необыкновеннаго человѣка. Голосъ его, звучавшій искренностью и убѣжденіемъ, и проницательные, глубокіе, озаренные внутреннимъ

огнемъ, глаза производили на всѣхъ насъ неотразимое впечатлѣніе. Сознаться-ли со стыдомъ, что въ этотъ знаменательнѣйшій вечеръ, я, студентъ втораго курса историко-филологическаго факультета, впервые услышалъ имена Песталоцци и Дистервега, впервые узналъ о теоріи Руссо, извѣстнаго мнѣ только по имени? Слушали мы эту чудную рѣчь, и только тутъ должны были откровенно сознаться, какіе мы, основатели цѣлой отвѣтственной народной школы, сами невѣжды, какъ мы нуждаемся въ руководителѣ; сколько нужно намъ еще учиться, чтобы хоть сколько-нибудь сознать себя достойными выполнителями добровольно взятой на себя, нелегкой, задачи. Рѣчь Резенера сразу подчинила всѣхъ насъ вліянію его могучей личности, и нетрудно было предвидѣть, что этотъ человѣкъ станетъ во главѣ всего дѣла, что, дѣйствительно, очень скоро и случилось, такъ что школа наша черезъ какой-нибудь годъ часто справедливо называлась въ обществѣ *«резеновской»*.

Но, прежде чѣмъ говорить, чѣмъ для школы и насъ былъ Резенеръ, скажу нѣсколько словъ о томъ, что мнѣ извѣстно о жизни этого человѣка до неожиданнаго его появленія среди насъ въ достопамятную мартовскую субботу 1860 г.

Федоръ Федоровичъ Резенеръ, родившійся въ 1825 г., въ Петербургѣ, родителей своихъ не зналъ, и изъ всего своего дѣтства, о которомъ не любилъ говорить, вспоминалъ съ благодарностью только старушку, свою тетку или бабушку, кажется, нѣмку, фотографія которой, въ самодѣльной простенькой

рамкѣ, висѣла всегда надъ его рабочей конторкой, составляя единственно украшеніе его, болѣе чѣмъ скромной, комнатки. Ребенкомъ былъ онъ отданъ въ суровое въ то время учебное заведеніе—Гатчинскій сиротскій институтъ, а оттуда за отличные успѣхи во всѣхъ наукахъ, по окончаніи курса, былъ переведенъ на юридическій факультетъ Петербургскаго университета, гдѣ, пробиваясь кое-какъ грошевыми уроками и переводами, впроголодь, пробылъ, кажется, лѣтъ пять. Тяжелое дѣтство и суровая гатчинская школа рано закалили характеръ этого, сильного духомъ, человѣка, всегда умѣвшаго справляться съ собой, идти упорно къ намѣченной цѣли и ради идеи или убѣжденій доходить положительно до самоотверженія, совершенно забывая о своихъ личныхъ интересахъ. Рано пробудившаяся въ немъ любознательность, перешедшая въ страстную жажду знаній, при необыкновенныхъ способностяхъ, помогла ему самостоятельно и разносторонне образовать себя, что, при основательномъ знаніи нѣмецкаго и французскаго языковъ, коими онъ овладѣлъ еще въ институтѣ, создала ему высокое уваженіе между товарищами. Такъ, слушавшій съ Резенеромъ лекціи въ университетѣ, и даже одно время вмѣстѣ съ нимъ жившій, извѣстный знатокъ русскаго языка и изслѣдователь Крылова, покойный В. О. Кеневичъ, говорилъ мнѣ о Резенерѣ, какъ онъ, будучи еще студентомъ, основательно изучилъ философію и всегда интересовавшую его исторію педагогики и отличался въ спорахъ необыкновенною логичностью и силой діалектики. Страстный и увлекавшійся, студентомъ

онъ сталъ было одно время неудержимо пить; но стоило ему, послѣ какой-то неблаговидной попойки, сказать самому себѣ разъ навсегда, что пить нужно бросить, и никогда, за всю дальнѣйшую жизнь, до самой смерти въ 56 лѣтъ, онъ не пилъ болѣе ни капли вина, постоянно являясь самымъ ригористическимъ, безпощаднымъ, обличителемъ малѣйшаго въ этомъ отношеніи излишества, въ комъ бы и какъ бы оно ни проявлялось. Еще на первомъ курсѣ Резенеръ, пожелавъ въ англійскомъ оригиналѣ прочесть какую-то книгу, захотѣлъ выучиться и этому языку. И вотъ, раздобывъ англійскую грамматику, лексиконъ и два евангелія,—русское и англійское, онъ заперся въ своей, почти пустой, конурѣ и, питаясь однимъ хлѣбомъ съ чаемъ, въ два мѣсяца, одинъ, самоучкой, прочтя нѣсколько разъ англійское евангеліе, овладѣлъ языкомъ настолько, что могъ переводить для журнала Маколея, а впослѣдствіи явился единственнымъ у насъ переводчикомъ знаменитой логики Милля. Кончивъ курсъ въ университетѣ въ глухое время начала пятидесятихъ годовъ (кажется, въ 1851 г.), вступилъ было онъ на службу въ Военное Министерство, но уже въ 1858 г. вышелъ въ отставку, не чувствуя охоты и желанія тянуть бессмысленную чиновничью лямку. Оживленіе литературы дало ему возможность имѣть кое-какой заработокъ въ журналахъ переводами, а сближеніе съ представителями журналистики доставило переводъ нѣсколькихъ частей исторіи Шлоссера. Тогдашнее педагогическо-общественное движеніе также захватило и его, и онъ принялъ участіе въ возникшихъ

воскресныхъ школахъ, или, по крайней мѣрѣ, ревностно ихъ посѣщаль и сталъ писать въ открывшемся въ 1859 г. подъ редакціей О. И. Паульсона журналѣ «Учитель». Въ то время, какъ появился Резенеръ у насъ въ школѣ, жилъ онъ на Васильевск. острову, въ Донскомъ переулкѣ, близъ школы, въ крохотной убогой квартиркѣ съ женой и двумя маленькими дѣтьми. Проходя мимо школы, онъ увидѣлъ вывѣску, и, вотъ, услышавъ отъ кого-то изъ сосѣдей-бѣдняковъ, которымъ онъ находилъ возможнымъ помогать изъ скуднаго заработка и учить ихъ дѣтей, что въ училищѣ хорошо обращаются съ дѣтьми и хорошо учатъ какіе-то студенты и офицеры, заинтересовался имъ, и прямо явился къ намъ въ собраніе.

Такъ какъ со вступленія въ нашъ кружокъ Резенера школа только и становится на опредѣленную почву, то и буду говорить почти исключительно о его дѣятельности, раздѣливъ ее, для большей ясности, на нѣсколько частей, конечно, тѣсно между собой связанныхъ и проявлявшихся одновременно.

Прежде всего приняли совсѣмъ другой характеръ наши субботнія собранія, со вступленія въ школу Резенера получившія для насъ особый интересъ и значеніе, особенно для тѣхъ, кто, какъ я, намѣревались посвятить себя учительству. Сколько помню, они болѣе или менѣе всякій разъ, особенно въ первое время, носили характеръ двоякій. Съ одной стороны, носили, такъ сказать, теоретическій, принципиальный характеръ, такъ какъ, выясняя намъ въ живомъ общеніи мыслей основныя начала воспитанія, Резенеръ знакомилъ насъ съ сущностью теорій

Руссо, Песталоцци, Дистервега и мн. др., какъ-бы излагая эпизодическій курсъ исторіи новѣйшей педагогики и обращая желающихъ для подробнѣйшаго ознакомленія съ ними къ книгамъ и статьямъ.

Такимъ образомъ, мы впервые знакомились съ началами педагогики въ критическомъ освѣщеніи ихъ Резенеромъ, вмѣстѣ съ тѣмъ читая помѣщавшіеся въ журналѣ «Учитель» прекрасные популярныя очерки исторіи педагогики покойнаго Евг. Карл. Кемница, что, впрочемъ, было уже значительно позже, кажется, въ 1863 г., когда Резенеръ сдѣлался неофициальнымъ редакторомъ этого журнала.

Къ этой-же теоретической части собраній вскорѣ присоединилось и изученіе и составленіе отдѣльныхъ методикъ, напр., ариѳметики по Грубе, обученіе письму по американскому методу, объяснительное и катехизическое чтеніе, предметныя уроки, замѣна сухой отвлеченной грамматики живымъ изученіемъ роднаго языка на художественныхъ образцахъ, и др. На сколько серьезно было поставлено дѣло, видно, напр., изъ того, что я, для ознакомленія съ передачей дѣтямъ ученія о предлогахъ, долженъ былъ обратиться за совѣтами и указаніями къ совѣмъ тогда неизвѣстному мнѣ Кеневичу, какъ и вообще стали обращаться мы за указаніями прямо къ специалистамъ; для уроковъ же русскаго языка, по совѣту Резенера, я ознакомился не только съ Павскимъ, Буслаевымъ, Шимкевичемъ, но и сталъ изучать непосредственно языкъ на Крыловѣ, пѣсняхъ, и особенно пословицахъ по Снѣгиреву и Далю. Эти занятія методиками производились, провѣрялись и измѣнялись,

на основаніи практики на урокахъ, и многое изъ того, что было продѣлано или затѣяно здѣсь, положило основаніе дальнѣйшимъ педагогическо-литературнымъ трудамъ многихъ изъ насъ. Такъ, изъ трудовъ самого Резенера назову составленные имъ вмѣстѣ съ Евг. Степ. Волковымъ, *Букварь* и *Книжку для чтенія* (по времени, едва-ли, не *первую эстетическо-литературную* въ этомъ родѣ) и извѣстную книгу въ двухъ частяхъ: «*Что окружаетъ насъ*» составлена Резенеромъ при сотрудничествѣ нѣсколькихъ изъ насъ; *Алгебру*, А. Н. Страннолюбскаго, *Минералогію*, А. Я. Герда, *Геометрію*, П. П. Фанъ-деръ-Флита, наконецъ, мои книги, изданныя впослѣдствіи: книжка *Выразительное чтеніе*, которая, хотя и составила изъ статей въ *Педагогическомъ сборникѣ*, по вызову редактора А. Н. Острогорскаго, только много лѣтъ спустя, но мысль о выразительномъ чтеніи и мои практическія занятія имъ впервые явились по инициативѣ Резенера въ нашей школѣ; книга—*Русскіе писатели, какъ воспитательно-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми и для чтенія народу*, составившаяся, частію изъ статей, помѣщенныхъ еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ въ *Учитель*, а потомъ въ *Педагогическомъ листкѣ* при *Дѣтскомъ чтеніи*—все это получило свое начало и основаніе именно въ Василеостровской же школѣ.

Съ другой стороны, собранія носили характеръ, такъ сказать, практическій, такъ какъ, рядомъ съ педагогическими и методическими вопросами, обсуждались и вопросы дня, т.-е. отдѣльные случаи въ

области дисциплины и обученія, происшедшіе за недѣлю. Но и они стали обсуждаться теперь уже на основаніи извѣстныхъ принциповъ, изъ которыхъ первый, основной и безусловно всѣми принятый въ школѣ, былъ *принципъ полнѣйшей непринудительности и единственно допускаемаго на учениковъ воздѣйствія нравственнаго и умственнаго авторитета*. Этотъ принципъ составилъ особенность нашей школы за все время ея шестилѣтняго существованія и, вполне доказанный на практикѣ, положилъ здѣсь начало будущему идеалу, вообще, русской школы, которая, воспитывая въ дѣтяхъ широкую гуманность, безъ всякихъ принужденій, наказаній, или иныхъ репрессалій, побуждала бы дѣтей учиться изъ любознательности, находя въ ученіи удовольствіе и интересъ въ самомъ школьномъ трудѣ. Этотъ принципъ, воспитавшій не только дѣтей, но и насъ самихъ, какъ будущихъ педагоговъ, позднѣе былъ проведенъ Резенеромъ и въ печати, въ статьяхъ его въ журналѣ «Учитель», который нѣсколько лѣтъ имъ редактировался.

Такимъ образомъ, собранія наши, при помощи и руководствѣ Резенера, привели въ извѣстную систему и порядокъ самые уроки и заставили насъ самихъ приняться за болѣе серьезную подготовку къ будущей дѣятельности. Оживленію собраній не мало способствовало также привлеченіе къ нимъ и разныхъ компетентныхъ лицъ со стороны, принимавшихъ въ дебатахъ дѣятельное участіе. Такъ, школа въ разное время видѣла въ своихъ стѣнахъ: *О. И. Паулсона, А. Ф. Погоскаго, Разина, Косинскаго,*

К. Д. Кавелина, Ф. Г. Толля, Е. К. Кемница, доктора *Бокова* и др. И настолько великъ, уже мѣсяца черезъ два, сталъ для насъ авторитетъ Резенера, что мы боялись пропустить хоть одно собраніе, тѣмъ болѣе, что онъ не стѣснялся,—стыдитъ манкирующихъ общимъ дѣломъ, а, замѣтивъ намѣреніе уйти потихоньку раньше конца, преспокойно возвращалъ нерадивыхъ назадъ, да и къ частнымъ урокамъ стали мы относиться серьезнѣе.

Со вступленіемъ въ нашъ кругъ Резенера быстро сталъ увеличиваться и персоналъ школы. Такъ, кромѣ многихъ другихъ, Резенеромъ были привлечены Мих. Ник. Филипповъ и его сестра, классная дама Николаевского Института, Ольга Ник. Филиппова, обучавшая у насъ французскому языку поступающихъ въ гимназію, А. Д. Путята, П. П. Фанъ-деръ-Флитъ, М. А. Богданова (нынѣ Быкова), А. П. Блуммеръ, и особенно полезный для школы, въ ней же, по собственнымъ его словамъ, получившій свое педагогическое образованіе, нынѣ покойный, извѣстный педагогъ, впоследствии директоръ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ и затѣмъ инспекторъ гимназій кн. Оболенской, Александръ Яковлевичъ Гердъ. Скажу нѣсколько словъ и объ этомъ товарищѣ моемъ по школѣ.

Сынъ извѣстнаго въ свое время талантливаго англичанина, выписаннаго въ двадцатыхъ годахъ въ Россію для устройства ланкастерскихъ школъ, А. Я. Гердъ былъ въ то время студентомъ физико-математическаго факультета и принималъ дѣятельное участіе въ воскресныхъ школахъ. Вскорѣ по своемъ

вступленіи въ нашу школу, Резенеръ, часто встрѣчавшій Герда, проходившаго по 14 линіи, обративъ вниманіе на его, всегда сосредоточенное, серьезное, лицо и оригинальную крупную фигуру, какъ-то разъ, не будучи вовсе съ нимъ знакомъ, остановилъ его и спросилъ, знаетъ-ли онъ, студентъ, о студенческой новой школѣ? И, когда Гердъ отозвался незнаніемъ, Резенеръ предложилъ ему тутъ-же зайти и съ ней познакомиться. Они зашли, и съ этого-же дня Гердъ вступилъ въ нашъ учительскій кругъ преподавателемъ наглядныхъ уроковъ по естествознанію, а затѣмъ вскорѣ сталъ по своей серьезной дѣятельности, едва-ли, не первымъ изъ всѣхъ насъ послѣ Резенера.

По инициативѣ-же Резенера составились у насъ, совокупнымъ участіемъ большинства, сначала каталогъ, потомъ бібліотека всѣхъ лучшихъ тогда книгъ по дѣтской литературѣ, а затѣмъ и учебныя коллекціи по естествознанію, географіи и технологіи. Составленіе такого каталога было въ то время—дѣло новое и трудное. Приходилось рыться по книжнымъ магазинамъ, въ бібліотекахъ академіи наукъ и публичной,—все это просматривать, перечитывать, давать о просмотрѣнномъ отчеты, наконецъ, добывать выбранное въ нашу бібліотеку.

Помню, что просмотръ беллетристики лежалъ на мнѣ и В. М. С—нѣ, какъ преподавателяхъ русскаго языка, и былъ тѣмъ болѣе для насъ затруднителенъ, что оба мы должны были и ходить въ университетъ, и давать уроки, которыми существовали, да, признаться, и полѣнчивались; но Резенеръ такъ пристыдилъ насъ за нерадивость къ «общественному

дѣлу», что мы, скрѣпя сердце, прочитывали десятки книгъ и, придя со своими отчетами къ Резенеру, просиживали за ними не одну ночь до разсвѣта, въ спорахъ и верѣдко перечитываніяхъ спорныхъ мѣстъ въ той или другой книжкѣ вмѣстѣ съ нашимъ строгимъ педагогическимъ менторомъ. Но, какъ ни великъ былъ для насъ авторитетъ этого чело-вѣка, случалось намъ съ нимъ и не соглашаться, и въ концѣ концовъ выходили побѣдителями мы. Такъ, хотя и придавая большое значеніе въ преподаваніи роднаго языка элементу эстетическому, Резенеръ какъ-то упрекнулъ С—на въ злоупотребленіи разборами съ дѣтьми стихотвореній, и даже, вообще, скептически отнесся къ стихамъ. Это вызвало со стороны С—на энергическій отпоръ. Тогда Резенеръ пригласилъ его и меня къ себѣ и послѣ подробнаго анализа стиховъ лучшихъ русскихъ поэтовъ, и послѣ долгихъ споровъ уступилъ—таки намъ, согласившись вполне съ нашими доводами, доказывавшими важность для дѣтей разумнаго изученія родной поэзіи. Надумалъ Резенеръ попробовать завести въ школахъ и нѣкоторыя ремесла, о чемъ еще въ то время у насъ въ русскихъ школахъ, кажется, и помину не было. И вотъ, въ видѣ опыта, изъ нашей среды выбранъ былъ одинъ юный офицеръ, слушатель артиллерійской академіи А. Н. О—скій, котораго за 15 р. въ мѣсяцъ взялся обучить переплетному мастерству — переплетчикъ Бикокъ. И офицеръ выучился ремеслу, и, помнится, даже нѣкоторыя изъ дѣтей переплетали книги и клеили коробки.

Но самое важное, что невольно обращало на себя

вниманіе всякаго, кто впервые знакомился со школой, — это теплое и серьезное отношеніе Резенера къ дѣтямъ, которыя, видя такое отношеніе къ себѣ со стороны его и насъ, быстро привязывались къ школѣ, съ удовольствіемъ учились, и становились мягче и добрѣе даже и въ играхъ, и въ товарищескихъ отношеніяхъ, и въ дисциплинарныхъ. Странно сказать, но это было дѣйствительно такъ, — въ нашей школѣ изъ сорока мальчиковъ, набранныхъ изъ самыхъ бѣдныхъ, часто очень дурныхъ, семей, за все шестилѣтнее существованіе школы, не смотря на полное отсутствіе наказаній, и даже принудительности къ ученію, почти совсѣмъ не совершалось никакихъ школьныхъ проступковъ, а лѣнивые и малоуспѣвавшіе считались единицами. Такова была сила резенеровскаго принципа, хорошаго подбора преподавателей, строгаго отношенія къ дѣлу, при взаимномъ контролѣ, отсутствіи формализма, а главное, при любви къ дѣтямъ. Видя, что ихъ любятъ, дѣти любили и насъ, и другъ друга, а видя, что серьезно трудились мы, они и сами мало-по-малу привыкли относиться къ своему школьному труду серьезно. И что всего отраднѣе вспомнить изъ этихъ незабвенныхъ лѣтъ юности, — это отсутствіе и во всемъ кружкѣ, и между собой, внѣ школы, и въ этихъ собраніяхъ, и въ отношеніяхъ къ Резенеру, всякой натянутости, искусственности, мелочнаго самолюбія, хвастовства, желанія выставиться, щегольнуть тѣмъ, что, мы, дескать, дѣятели, и т. п. Много уже было, должно быть, и въ насъ самихъ добрыхъ стремлений молодости, а всего больше импонировала въ

этомъ отношеніи на всѣхъ насъ благородная, безупречная, личность Резенера: при всякомъ дурномъ побужденіи, или проступкѣ, даже не по отношенію къ школѣ, у всѣхъ сейчасъ-же являлся вопросъ: «А что скажетъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ?»

Заботы о дѣтяхъ у него не ограничивались школой. Онъ зналъ семейное положеніе рѣшительно каждаго ученика, принималъ сердечное участіе во всѣхъ его личныхъ радостяхъ и горестяхъ, тѣшилъ ихъ подарочками и лакомствами на собственные скудные гроши, снабжалъ ихъ книжками и письменными принадлежностями, наконецъ, опредѣленно организовалъ, еще до Резенера практиковавшуюся, помощь платьемъ, обувью, а въ крайности, даже и пищей, не говоря уже о лекарствахъ для больныхъ. Какъ все это могло дѣлаться безъ постояннаго обезпеченія школы, только на наши скромные взносы, да на частныя пожертвованія, — поистинѣ изумительно!

Впрочемъ, и здѣсь опять приходилъ на помощь тотъ-же Резенеръ, и не только къ дѣтямъ, но и къ наиболѣе бѣднѣйшимъ изъ насъ. Онъ доставлялъ намъ, благодаря своимъ связямъ, хорошіе уроки, за которыми обращались въ школу тѣмъ чаще, чѣмъ болѣе росла въ городѣ добрая репутація *необыкновенной* школы, и извѣстную часть заработка отдавали мы на учениковъ. Кто зналъ языки, или обнаруживалъ какой-нибудь слогъ, литературныя наклонности, тому доставлялъ онъ переводы, или сильное сотрудничество въ разныхъ изданіяхъ. *Нерѣдко онъ великодушно уступалъ намъ значительную*

часть своей собственной работы, безкорыстно тратя много, всегда дорогого для него, времени, иногда на пролеть цѣлыя ночи, на поправку и просмотръ всѣхъ этихъ опытовъ неумѣлой литературной производительности. Въ этомъ отношеніи, кажется, съ наибольшею благодарностью къ памяти покойнаго долженъ отнестись я, авторъ этихъ записокъ.— Помню, напримѣръ, сколько вечеровъ и ночей провозился онъ на первыхъ порахъ со мной, уступивъ мнѣ значительную часть своей собственной заказной работы, перевода *Всеобщей Истории Шлоссера*. Онъ объяснялъ мнѣ и идиотизмы языка, и указывалъ неточности въ переводѣ, и особенно строго выправлялъ слогъ, требуя непремѣнно чистоты его и самой внимательной отдѣлки. Онъ же былъ и редакторомъ моихъ первыхъ компиляцій и педагогическихъ статей въ «Учителѣ» шестидесятыхъ годовъ, какъ, напр., «*Воспитательное значеніе басенъ Крылова*». «*Выражающееся въ пословицахъ народное воззрѣніе на слова*», вошедшихъ черезъ десять лѣтъ въ первое изданіе моей книги *Русскіе писатели*, а также моихъ, составленныхъ исключительно изъ пословицъ, рассказиковъ — *Титъ и Вавило* (въ *Чтеніи для юношества*). Къ нимъ потомъ уже, безъ редакціи Резенера, присоединилъ я подобныя-же рассказы, — *Маланья и Маша на двичиникъ*, составившіе всѣ вмѣстѣ мою книжку *Изъ народного быта*. Да и позднѣйшій, составленный текстуально по былинамъ, пересказъ *Илья Муромецъ* былъ вызванъ болѣе ранними работами моими надъ утилизаціей народной поэзіи въ школѣ.

Такимъ образомъ, Резенеръ, натолкнувшій меня для нашей-же школы на изученіе живаго народнаго языка, вмѣстѣ съ тѣмъ далъ мнѣ мысль и объ этихъ первыхъ моихъ работахъ въ области педагогической литературы, и самъ тщательно ихъ отредактировалъ. Онъ же, опять-таки сначала для уроковъ въ школѣ, обратилъ меня къ выбору и разбору для школы произведеній образцовыхъ русскихъ писателей, что впоследствии составило для меня, учителя языка и словесности, одну изъ главнѣйшихъ задачъ моей учительской дѣятельности. Выборъ первыхъ вещей въ этомъ направленіи, ихъ оцѣнка и анализъ были сдѣланы мною подъ руководствомъ этого настоящаго моего наставника, высоко ставившаго эстетическое развитіе, которому онъ придавалъ въ воспитаніи огромное значеніе. Да и не съ одними первыми моими литературно-педагогическими опытами шелъ я къ Резенеру. Ему, кроме ближайшихъ товарищей, первому робко несъ я на просмотръ мои слабыя стихотворныя мечты, къ которымъ, слава Богу, отнесся онъ, хоть, можетъ быть, и слишкомъ строго, но вполне правдиво, показавъ, на безпощадномъ анализѣ этого надуманнаго стихотворства, разницу между произведеніями истинныхъ поэтовъ и моими стихокропаніями, чѣмъ напавалъ убить во мнѣ зарождавшуюся было стихоманію. Къ нему-же пришелъ я въ Апрѣлѣ 1861 г. и съ моей первой комедіей *Липочка*, и только съ его одобренія, рѣшился ее напечатать и поставить на сценѣ. Менѣе, чѣмъ я, но также въ значительной степени, обязанъ былъ тому-же Резенеру вы-

правкой своихъ первыхъ трудовъ другой, уже покойный, педагогическій писатель, учитель въ нашей школѣ, Валеріанъ Александровичъ Висковатовъ, котораго извѣстная передѣлка *Первыхъ разсказовъ изъ естественной исторіи*, Вагнера, въ первомъ изданіи, вся сдѣлана при весьма значительной его помощи.

Связь наша съ Резенеромъ не ограничивалась собственно школой. Мы, юноши, очень скоро полюбили его, и какъ человѣка, въ которомъ видѣли какъ-бы нашего старшаго брата, немножко ригориста по отношенію къ грѣхамъ молодости, но уважаемаго за умъ, образованіе, стойкость характера и безупречную строгость къ самому себѣ, а болѣе всего за сердечную къ намъ участливость. Нерѣдко заживалъ онъ къ намъ, въ наши студенческія квартиры, толковалъ о возникавшихъ у насъ вопросахъ и общественныхъ, и политическихъ, и литературныхъ, объ университетскихъ дѣлахъ *),—словомъ, былъ и здѣсь нашимъ руководителемъ и краснорѣчивымъ, остроумнымъ собесѣдникомъ. Посѣщало-ли кого-нибудь изъ насъ личное горе, попадалъ-ли кто, по молодости, или легкомыслію, въ бѣду, грозившую серьезными послѣдствіями, мы шли къ нему, къ нашему Фёдору Федоровичу, а то и самъ онъ предупреждалъ насъ своимъ появленіемъ. Разскажемъ ему, бывало, все, по совѣсти, какъ на духу, поговорить онъ

*) Резенеръ вращался и пользовался уваженіемъ не только въ кругу педагогическомъ, но и въ лучшихъ литературныхъ, а особенно нами уважаемые профессора: Кавелинъ, Спасовичъ, Пыпинъ, находились съ нимъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ.

съ нами по душѣ, утѣшить, когда и пожурить и преувеличить для острастки вину провинившагося, побѣгаетъ, гдѣ-то похлопочетъ за попавшаго въ бѣду, пустить въ ходъ, когда нужно, всѣ свои связи,—и смотришь—уплыло горе, и бѣды какъ не бывало. Бывали, напримѣръ, и такого рода курьезные факты. Приходитъ какъ-то Резенеръ къ одному изъ школьных преподавателей и застаётъ его за картами, а надобно было поговорить о дѣлѣ. Хозяинъ сконфузился и началъ было собирать карты, но гость оставилъ его и иронически замѣтилъ: «Вамъ некогда, вы вѣдь заняты серьезнымъ дѣломъ» —и тотчасъ же ушелъ. Сконфуженный юный педагогъ на другой день бросился къ Резенеру и сталъ объясняться. Сидѣли они вдвоемъ въ школѣ, запершись, часа три; о чемъ и какъ они говорили—не знаю, но извѣстно мнѣ одно, что, съ того времени до самой своей смерти, педагогъ уже болѣе въ карты не игралъ. Въ другое время, когда тотъ же педагогъ,—разсказываетъ въ своей книжкѣ *Очеркъ жизни А. Я. Герда* (Спб. 1889 г. Ц. 50 к.) Н. Ермолинъ,—нашелъ какъ-то одинъ изъ вечернихъ классныхъ часовъ для себя неудобнымъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ сказалъ ему: «Небось, вамъ нужно послѣ сытнаго обѣда отдохнуть, да сигару покурить, но не школа должна сообразовать свои занятія съ вашими, а вы должны сообразоваться въ своей жизни со школою».

Таково было значеніе этой высокой личности не только для школы, но и для насъ, учителей. Но возвратимся къ дальнѣйшимъ воспоминаніямъ о школѣ, которыя будутъ отрывочны, такъ какъ черезъ трид-

цать лѣтъ многое изгладилось изъ памяти, да и участіе въ школѣ, личное и непосредственное, принималъ я собственно только до конца 1862 г., т.-е. до окончанія моего университетскаго курса.

Серьезный характеръ, который, со вступленіемъ въ составъ преподавателей Резенера, получила съ марта—апрѣля 1860 года наша школа, привелъ насъ всѣхъ къ убѣжденію, что, для приданія ей единства и опредѣленнаго порядка, необходимо выбрать изъ нашей среды лицо, которое бы приняло на себя завѣдываніе школой, отдавши ей уже себя всего. Правда, у насъ уже такимъ завѣдующимъ школой лицомъ, съ самаго основанія училища, былъ А. Н. Страннолюбскій; но онъ не жилъ въ школѣ, къ тому же, какъ офицеръ, часто отвлекался службой. И вотъ, по долгому и всестороннему обсужденію, положили мы учредить особую должность, какъ бы выборнаго инспектора, котораго мы называли, чтобы названіе это не напоминало чего-то казеннаго, офиціальнаго, начальственнаго, особымъ именемъ *«постоянное лицо»*, и которое получало-бы извѣстное мѣсячное вознагражденіе и комнату тутъ-же, въ школѣ. Естественно, что единодушный выборъ палъ на Резенера. Послѣ долгихъ колебаній и настоячивыхъ уговоровъ съ нашей стороны онъ принялъ предложеніе, и съ августа 1860 г., когда школа перешла изъ 15-й линіи въ 14-ю, между Большимъ и Среднимъ проспектами, почти у Средняго, въ особый домикъ съ мезониномъ, открылъ новый учебный годъ уже въ качествѣ этого *«постояннаго лица»*.

Оставивъ на прежней квартирѣ семью, которую содержалъ онъ изъ литературнаго заработка по ночамъ, этотъ удивительный человѣкъ переѣхалъ въ крошечную комнатку въ мезонинѣ, и за пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ, выплачиваемыхъ по частямъ и неаккуратно, къ тому-же тратя едва-ли не двѣ трети жалованья, на учениковъ, отдалъ себя школѣ всего. Чѣмъ онъ былъ для первыхъ, увидимъ ниже изъ воспоминаній самихъ учениковъ; чѣмъ сталъ онъ для насъ, именно съ этого времени, когда такъ часто проводили многіе изъ насъ съ нимъ, въ его комнаткѣ, долгіе часы за занятіями и бесѣдами, — объ этомъ я только что говорилъ. Добавлю одно, что всего правильнѣе было-бы назвать этого человѣка свѣтскимъ аскетомъ-подвижникомъ, недостижимымъ для всѣхъ насъ примѣромъ.

Бѣдное платье, всегда впрочемъ чистое, хотя и старое, пища болѣе, чѣмъ скудная, отсутствіе всякихъ развлеченій, напр., театра, — все это не представляло никакой важности для этой личности, всецѣло отдававшейся преслѣдуемой идеѣ, за которой для него не существовало ничего личнаго, эгоистическаго.

Федоръ Федоровичъ, при всемъ своемъ, иногда немножко нѣмецкомъ, педантизмѣ и неумолимой логичности, въ которую любилъ облекать всю свою жизнь и поступки, былъ, въ сущности, человѣкъ необыкновенно теплый и мягкій, способный къ самой трогательной нѣжности и ласкѣ.

«Постояннымъ лицомъ» собственно Резенеръ былъ, помнится, не долго. Вслѣдствіе ли его семейныхъ

обстоятельствъ, или иныхъ причинъ, о которыхъ уже не помню, его временно замѣняли, сначала Н. К. Веберъ, затѣмъ А. Я. Гердъ и, наконецъ, съ 1864 года до закрытія школы, извѣстный нынѣ учитель математики, и авторъ нѣсколькихъ математическихъ книгъ, Викторъ Николаевичъ Стрекаловъ. Но, и не будучи «постояннымъ лицомъ», Резенеръ всегда отдавалъ школѣ чуть не весь свой день, руководя своихъ намѣстниковъ и раздѣляя съ ними труды.

Благодаря большой содержательности, обработкѣ и оживленію уроковъ, которые мы стали давать теперь подъ руководствомъ Резенера; благодаря рѣдкой дисциплинѣ и, вообще, порядкамъ школы, быстро росла ея извѣстность, и не только на Васильевскомъ островѣ, гдѣ родители повсюду распространяли о насъ самые восторженные отзывы, но и въ педагогическомъ мірѣ столицы. Съ разныхъ сторонъ пріѣзжали къ намъ учиться преподавать и знакомиться со школой интеллигентные мужчины и дамы. Чиновники министерства народнаго просвѣщенія удостоиваютъ насъ своими посѣщеніями, и не только не находятъ у насъ ничего дурнаго, но даже осыпаютъ школу самыми лестными похвалами и прощаютъ ей широкое развитіе. Мало того, Петербургская городская дума даетъ намъ субсидію въ 1.000 руб., а мы, учителя, только благодаря преподаванію въ школѣ, также пріобрѣтаемъ извѣстность, и къ намъ обращаются въ ту же школу родители съ просьбой давать частные уроки ихъ дѣтямъ...

Такимъ образомъ, въ какіе-нибудь два ~~дѣ~~ тѣянное въ студенческой комнаткѣ нѣсколько

шами, скромное дѣло незамѣтно разросталось въ большое и серьезное. Уже довольно значительное количество мальчиковъ обучено въ школѣ разумно грамотѣ и получило элементарное образованіе;—нѣсколькихъ, болѣе способныхъ, приготовили мы и помѣстили на казенный счетъ—кого въ академію художествъ, кого въ гимназіи; нѣсколькихъ устроили въ мастерства, не оставляя никого своими заботами и за стѣнами школы, которая переѣхала, кажется, въ 1864 г. въ болѣе широкое помѣщеніе въ 17 линію, между Невой и Большимъ проспектомъ, въ домъ переплетчика Брема. Но, несмотря на всѣ наши успѣхи, на всю неослабную энергію Резенера, работавшаго вмѣстѣ съ послѣднимъ «постояннымъ лицомъ» В. Н. Стрекаловымъ, на все расположеніе къ намъ самого министерства народнаго просвѣщенія, дни Василеостровскаго бесплатнаго училища были сочтены. Въ 1866 г., подобно всѣмъ воскреснымъ и другимъ бесплатнымъ училищамъ, оно было закрыто по распоряженію администраціи, не нашедшей возможности, хотя за насъ и просило министерство, сдѣлать для него исключеніе.

И разбрелось наше стадо учителей и учениковъ по разнымъ концамъ, унося на всю жизнь добрую память о замѣчательнѣйшемъ у насъ въ Россіи, педагогическомъ учрежденіи, а мы, будущіе учителя, уже въ разныхъ большихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, унося также и пріобрѣтенныя педагогическія званія, нѣкоторую опытность, духъ широкой гуманности къ дѣтямъ и уваженіе къ дѣтской личности будущаго человѣка и гражданина. Остался и

безъ своего любимаго стада и пастырь добрый Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, не оставлявшій однако до конца своей жизни ни насъ, ни многихъ изъ учениковъ. Разобрали мы по рукамъ и роздали потомъ по разнымъ школамъ и библіотеку, и коллекціи... Многое столькими лицами и съ такимъ трудомъ собранное, конечно, погибло, затерялось, испортилось, — и отъ Василеостровскаго бесплатнаго училища осталась только одна вѣчная память въ сердцахъ тѣхъ, кто въ ней учился, или кто, теперь уже старикъ, ее основывалъ и училъ въ ней въ годы далекой юности.

Стариковъ часто укоряютъ въ пристрастіи къ людямъ и событіямъ, связаннымъ съ годами ихъ юности. Въ теряющейсѣ вдали перспективѣ годовъ отдаленное прошлое, можетъ быть, иногда и представляется нѣсколько въ болѣе розовомъ свѣтѣ, чѣмъ оно было на самомъ дѣлѣ; но все, что рассказываю я о нашей Василеостровской школѣ, вполне подтверждается и воспоминаніями нѣсколькихъ изъ нашихъ учениковъ.

Вотъ что рассказываетъ, напр., въ книжкѣ *«Очеркъ жизни А. Я. Герда»* (Спб. 1889.) Н. К. Ермолинъ. «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я встрѣтилъ нѣкоего N, который, узнавъ, что я лично зналъ А. Я. Герда и Ѳ. Ѳ. Резенера, сразу какъ-то особенно оживился и обратилъ этимъ мое вниманіе настолько, что я невольно спросилъ его: знаетъ-ли онъ ихъ и почему? Такой вопросъ представлялся тѣмъ болѣе естествен-

нымъ, что сидѣвшій со мною ничего не имѣлъ общаго съ педагогическою дѣятельностью, служа въ правленіи одного желѣзнодорожнаго общества. Оказалось, что онъ — бывшій ученикъ Василеостровской школы. Не смотря на то, что для него это были уже дѣла давно минувшихъ дней, онъ съ большою любовью вспоминалъ объ этой школѣ и, не стѣсняясь, даже съ нѣкоторою гордостью, сообщилъ, что своимъ спасеніемъ онъ обязанъ этой школѣ, что она воскресила въ немъ чистыя дѣтскія побужденія, возбудила интересъ къ природѣ, къ жизни, къ его родной семьѣ, отъ которой онъ въ то время отбился, и сдѣлала противнымъ ему то грубое товарищество, въ средѣ котораго онъ, было, запутался. «Я прибѣгалъ въ школу»,—говорилъ онъ,—«раньше, чѣмъ нужно было; я и самъ не понималъ, что меня туда такъ тянуло!» Кроме этого господина, я зналъ лично еще одного человѣка, также учившагося въ этой школѣ и бывшаго впоследствии воспитателемъ дѣтей ремесленного пріюта, директоромъ котораго былъ *Θ. Θ. Резенеръ*».

Тепло рассказываетъ о школѣ и любимый нашъ ученикъ, умершій въ 1884 г. тридцати семи лѣтъ отъ роду, даровитый извѣстный художникъ и симпатичнѣйшій и честнѣйшій человѣкъ, Викторъ Сильвестровичъ Шпакъ. Десятилѣтнимъ мальчикомъ привезла его въ Петербургъ учиться мать и отдала на Васильевскомъ острову въ Андреевское приходское училище, куда онъ и ходилъ съ годъ. Но за какое-то пустяки его хотѣли высѣчь; мать на эту операцію не согласилась и взяла сына изъ училища, отдавъ

его къ намъ. «Самыя лучшія, самыя чистыя воспоминанія, — рассказываетъ другъ покойнаго художника, А. Н. Канаевъ, въ книжкѣ—*«Очеркъ жизни Виктора Сильвестровича Шпака»* (Спб. 1891 г.)—вынесъ онъ изъ этой школы и всегда хранилъ о ней самыя хорошія воспоминанія. Въ этой-же школѣ было обращено вниманіе на способности мальчика къ рисованію. Эта школа связала на всю жизнь такого глубоко-честнаго, безкорыстнаго труженика, какимъ былъ покойный Федоръ Федоровичъ Резенеръ, съ его ученикомъ Шпакомъ, о которомъ онъ заботился всю жизнь.

«Въ этой школѣ В. С. учился всего два года, но она закрѣпила въ немъ развитіемъ понятій и сознательнымъ отношеніемъ къ жизни тѣ инстинкты, которые жили у него въ душѣ. Она создала въ немъ то чистое дѣтское настроеніе, ту жажду быть полезнымъ людямъ, стремленіе жить для жизни другихъ, найти свою жизненную дорогу и все то, что много дороже правильной постановки буквы *н*, съ которой, кстати сказать, никакъ не ладилъ покойный.

Это-то душевное настроеніе и спасло В. С. отъ погребенія себя въ вѣчные писаря, и отъ той сытой карьеры, какую рекомендовалъ ему одинъ изъ его богатыхъ родственниковъ-чиновниковъ, къ которому онъ обратился за помощью послѣ смерти своей дорогой матери»...

Но, кромѣ этихъ свидѣтельствъ, въ моихъ рукахъ есть болѣе подробныя рукописныя воспоминанія тоже нашего-же ученика, инженера В. В. Оглоб-

лина, строителя многихъ желѣзнодорожныхъ участковъ. Мы отдали мальчика въ седьмую гимназію (нынѣ 1-ое реальное училище), откуда, прекрасно кончивъ курсъ, онъ поступилъ въ институтъ инженеровъ путей сообщенія. Задумавъ писать воспоминанія, я, не надѣясь на свою память и опасаясь припасть, попросилъ его припомнить все, что осталось у него въ памяти о школѣ и Резенерѣ. Онъ обязательно тотчасъ-же отозвался на мой вызовъ, уполномочивъ меня воспользоваться этими записками, изъ коихъ и привожу отрывки.

«Родился я,—пишетъ В. В. Оглобинъ,—въ весьма небогатой, мѣщанской семьѣ, въ Петербургѣ. Въ то время, съ котораго я себя помню, т.-е. когда мнѣ было около 7 лѣтъ, мы жили на Гороховой улицѣ. Отецъ былъ грамотнымъ, т.-е. умѣлъ считать, писать и читать, и по своему социальному положенію (онъ служилъ въ биржевой артели) былъ даже человѣкомъ образованнымъ, такъ какъ, любя чтеніе, приобрѣлъ изъ книгъ нѣкоторые познанія по географіи, естественной и отечественной исторіи и родной литературѣ. Но дать мнѣ широкое образованіе, конечно, родители не могли-бы и по недостатку средствъ, и по самымъ взглядамъ на образованіе; — не будь постороннихъ благодѣтелей, въ лицѣ учредителей и преподавателей Василеостровской школы, мнѣ, вѣроятно, дано было-бы образованіе лишь въ той мѣрѣ, которая дала-бы возможность сдѣлать изъ меня возможно скорѣе помощника семьѣ,—работника, приносящаго въ домъ, а не тащившаго изъ дому».

Сначала мальчика отдали учиться въ частную шко-

лу, гдѣ учили мало, а больше наказывали, — надѣвая на голову колпакъ съ ослиными ушами, ставили на горохъ на колѣни и т. д. На Васильевскомъ островѣ, куда родители переѣхали на квартиру, мальчикъ случайно попалъ въ семью Г., гдѣ съ нимъ, вмѣстѣ съ своими племянниками, занималась молодая дѣвушка; по выходѣ ея замужъ и отѣздѣ изъ Петербурга, ученье снова прекратилось.

«Въ критическую минуту, рассказываетъ В. В., судьба опять сжалилась надо мной: ходила къ намъ иногда въ гости вдова бѣднаго чиновника А. И. Лебедева. Услыхавъ какъ-то сѣтованія моей матери о неудачахъ въ моемъ ученіи, она рассказала о существованіи бесплатной школы въ 15-й линіи Васильевскаго острова, гдѣ учился ея сынъ. Школу она сильно расхвалила, а главнымъ образомъ подѣйствовала на мать тѣмъ, что въ этой школѣ не требуется не только платить за ученье, но и покупать книжки, бумагу, карандаши, перья и т. д. — все, молъ, это дается даромъ. Вскорѣ-же послѣ этого разговора матушка, отслуживъ въ церкви молебенъ и принарядивъ меня, елико возможно, сама повела меня въ Василеостровскую школу, — дѣло было вечеромъ, зимою 1860 г., когда мнѣ было отроду семь лѣтъ съ мѣсяцами. Этотъ вечеръ такъ запечатлѣлся въ моей памяти, что я, какъ сейчасъ, вижу всю обстановку комнаты и всѣхъ окружавшихъ меня лицъ. Вмѣсто строгаго съ чиновничьимъ пошибомъ экзаменатора, насъ встрѣтилъ ласково улыбавшійся, съ ласково прищуренными глазами, Федоръ Федоровичъ Резенеръ. Усадивъ мать и меня за столъ и

успѣвши за него самъ, онъ разспросилъ, гдѣ я учился, и что я знаю. Принимаясь за провѣрку моихъ познаній, онъ предварительно потрепалъ меня рукой по щекѣ, обозвалъ не разъ и «дѣтүшей», и вообще одобрилъ такъ, что я сразу почувствовалъ себя, какъ дома, и отвѣчалъ на вопросы безъ страха и трепета. Помню, далъ онъ мнѣ прочесть басню Крылова «Квартетъ», заставивъ рассказать ее потомъ своими словами; помню, при этомъ онъ налегалъ на то, чтобы узнать, — понялъ-ли я мораль басни, — съ его помощью я вывелъ эту мораль. По ариметикѣ задано было что-то на счетъ пряниковъ — рѣшилъ удовлетворительно. Когда, затѣмъ, на вопросъ: знаю-ли я, что за рыба китъ, и какъ онъ размножается? я отвѣтилъ, что китъ совсѣмъ не рыба, и что онъ кормитъ своихъ дѣтенышей молокомъ (это и зналъ по-наслышкѣ отъ дѣтей Г...скихъ, съ которыми разсматривалъ атласъ по зоологiи), Федоръ Федоровичъ воскликнулъ: «о, да вы, булка, (онъ потомъ часто называлъ меня такъ), и по зоологiи знатокъ, — чего-же васъ и экзаменовать!» Экзаменъ былъ конченъ, и Федоръ Федоровичъ объявилъ матери, что я въ школу принятъ. Матушка такъ растрогалась при видѣ происходившаго, что расплакалась, и со слезами благодарила рѣдкостнаго педагога.

Сколько было учениковъ въ школѣ — въ точности не помню. Вспоминая о лѣтнихъ прогулкахъ и экскурсіяхъ, думаю, было никакъ не меньше 30 — 35 человекъ. Классовъ, если память не измѣняетъ, было два. Но классы эти не были разграничены какими-нибудь программами; — различались они исключительно

по большей или меньшей понятливости учеников и по ихъ способности къ воспринятію преподаваемыхъ знаній. Переводились ученики изъ класса въ классъ не по экзаменамъ, а просто по рѣшенію учителей, причемъ и пребываніе въ одномъ классѣ не было ограничено опредѣленнымъ срокомъ. Такая система была вполне возможна, такъ какъ педагоги наши, а особенно *Θ. Θ. Резенеръ*, не только были всегда въ курсѣ нашихъ познаній, но знали все, такъ сказать, нужнѣйшее, умѣли заглядывать въ наши души,—къ чему-же тутъ экзамены?»

«Учили насъ въ школѣ многому,—начиная съ чиstopисанія и плетенія шнурочковъ и кончая астрономіей. Знаменитый въ послѣдствіи скульпторъ, живущій нынѣ въ Америкѣ, тогда еще ученикъ Академіи, *Θ. Θ. Каменскій*, обучалъ насъ рисованію. Рисовали на большихъ листахъ бумаги, сперва углемъ, а по углю итальянскимъ карандашемъ, и исключительно съ моделей; причемъ доходили до весьма замысловатыхъ, какъ напр., гипсовыхъ головъ, да еще классическихъ. Я въ рисованіи всегда былъ плоховать, но весьма яркимъ образцомъ учениковъ Василеостровской школы, въ этомъ отношеніи, можетъ служить покойный товарищъ Шпакъ. *А. Я. Гердъ*, котораго я и посейчасъ совершенно ясно себѣ представляю, хотя и не встрѣчалъ его послѣ школы ни разу, знакомилъ насъ съ естественными науками. Въ популярномъ изложеніи, съ помощью таблицъ, атласовъ, моделей, гербарія и коллекцій, онъ вкладывалъ въ насъ познанія по зоологій, анатоміи и физиологій, ботаникѣ и минералогіи. Я нарочно употребилъ вы-

раженіе «вкладывалъ познанія», какъ наиболѣе подходящее къ его методу и результатамъ преподаванія: уроковъ по его предметамъ мы никогда не учили, — они намъ и не «задавались»; познанія же пріобрѣтались какъ-то сами собою. По крайней мѣрѣ, я лично, попавъ впослѣдствіи въ гимназію, слушалъ естественныя науки, какъ нѣчто знакомое, и былъ по нимъ однимъ изъ первыхъ учениковъ въ классѣ. Во время лѣтнихъ вакаціонныхъ экскурсій, о которыхъ скажу позже, А. Я—чѣ не упускалъ случая подновить пройденное зимою: сорветъ цвѣтокъ и заставить разобрать его составныя части; поймаетъ лягушку или жука и продѣлаетъ съ ними тоже самое, и т. п.»

«Въ школѣ-же были пріобрѣтены мною и элементарныя познанія по физикѣ, физической географіи, и даже немножко по астрономіи. Боюсь ошибиться, утверждая, что эти науки преподавалъ нынѣшній профессоръ петербургскаго университета П. П. фант-деръ-Флитъ. Что онъ училъ въ школѣ, это я навѣрняка помню, но эти-ли именно предметы—забылъ. Ариметику преподавалъ А. Н. Страннолюбскій. Къ сожалѣнію, съ нимъ я тоже со школьных временъ не встрѣчался, хотя и жаждалъ душой этой встрѣчи; несмотря на то, прекрасно помню и лицо его, и фигуру, голосъ,—разумѣется, такими, какъ они были въ то время, т. е. 31 годъ тому назадъ. Какъ онъ училъ,—не могу рассказать; но помню отлично, что, поступая въ гимназію, я по его предмету не подготовлялся, но выдержалъ экзаменъ во второй классъ (по малолѣтству, былъ принятъ въ первый) и три класса шелъ первымъ ученикомъ.

«Уроки въ школѣ начинались въ 6 часовъ вечера, а кончались въ 9. Были, конечно, среди насъ и такіе, которые являлись прямо къ началу уроковъ и немедленно по ихъ окончаніи стремились домой—но такихъ было немного; большинство-же собиралось задолго еще до начала ученія, и не торопились бѣжать домой послѣ классовъ. До уроковъ устраивались—зимою въ классахъ, весной-же и осенью—на дворѣ—разныя игры. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, приходившій всегда раньше всѣхъ и уходившій позже, а впослѣдствіи, когда школа была переведена въ 16 линію, поселившійся при ней, какъ строгая няня, слѣдилъ за играми и не спускалъ глазъ съ тѣхъ, отъ которыхъ можно было ожидать какого-либо проступка по отношенію къ товарищамъ. Разъ такой проступокъ совершался, виновный привлекался къ отвѣтственности: ему приходилось, оставивъ компанію сверстниковъ, посидѣть или постоять рядомъ съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ. Никогда неповышаемымъ, ровнымъ, тихимъ, голосомъ, читалось надлежащее внушеніе, въ которомъ слышались слова: «дѣтюша», «фаля» (вмѣсто Ивановъ), «Фомочка» (вм. Фоминъ), и т. п. Другихъ наказаній у насъ не практиковалось, да и не требовалось,—лишь на исключительныхъ, завзятыхъ школяровъ внушенія Ѳ. Ѳ. Резенера могли не подѣйствовать; за то многихъ они доводили до слезъ. Впрочемъ, бывали случаи, весьма, правда, рѣдкіе, когда дѣло такъ не кончалось. Это случалось тогда, когда проступокъ, хотя-бы по существу и неважный, имѣлъ дурную подкладку, выказывалъ нехорошую нравственную черту провинившагося. Нахожу не-

лишнимъ разсказать объ одномъ случаѣ, малѣйшія детали котораго живо сохранились въ моей памяти, и который характеризуетъ обоюдныя наши съ *Θ. Θ.* отношенія и его воспитательную тактику. Однажды одинъ изъ учениковъ принесъ изъ дому полковничьи густыя эполеты (ученикъ былъ пріемнымъ сыномъ отставнаго полковника) и щеголялъ въ нихъ въ рекреационное время. Другому это украшеніе настолько понравилось, что онъ не выдержалъ искушенія и какимъ-то манеромъ стащилъ ихъ изъ парты въ отсутствіе владѣльца. Кое кто изъ товарищей, если не зналъ навѣрное, то догадывался, кто виновникъ кражи. Потерпѣвшій, съ плачемъ и причитаніями, обратился къ *Θедору Θедоровичу*. Тотъ немедленно собралъ весь классъ (было это зимою 1861—62 г.), посадилъ по мѣстамъ и сталъ держать рѣчь. Говорилъ онъ, что пропaja, собственно говоря, пустая; что, если-бы онъ хотѣлъ лишь вознаградить собственника эполетъ, то онъ могъ-бы купить ему новыя; но что онъ не желаетъ и не можетъ допустить, чтобы въ средѣ его учениковъ были воришки. Онъ не удовольствуется тѣмъ, что кто-нибудь изъ знающихъ виновнаго укажетъ его, и просить этого не дѣлать; онъ не будетъ дѣлать обыска (ясно, что пропавшая вещь была въ стѣнахъ школы); но будетъ настаивать, чтобъ виновный самъ пришелъ къ нему и повинился. Не требуется, чтобы это было сдѣлано при товарищахъ,—напротивъ, *Θ. Θ.* объясняетъ, что никто никогда не узнаетъ имени покаившагося. Чтобы виновный могъ улучшить минуту поговорить съ *Θ. Θ.*, дается сроку сутки—можетъ

написать записку, которая, по прочтеніи, будетъ возвращена писавшему. Но, если виновный не обнаружится, то *Θ. Θ.*, какъ ему ни тяжело это будетъ, вынужденъ будетъ покинуть школу, такъ какъ онъ не желаетъ быть съ дѣтьми, между которыми есть, хотя-бы одинъ ученикъ, скрывающій отъ него проступокъ, сдѣланный, можетъ быть, просто изъ шалости... Какъ сознавалъ этотъ человѣкъ, вѣчная ему память, свое могущественное вліяніе на дѣтей! Какую тяжелую для него самого дилемму безбоязненно поставилъ онъ намъ! И надо было дѣйствительно знать нутро *каждаго* ученика, чтобы быть увѣреннымъ въ успѣхѣ, — а онъ былъ въ немъ увѣренъ! Хорошіе безспорно педагоги были у насъ въ гимназій; но, когда, бывало, цѣлый классъ потомъ засадятъ, по окончаніи уроковъ, безъ отпуска, а значитъ, и безъ обѣда, пока не «выдадутъ» виновнаго въ какой-нибудь крупной шалости, — приходило-ли когда на мысль инспектору или воспитателю поставить вопросъ такъ, какъ поставилъ его *Θ. Θ. Резенеръ*? Конечно, нѣтъ! Ну, и просидимъ, бывало до 8, 9 часовъ вечера, увѣренные, что рано или поздно, а все-таки выпустятъ — и выпускали, а виноватаго такъ и не находили!»

«Но продолжаю рассказъ объ эполетахъ. По уходѣ *Θ. Θ. Резенера* изъ класса, насъ объялъ какой-то ужасъ, — молча мы смотрѣли другъ другу въ глаза, какъ-бы стараясь прочесть въ нихъ вину и просить пощады. Затѣмъ разбились на кучки, и только и слышался шепотъ: «по твоему, кто?» — «а по твоему, кто?» — Многіе, вѣроятно, угадали, такъ какъ вино-

ватый не сумѣлъ скрыть своего смущенія. Да оно и понятно, ибо это былъ вполнѣ порядочный мальчикъ, и «стацилъ эполеты такъ-же, какъ таскаетъ и прячетъ блестящія вещи сорока». Лѣтъ черезъ 18 я встрѣтилъ его въ собственныхъ уже блестящихъ эполетахъ флотскаго офицера. Странное совпаденіе!»

«На другой день школьный сторожъ, взявъ въ сѣняхъ швабру и собираясь подмести полъ, нашелъ подъ ней эполеты. О. О. отдалъ ихъ торжествующему владѣльцу, но заявилъ, что это его не удовлетворяетъ, и что онъ настаиваетъ на своемъ требованіи. Кончились классныя занятія, Оед. Оед. пригласилъ насъ наверхъ—въ мезонинъ дома, гдѣ помѣщалась школа. Въ мезонинѣ было двѣ комнаты: довольно большая, гдѣ мы собрались, и маленькая комнатка О. О., съ дверью изъ первой. Придя съ нами наверхъ, онъ рѣшительно объявилъ, что желаетъ съ нами проститься, покидая школу. Трудно представить, что тутъ произошло! Плачь, рыданія, слезныя просьбы; обнимали его ноги, хватали за фалды сюртука, и т. п. Растроганный до слезъ (пишу объ этомъ черезъ 30 слишкомъ лѣтъ и..., ей Богу, слеза прошибаетъ), Оед. Оед. кое-какъ успокоилъ насъ и сказалъ: «ну, дѣтюши, если ужъ вамъ такъ жалко со мной разстаться,—вотъ вамъ послѣдняя проба: я сяду въ своей комнатѣ, а вы всѣ, по алфавиту, приходите ко мнѣ; я пропущу *всѣхъ до послѣдняго*, и даю вамъ слово, что никто не узнаетъ, о чемъ я съ вами говорилъ». Всѣ притихли,—явилась надежда! Спрашивается, почему никому изъ догадывавшихся не пришло въ голову обратиться къ виновнику и

просить его сознаться? А потому, что, не смотря на разношерстность по лѣтамъ, званіямъ и состояніямъ, всѣ чували, что этимъ можно было испортить дѣло: съ одной стороны не таково было желаніе Оед. Оед.,—мы это отлично понимали,—а съ другой—боязнь, что, если человѣкъ на предъявленное ему прямо обвиненіе запрется, то ужъ сознанія потомъ не добьешься.

Пока ходили по-одиночкѣ на исповѣдь, многіе изъ ожидавшихъ очереди попритихли, даже повеселѣли; другіе же, и въ числѣ ихъ авторъ этихъ строкъ, продолжали всхлипывать. Въ кабинетъ Оед. Оед. шелъ я съ какимъ-то непонятнымъ замирапіемъ сердца, — совсѣмъ вѣдь былъ я непричастенъ къ дѣлу, а все-таки чего-то страшно было! Такъ какъ виноватый уже побывалъ въ кабинетѣ и свое дѣло сдѣлалъ, то допросъ былъ очень короткій, и, вѣроятно, только для вида, чтобы по кратковременности пріема не догадались, что дѣло сдѣлано: «Вы это сдѣлали?»—Нѣтъ.—«Ну, а если представился-бы въ будущемъ такой случай, сдѣлали-бы?» — Нѣтъ.—«Даете мнѣ слово?»—Даю.—«Ну, идите съ Богомъ!» такъ пропущены были всѣ до послѣдняго.

Когда Оед. Оед. вышелъ къ намъ и сказалъ, что изъ разговоровъ наединѣ убѣдился, что его дѣтужи ничего отъ него не скрываютъ, и что въ другой разъ подобной исторіи не случится, а потому онъ остается,—поднялся гвалтъ ликованія. То плакали съ горя, а тутъ принялись плакать съ радости. Продолжалась эта исторія до полуночи. Нѣкоторые

изъ учениковъ (и я въ томъ числѣ) отъ волненія и слезъ такъ разгорѣлись, что Оед. Оед. не рѣшился отпустить насъ по домамъ, а уложилъ тутъ-же въ повалку, на чемъ пришлось; по домамъ-же послалъ сторожа предупредить, чтобъ не беспокоились.

Помню еще одинъ случай, когда Оед. Оед. былъ сильно огорченъ и озабоченъ. Не знаю, поймалъ-ли онъ кого, или по лицу прочелъ, но однажды онъ собралъ всѣхъ въ классъ, и, усѣвшись, со строгимъ и озабоченнымъ видомъ началъ говорить,—передъ нимъ лежало штукъ пять-шесть какихъ-то книгъ. Началъ онъ съ того, что бываютъ мальчики, которые тайкомъ предаются нѣкому вредному пороку, и, хотя онъ не имѣетъ основаній предполагать, что порокъ этотъ проникъ въ его школу, но считаетъ долгомъ, въ предупрежденіе насъ, побесѣдовать по этому вопросу. Затѣмъ Оед. Оед. сталъ читать выдержки изъ принесенныхъ книгъ, поясняя прочитанное. Признаться откровенно, я въ то время ровно ничего не понималъ, такъ какъ не зналъ, о чемъ идетъ рѣчь. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, по огорченному и серьезному лицу Оед. Оед., я понималъ, что онъ что-то знаетъ, или подозрѣваетъ. Мысль о томъ, не подозрѣваетъ-ли онъ и меня въ чемъ-то порочномъ, предосудительномъ, бросала въ жаръ, и помню, какъ я старался поймать глазами его взглядъ и выдерживать его, не сморгнувъ возможно дольше,—объясняю себѣ это стремленіе тѣмъ, что, спрашивая о чемъ-нибудь, Оед. Оед. говорилъ иногда: «а ну, посмотрите-ка мнѣ прямо въ глаза!» Не знаю, произвела-ли лекція воздѣйствіе, на кого слѣдуетъ, но читалась она съ та-

кою убѣдительною, что, какъ я уже сказалъ выше, и неповинныхъ страхъ бралъ.

Какъ упоминалъ я выше, большинство учениковъ не торопилось разбѣгаться по окончаніи уроковъ,—какъ-то жалко было разставаться со школой. Это время посвящалось, обыкновенно, библіотечному шкафу. Библіотека у насъ была, хотя и немудренъкая по наружному виду и числу книгъ, большинство которыхъ, если не всѣ, были пожертвованы, или отданы въ школу для пользованія учредителями и учителями, но подборъ книгъ былъ, разумѣется, образцовый. Оед. Оед., стоя у шкафа, всегда самъ выдавалъ и мѣнялъ книжки. Иногда онъ и торговался,—попросить у него кто-нибудь извѣстную книгу, а онъ предлагаетъ другую—полегче; если тотъ унирается,—дастъ, но пригрозить,—смотрите, молъ, я вѣдь спрошу потомъ, что вы прочли. Иной разъ и страшно станетъ получившему книжку (самъ испытывалъ), да ужъ поздно—отступать стыдно; ну, и стараешься читать такъ, чтобъ мимо глазъ ничего не проходило. Читали больше родное: Пушкина,—любимыми были изъ стихотвореній «Сказка о рыбацкѣ и рыбкѣ», а изъ прозы «Капитанская дочка»; изъ сочиненій Гоголя—нравились больше всего: «Вечера на хуторѣ», «Женитьба», и «Ревизоръ»; Толстаго—«Дѣтство и отрочество»; читали кое-что и изъ Лермонтова, Жуковскаго, Кольцова, Григоровича и др.—все по выбору и указанію Оед. Оед. Резенера. Въ свободные, за неприбытіемъ учителя, часы читали намъ вслухъ. Сильно любили мы комедіи Островскаго; ихъ заставляли насъ читать, распредѣливъ между нами роли;—

отлично помню, какъ я старался надъ чтеніемъ Липочки изъ «Свои люди сочтемся».

«Объ отношеніяхъ учителей къ ученикамъ спеціально говорить не буду: отношенія къ намъ Ѳед. Ѳед. Резенера охарактеризованы и еще охарактеризуются, кажется, достаточно; а такъ какъ разницы въ этомъ отношеніи между нимъ и его сподвижниками быть не могло, то, значить, по примѣру Ѳед. Ѳед., можно судить и объ остальныхъ. Да, по правдѣ сказать, и память измѣняетъ: свѣтлая, святая личность Ѳ. Ѳ. Резенера какъ-то заслоняетъ остальное. Матушка, помогая мнѣ возстановить въ памяти далекое прошлое, рассказываетъ, что, когда обстоятельства заставили насъ переѣхать на Петербургскую сторону, я, несмотря на страшные концы, которые приходилось ежедневно дѣлать (школа въ 16 линіи Вас. Острова), не только не хотѣлъ совсѣмъ отстать отъ школы, но не поддавался увѣщаніямъ пробыть вечеръ дома даже въ сильные морозы. Въ школу походъ я совершалъ одинъ; оттуда же приходилось меня провожать, для чего матушка или сама приходила, или присылала жившую съ нами мою тетю. Но продолжалось это недолго: одинъ изъ учителей, узнавъ о путешествіяхъ нашихъ, предложилъ матери не беспокоиться и не ходить за мною, и самъ сталъ провожать меня до дому (онъ жилъ также на Петербургской сторонѣ); когда-же, въ сильные морозы, Ѳед. Ѳед. оставлялъ меня ночевать, провожатый мой заходилъ ко мнѣ домой сказать, что я остался,—вотъ единичный, но хорошо иллюстрирующий отношенія къ намъ учителей, фактъ.

Насъ не покидали и тогда, когда всякій старается отбросить всё заботы и служебныя занятія и воспользоваться законнымъ отдыхомъ; объ зимы, которыя я пробылъ въ школѣ, на праздникахъ Рождества устраивалась въ школѣ елка. Насъ собирали, зажигали елку, устраивали разныя игры, причемъ, и учителя принимали участіе, и раздавали каждому на прощанье солидный свертокъ съ лакомствами,— все это на собранныя между учителями и пожертвованныя деньги, ибо никакихъ опредѣленныхъ средствъ школа не имѣла и субсидій ни откуда не получала».

«И на лѣто Ѳед. Ѳед. не оставлялъ насъ безъ надзора,—не могъ онъ допустить, чтобы мы все лѣто оставались внѣ его вліянія; слѣдуя шагъ за шагомъ за умственнымъ и нравственнымъ нашимъ развитіемъ, онъ и вообще не упускалъ случая справиться у родныхъ о нашемъ поведеніи дома. Какъ отпущенныхъ въ «запасъ арміи» воиновъ собираютъ въ учебныя сборы, чтобы посмотрѣть, не забыли ли они чего, такъ и Ѳед. Ѳед. Резенеръ нѣсколько разъ въ лѣто собиралъ свою армію; помогалъ ему всегда въ этомъ А. Я. Гердъ. Экскурсіи устраивались двоякаго рода: увеселительно-образовательнаго характера и чисто-образовательнаго, хотя веселье неизбежно соединялось и съ послѣдними. Для первыхъ избирались острова: Петровскій, Крестовскій и Елагинъ. Подъ предводительствомъ Ѳ. Ѳ. и А. Я. шествовали мы туда съ ранняго утра. Забирались съ собою книжки и таблицы для опредѣленія видовъ растений и животныхъ. По пути собирали растенія, насѣкомыхъ и налавливали въ попадавшихся прудахъ и

и канавахъ головастикавъ, плавунцовъ и инфузорій, чтобы разсматривать послѣднихъ подъ микроскопомъ. Дойдя до Елагина острова, разбивались на два равныхъ отряда, запасались еловыми шишками, и, подъ командой кого-либо изъ учителей, устраивали примѣрное сраженіе; получившій рану шишкою выбывалъ изъ строя, и когда въ одной изъ армій являлся значительный перевѣсъ, другая обращалась въ бѣгство, что и знаменовало собой побѣду; во время отступленія были и военнопленные. Послѣ этого, невѣдомо откуда, появлялись горшки съ молокомъ и караваи черного и бѣлаго хлѣба. Побѣдители и побѣжденные, скучившись въ общій лагерь, съ аппетитомъ уничтожали все это, а затѣмъ пускались въ обратный путь по домамъ».

«Второго рода экскурсіи предпринимались, или пѣшкомъ въ Чекуши, или на пароходѣ въ «Александровскую мануфактуру»—такъ называлось въ то время село, или просто группа разныхъ заводовъ и фабрикъ на берегу Невы. За день успѣвали осмотрѣть два-три завода, или фабрики. Осмотръ производился въ порядкѣ постепеннаго производства; подробныя объясненія давались Фед. Федоровичемъ и Ал. Яковлевичемъ, при помощи командированнаго заводомъ проводника. Такимъ образомъ, были осмотрѣны производства: чугунно-литейное, желѣзно-дѣлательное, котельное и сборочное (на заводѣ Макферзена въ Чекушахъ); ткацкое, бумаго-прядильное и ситценабивное (послѣднее на фабрикѣ Лютша въ Чекушахъ, а первые два въ Александровской мануфактурѣ); коженное на заводѣ Брусницыныхъ въ Чекушахъ;

писчебумажное въ Алекс. мануфактурѣ. Въ селѣ Ивановскомъ помню чудный, веселый завтракъ на берегу Невы, состоявшій изъ чернаго хлѣба и свѣжихъ огурцовъ. Тутъ осматривали кирпичное производство, — были и на фарфоровомъ и на стеклянномъ заводахъ».

«Много заводовъ и фабрикъ приходилось мнѣ осматривать и впослѣдствіи; но то, что было осмотрѣно съ Оед. Оедор., навсегда врѣзалось въ память, и позднѣшніе осмотры были лишь повтореніемъ пройденнаго».

«Пробылъ я въ школѣ зиму 1860—61 г. и зиму 1861—62 г. Лѣтомъ 1861 г. принималъ участіе въ вышеозначенныхъ экскурсіяхъ, лѣтомъ 1862 г. также, и отчасти готовился въ гимназію, куда поступилъ осенью 1862 г.».

«Узнавъ весною 1862 г. о предстоящемъ открытіи 7-й С.-Петербургской гимназіи, О. О. Резенеръ вызвалъ письмомъ мою мать и предложилъ, — не пожелаетъ ли она, чтобъ меня приготовили къ поступленію въ гимназію. Въ принципѣ моя мать не была противъ этого предложенія; — отецъ, тотъ высказалъ — «и зачѣмъ это гимназія? — учили насъ на мѣдные гроши, а живемъ славу Богу», и т. п. — но ее, конечно, пугала денежная сторона дѣла: плата за ученіе, книги, форменная одежда и пр. Она и сказала Оед. Оед. свое опасеніе, что средствъ на это не хватитъ. Тотъ ее старался обнадежить, указывая на то, что хорошихъ учениковъ освобождаютъ отъ платы за ученіе, и даже принимаютъ иногда на казенный счетъ пенсіонерами; что я буду хорошимъ

ученикомъ,—и бояться за меня нечего—и въ концѣ концовъ уговорилъ. Какъ меня подготовляли къ гимназіи, я положительно не помню; полагаю, что выдержалъ я легко экзаменъ во второй классъ и принять былъ въ первый по малолѣтству (мнѣ только что минуло 10 лѣтъ). Это сильно огорчило мое самолюбіе, и, какъ рассказываетъ мать, я плакалъ горькими слезами, вернувшись съ экзаменовъ: мнѣ обидно было «проходить» то, что мнѣ было уже извѣстно. Водилъ насъ на экзаменъ самъ Оед. Оед. Говорю «насъ», ибо я былъ не одинъ: изъ школьныхъ товарищей, бывшихъ со мною въ гимназіи, помню Новикова (перешедшаго впоследствии въ техническое училище Морскаго Вѣдомства), Кондратьева, Копытова (переведеннаго въ Морской Корпусъ, или штурманское училище — не помню), Коммисарова (умершаго еще въ 3-мъ классѣ) и Иванова — неудачника Василеостровской школы, не смотря на то, что онъ жилъ при школѣ, и Оед. Оед. особенно возился съ нимъ».

«Въ то время я не сознавалъ этого, и Оед. Оед. тщательно скрывалъ это отъ меня, —но теперь я не сомнѣваюсь, что все время, пока я былъ въ гимназіи, О. О. былъ ангеломъ-хранителемъ моимъ, а значить, и другихъ моихъ товарищей. Начальство гимназіи, особенно же покойный, незабвенный, Владимиръ Оедоровичъ Эвальдъ, сразу обратило на меня вниманіе и до конца курса не лишало его меня. Отъ платы за ученіе я былъ освобожденъ съ перваго же года, а перейдя во второй классъ, получилъ полный комплектъ учебниковъ и пособій; когда былъ въ

третьемъ, матери предложили на выборъ: получать стипендію для содержанія меня дома, или же отдать на полный пенсіонъ въ гимназію;—избрали, по моему желанію, второе, и я до конца курса былъ казенно-коштнымъ пенсіонеромъ. Ни я самъ, ни мои родители никогда о чемъ-либо подобномъ не просили; правъ по происхожденію или по заслугамъ родителя никакихъ я не имѣлъ,—откуда-же шла ко мнѣ эта благодать, какъ не черезъ *Θ. Θ. Резенера?*

«Со школою, какъ учрежденіемъ, я, по поступленіи въ гимназію, связи не сохранилъ; но съ *Θ. Θ.* — душою и олицетвореніемъ школы, связь эта продолжалась до полного моего вступленія въ жизнь, т.-е. до окончанія курса въ Институтъ инженеровъ путей сообщенія и женитьбы. Она продолжалась бы и до самой смерти моего благодѣтеля, если-бы служба не забросила меня на 6 лѣтъ на далекій Уралъ. Будучи въ гимназіи, я по праздникамъ забѣгалъ къ *Θед. Θед.*, бесѣдовалъ съ нимъ, получалъ книжки для прочтенія и въ подарокъ; — три тома «Чтенія для юношества», переплетенные въ гимназіи собственноручно (у насъ была своя мастерская) хранятся въ моей библіотекѣ и сейчасъ. Удивляюсь, какъ я не сообразилъ тогда, что *Θед. Θед.* извѣстенъ чуть не каждый мой шагъ въ гимназіи, что онъ неотлучно преслѣдуетъ свою цѣль—вывести меня въ люди! Будучи студентомъ, я не прекратилъ своихъ посѣщеній *Θ. Θ.*, хотя случалось это рѣже, и всегда признавалъ его безапелляціоннымъ совѣтникомъ въ трудныхъ вопросахъ жизни. Давая уроки и поддерживая ими (кромѣ получавшейся стипендіи) себя и

семью, я во всѣхъ сомнительныхъ по педагогіи вопросахъ прибѣгалъ къ помощи его».

«Рѣшивъ, по окончаніи курса, жениться на любимой дѣвушкѣ, я одному изъ первыхъ сообщилъ объ этомъ Фед. Фед. Въ день свадьбы, онъ пришелъ ко мнѣ на квартиру и самъ благословилъ меня подъ вѣнецъ. Заходилъ онъ къ намъ и послѣ свадьбы, взглянуть на нашъ семейный очагъ».

«Вспоминая о далекомъ прошломъ, я невольно задаю себѣ вопросъ:—чѣмъ въ моей жизни была Василеостровская школа и нераздѣльно связанная съ нею личность О. О. Резенера?—и смѣло могу отвѣтить — всѣмъ! Всею жизнью, съ духовной, нравственной и общественной ея стороны, я обязанъ школѣ и ея дѣятелямъ. Конечно, я и самъ рано созналъ, что все мое будущее всецѣло зависитъ отъ моего личнаго усердія; но сознаніе это пришло лишь тогда, когда мнѣ данъ былъ толчокъ, когда я былъ поставленъ на твердую дорогу. Съ другой стороны, я и самородкомъ особеннымъ не былъ, и посейчасъ ничѣмъ не выдѣляюсь изъ средняго уровня обыкновенныхъ людей; но, во всякомъ случаѣ, все мое существо проникнуто мыслью, что, не попади я случайно въ Василеостровскую школу и не направъ она меня на путь образованія, никогда бы не выйти мнѣ изъ той среды, въ которой я былъ рожденъ—среди темной, озабоченной лишь однимъ добываніемъ, въ потѣ лица, своего куса насущнаго хлѣба».

«Пусть-же это сознаніе, которое, я увѣренъ въ этомъ, сохраню до конца дней моихъ, послужить нравственнымъ удовлетвореніемъ тѣмъ безкорыст-

нымъ учредителямъ и учителямъ Василеостровской школы, которымъ суждено было пережить свѣтлую личность ихъ коновода, Ѳед. Ѳед. Резенера—вѣчная ему память!»

«Доказать всею своею жизнью, что доброе сѣмя упало на благодарную почву, провести черезъ всю свою служебную и общественную дѣятельность принципы, внушенные Василеостровскою школою, сѣять, по мѣрѣ возможности и силъ, самому тѣ-же сѣмена, которыя сѣяли Ѳед. Ѳед. и его сотрудники и передать ихъ въ потомство,—вотъ единственный способъ поблагодарить моихъ учителей».

Въ виду того, что читатель, можетъ быть, поинтересуется дальнѣйшею судьбою главнаго организатора Василеостровской школы, Ѳ. Ѳ. Резенера, скажу нѣсколько словъ о важнѣйшихъ событіяхъ его жизни по закрытіи школы.

Еще раньше, въ сентябрѣ 1864 г., приглашенъ былъ Резенеръ на службу воспитателемъ въ только-что открывшуюся 1-ую Петербургскую военную гимназію, преобразованную, на новыхъ гуманныхъ и педагогическихъ началахъ, изъ 1-го Кадетскаго корпуса.

Страстно преданный своей педагогической системѣ, построенной на полной непринудительности въ смыслѣ ученія и отсутствія всякихъ наказаній — системѣ, такъ успѣшно примѣненной въ школѣ, онъ не захотѣлъ дать своего согласія принять мѣсто ранѣе, чѣмъ система эта будетъ обсуждена и принята на Педагогическомъ совѣтѣ. Былъ собранъ совѣтъ изъ всѣхъ учителей и воспитателей гимназій, и тезисы Резенера подверглись всестороннему обсужденію,

возбудивъ цѣлую массу возраженій и осужденій, якобы за полную ихъ непримѣнимость, и даже, какъ казалось нѣкоторымъ, за положительный вредъ отъ введенія въ гимназію подобной воспитательной системы. Увидѣвъ, что убѣжденія и взгляды большинства учителей и воспитателей, а также и самаго начальства, слишкомъ расходятся съ его задушевными педагогическими убѣжденіями, Резенеръ тутъ же рѣшительно и категорически отказался отъ предложеннаго мѣста и снова отдался школѣ и журналу «Учитель». Это многочисленное засѣданіе болѣе, чѣмъ съ 60-ю официальными педагогами, гдѣ Резенеръ блестяще излагалъ свою систему и шагъ за шагомъ разбивалъ своей неумолимой логикой доводы противниковъ, было настоящимъ его торжествомъ, хотя и не приведшимъ къ введенію системы въ новое учебное заведеніе, но имѣвшимъ несомнѣнное вліяніе на весь воспитательный духъ его, по крайней мѣрѣ, въ первые годы существованія гимназій.

Съ закрытіемъ училища, Резенеръ почти исключительно обратился къ литературѣ и, принимая по прежнему дѣятельное участіе въ журналѣ «Учитель», котораго одно время былъ онъ редакторомъ, онъ издавалъ, кромѣ того, особое приложеніе къ журналу: «Чтеніе для юношества», первый томъ котораго носящій названіе: «Что окружаетъ насъ?» принадлежитъ къ числу лучшихъ книгъ для дѣтскаго чтенія, и также переводилъ много полезныхъ книгъ по научной и педагогической литературѣ. Напр., *Логику Милля*, *Картины растительности*, *Рос-меслера* и др.

Но повѣяло въ обществѣ инымъ духомъ: вопросы педагогическіе были отодвинуты назадъ; долженъ былъ, наконецъ, прекратиться и лучший изъ русскихъ педагогическихъ журналовъ «Учитель», и Резенеръ на нѣсколько лѣтъ какъ-бы сходитъ съ педагогическаго поприща. Разочарованный въ своихъ лучшихъ надеждахъ на процвѣтаніе у насъ педагогическаго дѣла, видя вокругъ все большее и большее равнодушіе общества ко всѣмъ умственнымъ интересамъ, онъ, кажется, въ первый разъ въ жизни, опустилъ голову и съ горечью говорилъ близкимъ людямъ о томъ, по какому скользкому пути пошло это общество, еще недавно, повидимому, такъ горячо преданное интересамъ разумаго просвѣщенія...

Въ это тяжелое время, когда опять пришлось Резенеру страдать, и матеріально, и нравственно, сталъ онъ дѣлаться все угрюмѣе и раздражительнѣе; пошатнулось и здоровье его; но натура эта была желѣзная и сберегла его еще для новаго труднаго дѣла.

Въ 1869 г. основалось въ Петербургѣ «Общество для устройства въ Россіи земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ для малолѣтнихъ преступниковъ и бродячихъ мальчиковъ».

Намѣтивъ въ Резенерѣ будущаго директора такого, имѣющаго открыться, заведенія, «Комитетъ общества» предложилъ ему отправиться за границу съ цѣлью изучить на мѣстѣ способы исправленія порочныхъ дѣтей. Онъ подробно изучилъ исправительныя заведенія прусскія, саксонскія, бельгійскія, голландскія и виртембергскія, и, по возвращеніи въ

концѣ 1870 г. въ Петербургѣ, представилъ замѣчательный отчетъ о своемъ путешествіи, тогда-же напечатанный въ «Вѣстникѣ Европы». Въ іюнѣ 1871 г. онъ занялъ должность директора ремесленного пріюта, а его бывшій сотрудникъ по Василеостровскому училищу, А. Я. Гердъ, — директора земледѣльской колоніи, помѣщавшейся рядомъ съ пріютомъ, за Пороховыми заводами, въ глухой, отдаленной отъ Петербурга на 14 верстѣ, мѣстности. Здѣсь дѣятельность покойнаго была, по-истинѣ, изумительная, и доходила до полного самоотверженія. Въ уставѣ заведенія былъ, между прочимъ, пунктъ, что однимъ изъ воспитательныхъ средствъ должно быть *личное вліяніе директора*. И Резенеръ, считая этотъ пунктъ наиболѣе священнымъ, жилъ буквально среди своихъ питомцевъ, не имѣя особой комнаты; одѣвался, какъ они, въ блузу, ѣлъ съ ними за однимъ столомъ, и ту-же грубую пищу, не пилъ чаю, пересталъ курить. Онъ работалъ съ ними буквально цѣлый день, отъ ранняго утра до ночи; а ночью, когда всѣ спали, подготавливался къ урокамъ слѣдующаго дня; былъ и воспитателемъ, и учителемъ, и работникомъ, и даже товарищемъ игръ и дальнихъ прогулокъ питомцевъ, которыя всегда сопровождалъ живыми разсказами изъ области естествознанія. Мало того, онъ и жалованье свое почти все тратилъ на нихъ-же, — этихъ порочныхъ отверженныхъ ребятишекъ, — покупая имъ книжки, лакомства и игрушки, чтобы хоть чѣмъ-нибудь потѣшить ихъ, вознаградить для нихъ отсутствіе близкихъ къ нимъ лицъ. И дѣти *любили* его, какъ отца, были откровенны съ нимъ,

и самый легкій его выговоръ считали величайшимъ для себя наказаніемъ.

«До и послѣ открытія колоніи,—пишетъ Г. Никитинъ,—я, въ качествѣ директора тюремнаго комитета, завѣдывалъ малолѣтнимъ отдѣленіемъ и близко зналъ воспитанниковъ, но, посѣщая колонію, я поражался быстрою переменною въ ихъ характерѣ, образѣ жизни и успѣхами въ наукахъ и ремеслахъ. Мы, члены комитета, не разъ ѣздили въ колонію учиться у Федора Федоровича, какъ быть съ маленькими сорванцами, и всегда выносили самое отрадное чувство».

Непосильные труды и лишенія, которымъ добровольно подвергалъ себя Резенеръ, а также и всякія непріятности, которыхъ встрѣчалъ онъ не мало въ своемъ, новомъ у насъ, дѣлѣ, разстроили сильно его здоровье, и онъ черезъ два года, къ крайнему своему сожалѣнію, оставилъ колонію. «Зная»—пишетъ Никитинъ,—«его плодотворное воздѣйствіе на умы и сердца малолѣтнихъ преступниковъ, его нѣсколько разъ (въ 1875—78 гг.) буквально упрашивалъ поступить въ воспитатели малолѣтняго отдѣленія, сперва тюремнаго замка, а потомъ Коломенской части, съ самыми широкими правами въ выборѣ себѣ трехъ-четырехъ помощниковъ для 50 мальчиковъ, и въ способѣ ихъ исправленія, съ жалованьемъ въ 3—4.000 руб. въ годъ, но онъ каждый разъ наотрѣзъ отказывался только потому, что считалъ *невозможнымъ перевоспитать ихъ въ тюремныхъ стѣнахъ*». И это было, прибавлю, именно въ то время, когда онъ нуждался въ средствахъ къ жизни до того, что не-

рѣдко голодалъ по цѣлымъ днямъ и не имѣлъ даже крѣпкой обуви и теплой одежды. Всегда полный чувства собственнаго достоинства до щепетильности, онъ никогда при этомъ не поступался своими убѣжденіями и не жаловался никому на свое положеніе.

За нѣсколько лѣтъ до смерти, Резенеръ былъ снова призванъ къ общественному педагогическому дѣлу:—его пригласили въ качествѣ старшаго воспитателя въ помѣщающійся на Выборгской сторонѣ пріютъ Тименкова и Фролова. Но это учебное заведеніе, на которое основателями былъ пожертвованъ чуть не миліонъ, устроенное по внѣшности на очень широкую ногу, не могло удовлетворить идеальнаго педагога и безупречно честнаго человѣка, какимъ былъ покойный. Управляемое нѣсколькими лицами изъ богатѣйшаго купечества, можетъ быть, людьми и доброжелательными, но незнакомыми съ педагогическимъ дѣломъ, оно не могло представить покойному того простора и свободы дѣйствій, безъ которыхъ это дѣло немыслимо, и, раздраженный, наконецъ, вмѣшательствомъ въ его воспитательную дѣятельность и неудовлетвореніемъ его разумныхъ требованій, Резенеръ вскорѣ оставилъ заведеніе, убѣдившись, что разумнаго воспитанія на тѣхъ гуманныхъ началахъ, въ которыя до конца жизни своей онъ вѣрилъ, здѣсь провести нельзя.

Не болѣе успѣшна была и другая кратковременная служба его учителемъ русскаго языка въ митавской гимназіи, куда призвалъ его бывший министръ народнаго просвѣщенія, г. Сабуровъ, рассчитывавшій со временемъ дать покойному, по праву

ему подобавшее, болѣе широкое, поле педагогической дѣятельности. Но тамъ встрѣтилъ Резенеръ такую распущенность и неурядицу, такое открыто враждебное къ нему отношеніе со стороны педагогическаго персонала, что черезъ два-три мѣсяца оставилъ и гимназію по невозможности вести дѣло хотя сколько-нибудь разумно и добросовѣстно.

Чтобы быть безпристрастнымъ, позволю себѣ привести здѣсь отрывокъ изъ записокъ одной близкой знакомой Резенера, А. Н. К—ной. Относясь съ величайшимъ уваженіемъ къ этому чловѣку, она въ то же время усматривала въ немъ и нѣкоторые недостатки.

«Я познакомилась съ О. О. Резенеромъ,—пишетъ г-жа А. К—на,—въ началѣ семидесятыхъ годовъ (1874 или 75 г.). Сестра моя пригласила его провести лѣто въ деревнѣ для занятій съ ея младшими дѣтьми, дѣвочкой лѣтъ 12 и мальчикомъ лѣтъ 10. Личность знаменитаго педагога, если не сразу привлекла меня (для такого пониманія людей я была еще слишкомъ молода и неразвита), то глубоко заинтересовала. За всей его внѣшней простотой и безыскусственностью чувствовалась честная, прямая натура, сильная и твердая воля. Первые дни прошли безъ занятій,—Резенеръ приглядывался къ намъ, къ дѣтямъ, къ обстановкѣ и характеру семьи. Черезъ недѣлю наша деревенская жизнь вошла въ свою обычную колею: утро проходило въ ученѣхъ, вечеромъ затѣвались игры на чистомъ воздухѣ, прогулки, катанье на лодкѣ. Со старшимъ сыномъ сестры Резенеръ вовсе, какъ казалось, не занимался;

даже не имѣлъ на него вліянія. Умный, бойкій мальчикъ,—ему было около 14 лѣтъ,—развитой не по лѣтамъ, вообще неохотно подчинялся какому-бы то ни было авторитету. Резенеръ даже какъ будто относился къ нему враждебно, глубоко возмущался задорными выходками подростка, называлъ его «толстокожимъ». Когда я говорила ему, что всѣ эти недостатки свойственны этому возрасту, что, при хорошемъ вліяніи семьи, всѣ они могутъ сгладиться, онъ только удивлялся моей снисходительности и называлъ меня баловницей. Младшія дѣти скоро привязались къ нему и относились съ полной довѣрчивостью. Но въ обращеніи съ ними проглядывала у него какая-то дѣланная слащавость, которая мѣшала дѣлу, и даже, какъ мнѣ казалось, раздражала дѣтей. Наши дѣтишки привыкли къ полной самостоятельности и независимости; и мать ихъ, и я, мы постоянно старались относиться къ нимъ, какъ равныя къ равнымъ, и даже въ ранніе годы ихъ дѣтства не обращались съ ними, какъ съ маленькими. Выраженія: «голубонька», «милочекъ», которыми О. О. пересыпалъ свою рѣчь, скоро имъ надоѣли и казались приторными и скучными. Меня тоже всегда отталкивала неестественность его мягкости. Мнѣ всегда казалось, что она выработана долгой ломкой, рождена не чувствомъ, а умомъ. Я чуяла въ Резенерѣ человѣка съ сильной душой, съ развитой индивидуальностью; мнѣ представлялось, что въ минувшіе вѣка онъ былъ бы Кальвиномъ, Саванаролой, а никакъ не Меланхтономъ, или Спинозой. Когда онъ высказывалъ свои убѣжденія, вся его кротость

исчезала; въ рѣчи его, въ выраженіи лица, въ жестахъ скорѣе выказывалась рѣзкость, даже жесткость. Но онъ тотчасъ-же «бралъ себя въ руки», какъ онъ выражался, и опять принималъ привычный ему, ненатуральный, тонъ.

Во время уроковъ, на которыхъ я присутствовала для собственной пользы, я была поражена той свободой, которую онъ допускалъ въ дѣтяхъ. Онъ какъ будто вовсе не признавалъ школьной дисциплины, которая мнѣ казалась условіемъ *sine qua non*,—при сколько-нибудь серьезныхъ занятіяхъ. Дѣти сидѣли какъ попало, развалились въ креслахъ или забравшись съ ногами на диванъ. Они приносили съ собой карманы, набитые огурцами, горохомъ, морковью и другими продуктами огорода: всю эту благодать они грызли тутъ-же, за урокомъ, во время объяснительнаго чтенія. Дѣвочка смотрѣла по сторонамъ, подбѣгала къ периламъ веранды, на которой происходили занятія; мальчикъ, очень разсѣянный и немного лѣнивый, слѣдилъ за движеніями сестры или тупо смотрѣлъ передъ собой, думая обо всемъ, о чемъ угодно, но не о томъ, что говорилъ учитель. Иногда я забывала, что вмѣшиваться въ преподаваніе такого педагога, какъ Резенеръ, непροстительная безтактность, и начинала бранить нашихъ шалуновъ. Мои замѣчанія вызывали снисходительную улыбку на лицѣ Резенера; порядокъ водворялся, но ненадолго». Результатомъ такой системы явилось то, что дѣти не особенно много вынесли изъ превосходнаго преподаванія Резенера».

Но, по свидѣтельству того-же лица, занятія

Θ. Θ-ча съ деревенскими ребятами представляли иные результаты.

«Въ срединѣ лѣта Резенеръ устроилъ небольшую школу для крестьянскихъ дѣтей. Къ намъ въ усадьбу ежедневно приходило 6 — 7 мальчиковъ изъ сосѣднихъ деревень: преподавали мы, т.-е. дѣти и я, подъ руководствомъ Θ. Θ. Моимъ племянникамъ и племянницамъ это дѣло скоро прискучило, и я одна занималась съ ребятами. На крестьянскихъ дѣтей обращеніе «дядюшки Θедора» дѣйствовало вполнѣ благотворно. Они не разбирали, дѣланная или натуральная его мягкость и ласковость: онѣ составляли такой контрастъ съ привычной для нихъ грубостью, что положительно оживляли ихъ. Наши школьники дѣлали огромные успѣхи: въ 6 недѣль они выучились читать, писать и усвоили себѣ 4 правила ариметики (конечно, надъ числами не выше 100). Басни Крылова они объясняли очень толково и увлекались этими объясненіями. Послѣ уроковъ они нерѣдко играли въ лапту и другія игры, въ которыхъ «дяденька Θедоръ» принималъ горячее участіе.

Вообще Резенеръ, вѣроятно, никогда долго не жившій въ деревнѣ, очень увлекался ею и ея обитателями. Ему казалось, что онъ попалъ въ буколическую страну, гдѣ процвѣтаютъ однѣ добродѣтели, и нѣтъ пороковъ. Когда-же ему случалось наталкиваться на явленія, далеко неутѣшительныя, онъ относился къ нимъ рѣзко и нетерпимо. Насколько я могу судить, именно это отсутствіе гибкости, умѣнья, или, скорѣе, желанія примѣняться къ особенностямъ другихъ людей, мѣшали ему и въ его дѣятельности въ

колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ, и въ пріютѣ Фролова и Тименкова».

Въ послѣдніе два года своей жизни онъ уже сильно сталъ слабѣть здоровьемъ: труды, потрясенія нравственныя, лишенія матеріальныя, сдѣлали изъ него точно совсѣмъ другого человѣка; онъ посѣдѣлъ, осунулся, все чаще и чаще задумывался, сталъ какъ-то угрюмъ и мраченъ; желѣзная энергія его какъ-будто пошатнулася; близкія къ нему лица стали замѣчать въ немъ что-то странное... Но и за это время онъ все-таки продолжалъ писать, и въ журналахъ «Женское Образованіе» и «Дѣтское чтеніе» появлялись время отъ времени его переводныя или компилятивныя работы.

За нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, онъ получилъ мѣсто преподавателя педагогики въ Тверской Учительской Женской семинаріи, устроенной г. Максимовичемъ. Немногіе близкіе къ нему люди порадовались за него, рассчитывая, что вполне обеспеченное положеніе и спокойная дѣятельность по душѣ возстановятъ упадающія силы и ободрятъ духъ покойнаго; но уже было поздно. Въ маѣ 1881 г. пришла вѣсть, что у Резенера открылась душевная болѣзнь, принявшая размѣры до того серьезные, что больнаго должны были привезти въ Петербургъ и помѣстить въ Удѣльную больницу, гдѣ доктора объявили болѣзнь неизлѣчимою... 25 августа 1881 г. Ѳ. Ѳ. Резенеръ скончался 56 лѣтъ отъ роду, и 28 августа немногіе близкіе къ нему люди схоронили его на Парголовокомъ кладбищѣ.

VI.

Переходный періодъ 1862—1864 гг. — Частные уроки: сенаторскіе; у А. К. Гирса и В. Н. Латкина. — Мои занятія для подготовки къ урокамъ и для учительской дѣятельности вообще. — Увлеченіе народной литературой. — П. И. Якушкинъ и Ф. Г. Толль. — Двѣ мои первыя взрослые ученицы. — Первый опытъ официальной педагогической дѣятельности: пансіонъ В. В. Швидковской. — Попытки поступить на государственную службу. — А. С. Вороновъ и директриса Смольнаго Института — Леонтьева. — Журнальная дѣятельность въ «Библіотекѣ для чтенія» П. Д. Боборыкина. — Устройство библіотеки В. К. Макалинской и приглашеніе меня учителемъ въ 1864 г. въ I военную гимназію.

Прежде, чѣмъ перейти къ моей казенной службѣ, что воспослѣдовало только въ Августѣ 1864 г., скажу о томъ, такъ сказать, переходномъ, подготовительномъ, двухлѣтнемъ періодѣ (1862—1864), который этой службѣ предшествовалъ.

Еще съ 3-го курса, (1860 г.), благодаря рекомендаціи А. В. Никитенко, десятилѣтняго сына котораго подготавливалъ я къ гимназіи, сталъ я давать уроки словесности двумъ дочерямъ сенатора Катакази, а черезъ товарища моего по университету и Василеостровской школѣ, А. Я. Герда, и дочери извѣстнаго золотопромышленника В. Н. Латкина, по уму и образованію одного изъ выдающихся тогдашнихъ

сибирскихъ дѣтелей. На сенаторскихъ урокахъ присутствовала всегда англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по русски; дочь Латкина слушала меня, помнится, вмѣстѣ со своей молоденькой родственницей, и особаго надзора за нами не было. Передъ первымъ урокомъ сенаторъ пригласилъ меня къ себѣ въ кабинетъ, уставленный книжными шкафами съ бюстомъ Гомера, и, указавъ пальцемъ на бюстъ, спросилъ:—Кто это такой, и что вы о немъ думаете? Мой краткій отвѣтъ, что Гомера я очень люблю, повидимому, удовлетворилъ генерала, и, не вступая со мной въ дальнѣйшія пренія, онъ лаконически пригласилъ меня идти въ классъ, не считая нужнымъ ознакомиться болѣе съ двадцатилѣтнимъ студентомъ—наставникомъ его молоденькой дочери. Василий Николаевичъ Латкинъ, представительный, красивый, сѣдой старикъ съ львиной головой и шевелюрой,—напротивъ, — долго говорилъ со мной о Пушкинѣ, Гоголѣ, Бѣлинскомъ, высказавъ желаніе, чтобы мнѣ удалось заставить его любимую дочь полюбить литературу. Такъ начались у меня уроки словесности, къ которымъ относился я съ величайшимъ благоговѣніемъ, видя въ этихъ занятіяхъ съ барышнями настоящую просвѣтительную миссію, къ которой, въ своихъ юношескихъ мечтахъ, считалъ себя призваннымъ. Еще раньше, кромѣ Василеостровской школы, давалъ я еще уроки русскаго языка двумъ сыновьямъ (12 и 14 л.) родственника моего товарища, Сперанскаго, — Александра Карловича Гирса, и до сихъ поръ сохраняю самое теплое воспоминаніе объ этихъ славныхъ мальчикахъ, ихъ гуманномъ и просвѣщен-

номъ семействѣ и ихъ гувернерѣ-французѣ, основательно и съ любовью ихъ воспитывавшемъ. Какъ именно шли мои первые уроки словесности,—теперь уже не припомню; но помню одно, что первыми руководствами моими были сохранившіеся еще отъ гимназіи конспекты Стоюнина и, отчасти, записанныя за Никитенко, импровизаціи — анализы произведеній; подкладкою же всего курса, критеріумомъ оцѣнки писателей, былъ Бѣлинскій, сочиненія котораго, по мѣрѣ ихъ выхода въ свѣтъ отдѣльными томами, я основательно перечиталъ всѣ сплошь, составляя конспекты наиболѣе важныхъ статей и дѣлая множество выписокъ въ отдѣльныя тетради, которыя веду для записей и до сихъ поръ, тщательно сохраняя и всѣ прежнія, что не мало помогало мнѣ всегда и въ педагогическихъ, и въ литературныхъ занятіяхъ. Не знаю, какъ кому, но для меня, по крайней мѣрѣ, Бѣлинскій былъ въ юности не только цѣлою энциклопедіею эстетическихъ и литературныхъ знаній, но и настоящимъ руководителемъ въ образованіи большинства моихъ основныхъ понятій нравственныхъ, общественныхъ, педагогическихъ и патріотическихъ.—Этотъ же Бѣлинскій заставилъ мое сердце отзываться на все высокое и прекрасное, показывалъ мнѣ впереди вѣчный идеалъ истины, добра и красоты, и имѣлъ несомнѣнное вліяніе на самый способъ моего устнаго и письменнаго выраженія мыслей. Это, поистинѣ, — едва ли ни первый, и до сихъ поръ, по разнообразію содержанія и горячности убѣжденнаго изложенія, у насъ ни единственный наставникъ молодежи, не смотря на то, что многое

изъ него уже устарѣло и позднѣе болѣе полно и опредѣленно выражено другими писателями. Онъ ждетъ еще обстоятельной и всесторонней оцѣнки, послѣ которой останется отъ него все-таки еще очень много цѣннаго на поученіе слѣдующихъ поколѣній. Если ко всему указанному, какъ руководство при первыхъ моихъ шагахъ на поприщѣ словесности, прибавить знаніе любимѣйшихъ моихъ писателей, Пушкина, Гоголя и Лермонтова, которыхъ понимать научилъ меня тотъ-же Бѣлинскій, присоединить еще частыя бесѣды съ А. В. Никитенко, не оставлявшимъ меня своими совѣтами и указаніями, и его многочисленныя, любимыя, воспоминанія о русскихъ писателяхъ, изъ которыхъ очень многихъ зналъ онъ лично, — вотъ, кажется, и весь руководящій матеріалъ, съ которымъ выступилъ я на поприще учителя словесности на второмъ курсѣ университета. Знакомство съ произведеніями Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Крылова, съ жизнью и духомъ этихъ писателей, разборы и составленія сочиненій по содержанію различныхъ ихъ произведеній въ связи съ ихъ біографіями, изученіе хорошихъ стиховъ наизусть, по возможности, съ выразительнымъ произношеніемъ, которое слышалъ я въ дѣтствѣ у моего отца и дяди, и въ университетѣ у того же, Никитенко, красивая устная передача прочитаннаго, — вотъ что преслѣдовалъ я на первыхъ своихъ урокахъ, радуясь возбуждаемому въ ученикахъ и ученицахъ интересу и развивающейся въ нихъ любви къ живому слову и родному поэту.

Въ Сентябрѣ 1862 г., 22-хъ лѣтъ, выдержалъ я

экзаменъ на кандидата историко-филологическихъ наукъ во временной, Высочайше учрежденной при университетѣ, по причинѣ его закрытія, экзаменной Комиссіи, продолжая частныя педагогическія занятія, съ которыми одновременно всегда шли у меня и литературныя.

Чтобы не прерывать того, что сохранила память о моей тогдашней подготовкѣ къ урокамъ и вообще о моихъ занятіяхъ, не могу не сказать нѣсколькихъ словъ о появившихся тогда статьяхъ и книгахъ по словесности и литературѣ, имѣвшихъ на меня особенное вліяніе.

Въ первой главѣ воспоминаній я говорилъ уже о томъ, какъ жалко поставлено было у насъ въ гимназіяхъ преподаваніе словесности и литературы, единственными руководствами по которымъ были пресловутыя книжки Зеленецкаго: реторика, пѣтика и его же жалкая книжонка исторіи литературы. Правда, еще въ сороковыхъ годахъ, появилась первая живая книжка по исторіи русской литературы— *Очерки литературы*, А. Милюкова, но въ руководство нигдѣ принята она не была, такъ какъ считалась, по тогдашнему времени, либеральной; болѣе же свѣтлыя понятія о словесности, біографіяхъ писателей и приѣмахъ разбора почерпались учениками изъ особаго, третьяго, тома хрестоматіи А. Д. Галахова,— тома, состоявшаго изъ систематически-расположенныхъ примѣчаній къ хрестоматіи и краткихъ біографій авторовъ. Никакихъ иныхъ историческихъ пособій, или указаній для учителя словесности, не существовало вовсе. Первыми трудами въ этомъ родѣ,

въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, почти одновременно, появились во-первыхъ:—первый томъ *Исторіи русской словесности древней и новой*, А. Галахова, доведенный до Карамзина, и въ журналѣ *Учитель* опыты разборовъ нѣкоторыхъ произведеній русской словесности (Былины, лѣтописи, Мономахъ, Слово о Полку Игоревѣ) и *Методъ Эккардта разборовъ художественныхъ произведеній* съ образцовыми разборами балладъ и Макбета, — В. П. Скопина. Съ этихъ-то трудовъ и начинается у насъ разумная разработка методовъ словесности. Они-же даютъ основаніе и для выбора класснаго матеріала. Книга Галахова, при всѣхъ недостаткахъ въ первомъ изданіи, тогда же разобранномъ въ нѣсколькихъ журналахъ, дала матеріалъ для исторіи русской литературы; статьи же Скопина, осуждая схоластическое преподаваніе словесности и литературы, призывали къ изученію самыхъ произведеній литературы посредствомъ руководимыхъ преподавателемъ разборовъ самими учениками *). Около этого-же времени, въ журналѣ *Учитель*, печатались и статьи покойнаго В. И. Водовозова по народной русской литературѣ (сказки, былины, пѣсни и пр.), *По старой памяти какъ по грамотѣ*, вошедшія впоследствии въ его книгу *Древняя русская литература*, предназначенную, главнымъ образомъ, для учениковъ учительскихъ семинарій,—статьи очень живыя, про-

*) О любопытной личности В. П. Скопина скажу позже, когда буду говорить о моемъ съ нимъ знакомствѣ уже въ 1865—1866 годахъ.

никнутыя горячею любовью къ народу и его творчеству.

За этими піонерами методики словесности, въ 1862 или 1863 г., появилась замѣчательнѣйшая, остающаяся и до сихъ поръ единственной для всякаго преподавателя словесности, книга В. Я. Стоюнина *О преподаваніи литературы*, едва-ли не самый капитальный трудъ покойнаго. Книга Галахова давала только огромный складъ фактовъ, мало связанныхъ между собою идейно, причемъ мелкіе перемѣшивались съ болѣе крупными, затеривающимися въ подробностяхъ. Статьи Скопина только указывали путь преподаванія, подкрѣпляя положенія примѣрами, сказать правду, разобранными уже слишкомъ обстоятельно, детально. Водовозовъ пока ограничился статьями объ одной народной русской поэзіи. Книга Стоюнина шла дальше, и сразу предложила и весь классный матеріалъ, и цѣлый, опредѣленно поставленный и подробно разясненный, методъ, какъ для исторіи литературы, такъ и для словесности, почему Стоюнинъ справедливо и долженъ считаться основателемъ разумаго преподаванія въ Россіи словесности и литературы въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Книга его вызвана книгой Галахова, и представляетъ, въ первой (большей) своей части—идейный ея разборъ, но разборъ совершенно особый. Авторъ начинаетъ съ подробнаго выясненія самого понятія о литературѣ и ея исторіи, которую онъ понимаетъ, какъ исторію народныхъ и общественныхъ идеаловъ, и затѣмъ, основываясь на Исторіи Галахова, даетъ свой собственный цѣлый связный обзоръ

исторіи русской литературы до Петра Великаго включительно, рисуя послѣдовательно, на основаніи памятниковъ, идеалы князя, духовенства и царя, причемъ, даетъ не мало мѣста указаніямъ вліянія на нашу литературу аскетическаго и риторическаго византизма. Такого яркаго, дѣльнаго, обзора нашей древней письменности нѣтъ у насъ и до сихъ поръ, и это тѣмъ важнѣе, что, не только въ нѣкогда авторитетной славянофильской и елейной *Исторіи древней русской словесности*—Шевырева, построенной исключительно на условномъ пониманіи извѣстныхъ формулъ православія, самодержавія и народности, но и по настоящее даже время, въ статьяхъ и книгахъ по исторіи русской литературы проводятся иногда взгляды на нашу древнюю письменность, какъ на педагогическій матеріалъ весьма желательный, въ смыслѣ нравственномъ, и даже литературномъ, въ ущербъ изученію произведеній литературы новой. За этимъ связнымъ обзоромъ древней письменности, уже болѣе отрывочно, и прямо имѣя ввиду преподавателя, указываетъ Стоюнинъ все то, что, по его мнѣнію, слѣдуетъ взять для класснаго изученія XVIII вѣка, и, наконецъ, вторую, меньшую, часть книги посвящаетъ цѣлому ряду обстоятельныхъ разборовъ тѣхъ отдѣльныхъ произведеній Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др., которыя должны дать матеріалъ для постепеннаго изученія содержанія и формы словесныхъ произведеній. Эта-то книга «*О преподаваніи литературы*», за которой, чрезъ нѣсколько лѣтъ, послѣдовали извѣстныя классныя книги «*Руководство для теоретическаго изученія литературы*

по лучшимъ образцамъ русскимъ и иностраннымъ», «Хрестоматія» къ ней и, наконецъ, «Руководство къ историческому изученію русской литературы», и сдѣлались для меня кодексомъ во всѣхъ дальнѣйшихъ моихъ занятіяхъ, точно такъ же, какъ и много обязанъ я уже вышедшей позже книгѣ В. И. Водовозова—*Словесность въ образцахъ и примѣрахъ*, болѣе по простотѣ изложенія доступной для учениковъ, но многословной и менѣе опредѣленной и точной, чѣмъ книги Стоюнина.

Съ благодарностью за пособіе при началѣ моего учительства вспоминаю еще одну книгу, теперь забытую и рѣдкую, *Курсъ исторіи поэзіи для воспитанницъ женскихъ институтовъ и воспитанниковъ гимназій*, А. Линниченко, изданную въ 1859 г. въ Кіевѣ. Опредѣленно, сжато и просто, она, предпосылая общія понятія о прекрасномъ, искусствѣ, поэзіи и дѣленіи ея на роды, даетъ подробный конспектъ хода всемірной литературы, съ древняго восточнаго до сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, отмѣчая только самое важное, существенное, что необходимо знать образованному человѣку. Къ книгѣ приложенъ и указатель главнѣйшихъ иностранныхъ трудовъ по исторіи литературы и списокъ имѣющихся на русскомъ языкѣ переводовъ великихъ произведеній.

Въ 1861 г. вышли, одинъ за другимъ, и три тома, тоже теперь забытой—*Хрестоматіи* А. Филонова, въ своемъ родѣ, остающейся у насъ и до сихъ поръ незамѣненнымъ, единственнымъ, пособіемъ для знакомства школьнаго юношества съ литературой ино-

странной. Эта книга,—плодъ кропотливаго труда многихъ лѣтъ преподаванія и самостоятельнаго чтенія составителя,—имѣла еще тѣмъ большее значеніе, чуть не тридцать пять лѣтъ назадъ, что тогда порядочные переводы великихъ писателей у насъ затеривались въ старыхъ журналахъ, а собранія сочиненій иностранныхъ писателей еще только начинали появляться, съ легкой руки Гербея, приступившаго въ 1858 г. къ изданію русскаго Шиллера. Не говоря уже о цѣлой массѣ цѣннаго матеріала (особенно полно и хорошо представлена въ первыхъ изданіяхъ лприка) художественнаго, книга даетъ и сжатыя біографіи писателей, и множество отрывковъ изъ лучшихъ критическихъ статей иностранныхъ и русскихъ, наконецъ, цѣлую массу библіографическаго матеріала *). Вспомнивъ, что тогда не появлялось у насъ еще ни одного курса по всеобщей исторіи литературы (Шерръ вышелъ не ранѣе конца шестидесятихъ годовъ; справочная Всеобщая исторія литературы Штерна только въ 1885 г., а единственная на русскомъ языкѣ обширная Всеобщая исторія литературы, начатая еще въ 1878 г. В. О. Коршемъ, окончена только не ранѣе 1893 г.); что большинство учителей нашихъ знаетъ иностранные языки плохо, да на первыхъ порахъ и легко теряется въ массѣ разнородныхъ книгъ; наконецъ, принимая во вни-

*) Какъ мало значенія придается у насъ знакомству въ средней школѣ съ произведеніями литературы иностранной, видно изъ того, что въ послѣдніе 33 года, кромѣ Филонова, по иностранной литературѣ нѣтъ для гимназій *буквально ни одной хрестоматіи.*

маніе, что Всеобщая литература въ университетѣ въ то время и не читалась (каѳедра въ первый разъ была основана только въ 1861 г.), нельзя не упомянуть этой хрестоматіи Филонова добрымъ словомъ, и на ряду съ книгами Стоюнина не признать великаго ея значенія, какъ для учащихся, такъ и для самихъ, особенно начинающихъ, преподавателей.

Скажу также и о занятіяхъ своихъ русской литературой *народной*, которою я особенно увлекался, и которая, познакомивъ меня, истаго горожанина, никогда не видѣвшаго деревни, съ народомъ и его духовной и бытовой исторіей, открыла мнѣ драгоценныя сокровища богатаго языка.

Еще въ университетѣ, кажется, при переходѣ въ 1859 г. на второй курсъ, получилъ я, въ подарокъ отъ моихъ двухъ двоюродныхъ братьевъ, только что вышедшіе огромныхъ два тома *Очерковъ русской народной словесности и искусства*, Ѳ. И. Буслаева. Съ этой книги (я прочиталъ ее за годъ всю) и начинается мое знакомство съ народной литературой вообще и съ сравнительнымъ методомъ ея изученія. Съ увлеченіемъ сталъ я знакомиться съ этого времени и съ двумя томами «*Сказаній русскаго народа*» Сахарова, и съ московскими сборниками Рыбникова и Кирѣевскаго, Аѳанасьева, Дала. а мастерскіе былинные портреты новгородскаго купца Садко и Васьки Буслаева—въ лекціяхъ о сѣверно-русскихъ народоправствахъ Н. И. Костомарова—еще болѣе увлекли меня въ область непосредственного массоваго творчества. Еще до болѣе основательнаго знакомства съ народной литературой, помню—особенно

сильное впечатлѣніе произвели на меня статьи о народной литературѣ Бѣлинскаго (Соч. Бѣл. т. V), отнесшагося къ ней, на основаніи однихъ только *Сказаній* Сахарова и Кирши Данилова, еще задолго до научной ея обработки и появленія другихъ сборниковъ, весьма недружелюбно, во имя гуманныхъ европейскихъ идеаловъ. Подъ обаяніемъ авторитета любимого писателя, я уже самъ готовъ былъ къ ней относиться легкомысленно или равнодушно; но, по мѣрѣ того, какъ я занимался ею, я все болѣе и болѣе увлекался и формой, и наивнымъ содержаніемъ, что поддерживалось во мнѣ и Ѳ. Ѳ. Резенеромъ, справедливо видѣвшимъ пользу знакомства съ народнымъ языкомъ для меня, какъ учителя, и направившимъ меня на пользованіе въ классномъ преподаваніи пословицами, былинами, Крыловымъ и Кольцовымъ. Этому увлеченію народной поэзіей не мало способствовало и мое сближеніе съ собирателемъ пѣсенъ, Павломъ Ивановичемъ Якушкинымъ. Я познакомился съ нимъ въ началѣ 1863 г. въ редакціи только что приобрѣтеннаго П. Д. Боборыкинымъ журнала *Библиотека для чтенія*, куда былъ я приглашенъ сотрудничать въ отдѣлѣ критики и библіографіи.

Несовсѣмъ ясною, неопредѣленною, остается и до сихъ поръ въ русской литературѣ симпатичная личность этого своеобразнаго, оригинальнѣйшаго, чело-вѣка, Павла Ивановича Якушкина, такъ много сдѣлавшаго для русской пѣсни, и умершаго, въ 1872 г., чуть не нищимъ, въ больницѣ, въ Самарѣ, на рукахъ доктора Португалова. Въ 1884 г. одинъ изъ горячихъ почитателей покойнаго, никогда его не ви-

давший, В. О. Михневичъ, издалъ объемистый томъ его немногихъ сочиненій со сборникомъ пѣсенъ, обстоятельною біографіей Я—на, написанною С. В. Максимовымъ, и одиннадцатю товарищескимъ воспоминаніями разныхъ литераторовъ. Къ сожалѣнію, это единственное собраніе трудовъ покойнаго, съ любопытнымъ біографическимъ матеріаломъ, очень рѣдко, и едва ли не вышло изъ продажи. Во всякомъ случаѣ, отдѣльное изданіе біографіи, хотя бы съ нѣкоторыми лучшими статьями Я—на, и дешевое изданіе пѣсенъ весьма желательны.

Якушкина позднѣйшія поколѣнія почти не знаютъ; послѣ его смерти, да и при жизни, ходило о немъ, и даже печаталось, не мало пустяковъ. А, между тѣмъ, это былъ человѣкъ яснаго и остраго ума, получившій образованіе въ Московскомъ университетѣ въ его лучшіе годы,—человѣкъ незлобиваго, рѣдкаго сердца, душевной простоты и честности, до самоотверженія преданный любимой идеѣ собиранія сокровищъ народнаго творчества, которыхъ собралъ онъ не мало. Это былъ совсѣмъ особенный человѣкъ, напоминавшій древнихъ скитальцевъ-рапсодовъ, одиноко странствовавшихъ по землѣ и нигдѣ не имѣвшихъ постоянного пристанища. Не было и у Якушкина ни семьи, ни своего угла, ни собственности, и выраженіе *omnia mea mecum porto* (все свое имущество ношу съ собой) какъ нельзя болѣе подходило къ его фигурѣ въ мужицкомъ платьѣ и золотыхъ очкахъ, — такой странной аномаліи при этомъ костюмѣ. Не было у него ни чемодана, ни портфеля, и даже свои сочиненія, неразборчиво пи-

санныя, кое какъ, на клочкахъ бумаги, носилъ онъ въ карманѣ своихъ широкихъ, засунутыхъ въ сапоги, брюкъ, и, извлекши ихъ оттуда, приводилъ въ порядокъ и переписывалъ, пріютившись на нѣсколько дней у кого-нибудь изъ знакомыхъ, а по большей части предоставлялъ эту хитрую работу редакціямъ, или пріятелямъ. Этотъ-то своеобразный способъ литературной производительности и сблизилъ меня съ покойнымъ. Нужно было печатать одну изъ его статей, и П. Д. Боборыкинъ поручилъ позаботиться о возможномъ воспроизведеніи ея для набора мнѣ. Я пригласилъ Якушкина къ себѣ, и дня въ два статья была приведена выѣстѣ съ нимъ въ порядокъ. Съ тѣхъ поръ, за довольно продолжительное время пребыванія его въ Петербургѣ въ 1863 г., онъ нерѣдко заѣзживалъ ко мнѣ, ночевывалъ и проводилъ у меня даже по нѣскольку дней, всегда такой живой, остроумный, симпатичный, деликатный, что онъ былъ самымъ желаннымъ гостемъ и моимъ, и моихъ домашнихъ.

Въ эти-то, всегда неожиданныя, его посѣщенія, наслушался я отъ него не мало рассказовъ о странствіяхъ по Россіи, о способахъ собиранія пѣсенъ, о мужикѣ, котораго раскащикъ боготворилъ за его душу, но котораго многочисленные недостатки и дикіе нравы вовсе не скрывалъ и остроумно обрисовывалъ съ тонкимъ, добродушнымъ, юморомъ. Не мало и пѣсенъ, какихъ я потомъ нигдѣ не могъ найти въ печати, и которыя, къ сожалѣнію и стыду моему, тогда не подумалъ за нимъ записать, пѣвалъ онъ у меня маленькимъ, пріятнымъ теноркомъ на

настоящіе, мѣстные, мотивы. И гдѣ всѣ эти сокровища, которыя онъ въ веселую минуту такъ расточительно готовъ былъ раздать всякому? Кто изъ насъ, интеллигентовъ, литераторовъ, музыкантовъ, записывалъ ихъ? Кто изъ этихъ людей, съ такимъ жаромъ говорившихъ объ освобожденномъ народѣ, хранящемъ въ себѣ великія духовныя силы, позаботился пріютить у себя на болѣе продолжительное время этого «единственнаго» русскаго рапсода, поразумнѣе, поделикатнѣе походить около него, чтобы привязать его къ мѣсту подольше и хотъ вмѣстѣ съ нимъ-же не дать этимъ сокровищамъ погибнуть? Надъ нимъ подсмѣивались, потѣшались, чего онъ часто, въ младенческой наивности, и не замѣчалъ; любили послушать его пѣніе и смѣшныя рассказы; но относились-ли къ нему серьезно; чувствовали-ли, что скрывалось въ этомъ человѣкѣ, подъ оболочкой чуждества, странной внѣшности, привычекъ и не всегда скромной рѣчи, всѣ эти люди, и академики, и московскіе литераторы-славянофилы, и всякіе народники, могшіе помочь ему и поддержать? — сомнительно...

Съ своей стороны, могу сказать одно:—не смотря на всю недолговременность моего сближенія, обязанъ я ему многимъ. Онъ былъ, въ годы моей юности, первымъ и единственнымъ для меня народникомъ, глубоко убѣжденнымъ и вѣрующимъ въ духовныя силы массы, которыя зналъ онъ не изъ книгъ и за которыми отлично видѣлъ темное невѣжество и дикость, вопіявшія о необходимости скорѣйшаго просвѣщенія. Его теплая любовь къ мужицкой, загадоч-

ной, Руси и ея убогой природѣ, его вѣра въ будущее нашей родины согрѣвала и меня, не выѣзжавшаго никогда изъ Петербурга, меня,—барина-интеллигента. Русь открывалъ онъ мнѣ во всю ея ширь и мощь, побуждая къ знакомству съ сокровищами народнаго творчества...

Одновременно съ моимъ сближеніемъ съ Якушкинымъ и занятіями сборниками народной литературы вышли въ свѣтъ двѣ небольшія книги новаго профессора Петербургскаго университета, тогда еще юнаго, Ореста Федоровича Миллера: *Опытъ историческаго обозрѣнія древней русской словесности* (вышелъ только одинъ выпускъ) и *Хрестоматія* къ этому обзору. Изъ-за извѣстнаго разбора Добролюбова диссертации покойнаго Миллера *О нравственной стихіи въ поэзіи*, очеь остроумно, но, можетъ быть, и немножко строго и пристрастно, осужденной критикомъ, я, горячій поклонникъ Добролюбова, отнесся—было къ этимъ книгамъ недоувѣрчиво и не заботился ознакомиться съ ними. Но горячее участіе Миллера въ Таврической безплатной школѣ, его восторженныя лекціи въ пользу этой школы о Шиллерѣ, и особенно, публичныя лекціи о Бѣлинскомъ, какъ моралистѣ и педагогѣ, меня заинтересовали, и я принялся за «*Опытъ*» и *Хрестоматію*. При всей моей мало-учености, не могъ я не видѣть нѣкоторой, весьма значительной, односторонности этихъ книгъ, написанныхъ подъ вліяніемъ страстнаго увлеченія этической стороною народной словесности. Послѣдней, главнѣйшимъ образомъ, и посвящены книги, гдѣ совсѣмъ отсутствуетъ сравнительный методъ изуче-

нія, и гдѣ русскій народъ является, особенно въ своихъ духовныхъ стихахъ и легендахъ, очень ловко и искусно подобранныхъ въ хрестоматіи, такимъ высоко христіанскимъ, и съ примѣсю византійскаго аскетизма и мистики. Но, не смотря на эти, весьма крупные, недостатки, выступившіе еще болѣе рѣзко, лѣтъ черезъ десять, въ объемистой докторской диссертациі Миллера объ Ильѣ Муромцѣ, искренность, теплота и живость изложенія, вмѣстѣ съ любовью къ народу и выборомъ въ самомъ дѣлѣ прекрасныхъ образцовъ, такъ меня подкупили, что эти книги, даже до семидесятыхъ годовъ, давали мнѣ не мало матеріала для моихъ классныхъ занятій, въ которыхъ я тогда удѣлялъ значительное мѣсто знакомству съ русской литературой народной. Съ покойнымъ Миллеромъ я долго даже лично не былъ знакомъ, видая его на публичныхъ лекціяхъ, и сошелся съ нимъ не ранѣе начала восьмидесятыхъ годовъ, кажется, по дѣламъ литературнаго фонда, а также и участію его въ устраиваемыхъ мною въ пользу недостаточныхъ учениковъ Ларинской Гимназіи литературныхъ вечерахъ. Узнавъ его ближе, я почувствовалъ къ нему величайшее уваженіе. Моему сближенію съ нимъ долго мѣшало, до послѣднихъ лѣтъ не оставлявшее его, какое-то, немножко наивное, народничество, или, вѣрнѣе, самобытничество и непосредственность, съ точки зрѣнія которыхъ онъ такъ много возился съ Достоевскимъ, разбиралъ Островскаго, и даже просвѣщеннаго европейца, Тургенева. Но теперь, когда уже лѣтъ семь прошло со смерти этого чистаго и честнаго, пзумительно добраго и искренняго въ своихъ

увлеченіяхъ, человѣка, болѣе четверти вѣка послужившаго на каедрѣ и въ жизни русской молодежи, можно сказать, что, при всѣхъ своихъ увлеченіяхъ, онъ прожилъ жизнь небезплодно. Въ эпоху, все болѣе и болѣе омрачавшуюся реакціею, въ тяжелые годы омертвѣнія и измелъчанія русской науки и въ гимназіяхъ, и въ университетѣ, въ печальную эпоху формализма и обезличенія цѣлыхъ поколѣній нашей бѣдной молодежи, когда, за вашимъ доморощеннымъ нѣмецко-чешскимъ ложнымъ классицизмомъ, совсѣмъ была въ загонѣ русская литература, Орестъ Федоровичъ болѣе двадцати пяти лѣтъ, единственный изъ профессоровъ въ Петербургскомъ университетѣ, читалъ нѣсколько разъ подробный и живой курсъ всей исторіи русской литературы, какъ древней, такъ въ послѣднія лѣтъ десять, пятнадцать, и новой до Некрасова и Салтыкова включительно *). Эти чтенія о новыхъ писателяхъ составили потомъ особую трехтомную книгу *«Русскіе писатели послѣ Гоголя»*— первое по времени и до сихъ поръ, по подробности и обстоятельности, почти единственное у насъ пособіе для изученія новѣйшей литературы.

Такимъ-то образомъ, благодаря Буслаеву, сборникамъ по народной словесности, Якушкину и Миллеру, заинтересовался и увлекся я нашей народной поэзіей, подробное ознакомленіе съ которой и моихъ учениковъ считалъ я для нихъ особенно важнымъ и

) Единственная и прекрасная біографія О. О. Миллера, напечатанная въ Историч. Вѣстникѣ 1889 г. и при сочиненіи Миллера—«Русскіе писатели послѣ Гоголя»*, написана его любимымъ ученикомъ, хоронившимъ своего наставника—Б. В. Глинскимъ.

для языка, и для ознакомленія съ идеалами народа и его жизнью. Слѣдствіемъ этого увлеченія были мои статьи: въ Учителѣ 1864 г.—*Выражающееся въ пословицахъ возрѣніе народа на слово* (все составлено изъ пословицъ о языкѣ), и въ приложеніи къ Учителю—*Что окружаетъ насъ?*—два разсказика изъ пословицъ и поговорокъ *Титъ* и *Васило*; позже, въ 1869—1870 г., когда мой двоюродный братъ, А. Н. Острогорскій, основалъ журналъ *Дѣтское Чтеніе*, я опять вернулся къ этимъ работамъ и далъ біографію Ильи Муромца, за исключеніемъ пятидесяти стиховъ моихъ собственныхъ, составленную сплошь изъ былинъ разныхъ редакцій, и два разсказика *Маланья* (опять изъ пословицъ) и *Маша на двѣчничикъ* (изъ свадебныхъ пѣсенъ). Насколько эти попытки популяризаціи народнаго творчества, независимо отъ ихъ достоинствъ или недостатковъ, дѣтямъ нравятся, видно изъ того, что, по истеченіи двадцатипяти, тридцати лѣтъ, онѣ продолжаютъ еще выходить новыми изданіями. Я позволилъ себѣ упомянуть объ этихъ опытахъ моей юности только для того, чтобы еще разъ высказать, насколько считаю я въ педагогическомъ отношеніи важнымъ ознакомленіе дѣтей съ сокровищами отечественной народной литературы въ извѣстномъ строгомъ выборѣ и группировкѣ матеріала. Съ великою радостью привѣтствовалъ я въ семидесятыхъ годахъ прекрасную *Книгу былинъ* г. Авенаріуса, и, какъ старый словесникъ, отъ всей души не могу не пожелать скорѣйшаго составленія для русской школы и народа подобныхъ-же, и возможно болѣе дешевыхъ, сбор-

никовъ и по другимъ видамъ нашего вымирающаго народнаго творчества. Классное изученіе и виѣкласное обязательное чтеніе этого рода литературы не въ примѣръ понятію, интереснѣе и нужнѣе, чѣмъ требуемое теперь по новой программѣ Мин. Нар. Просвѣщенія, даже въ 5 классѣ, съ 14—15-лѣтними учениками, изученіе лѣтописей, Владиміра Мономаха, Заточника, Паломника, и Слова о полку Игоревѣ, языкъ и поэтическія красоты котораго едва-ли доступны этому возрасту. И если еще можетъ быть сдѣлано исключеніе для «Слова», то ужъ «Заточникъ»-то, «Паломникъ», или «Афанасій Никитинъ» всего менѣе могутъ способствовать эстетическому и этическому развитію подростковъ, едва вышедшихъ изъ дѣтства.

Если увлеченіе народностью отвлекало меня отъ живыхъ потребностей современности и интересовъ общечеловѣческихъ, то чтеніе журналовъ и обращеніе въ тогдашнемъ, жившемъ лихорадочною умственной жизнью, обществѣ, возвращало меня въ кругъ и этихъ потребностей, и этихъ интересовъ, и укрѣпляло во мнѣ убѣжденіе, что прежде должно быть *человѣческое*, общее, а потомъ уже *частное*, *національное*, которое должно оцѣниваться только мѣркою челоѣчности, не фиктивной, метафизической, но реальной, любящей,—мѣркой той челоѣчности, которая глядитъ на вещи широкимъ взглядомъ альтруизма. Словомъ,—рядомъ съ развитіемъ національнымъ, шло у меня, еще съ нашего студенческаго кружка, и чтеніе Бѣлинскаго и Герцена, и развитіе общее, философское и общественное.

Въ этомъ отношеніи изъ лицъ, имѣвшихъ на меня въ началѣ шестидесятихъ годовъ вліяніе, обязанъ я болѣе всего двумъ людямъ, Ѳ. Ѳ. Резенеру, о которомъ я уже говорилъ, и Феликсу Густавовичу Толлю.

Когда вспоминаю я съ грустью объ этихъ двухъ, столь дорогихъ мнѣ, и такъ рано и печально сошедшихъ въ могилу, покойникахъ, мнѣ приходятъ на память стихи Жуковскаго «Воспоминаніе»:

О милыхъ спутникахъ, которые намъ свѣтъ
Своимъ присутствіемъ живымъ животворили,
Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ,
Но съ благодарностію:—были.

Повторяю эти стихи съ гордостью по отношенію и къ этимъ людямъ, и повторялъ ихъ не разъ и по томъ, провожая въ могилу, близкихъ мнѣ въ разное время, гораздо позже, до послѣднихъ годовъ, и другихъ людей, напр. В. Ѳ. Кеневича, А. И. Пальма, В. П. Скопина, К. Д. Кавелина, А. Н. Плещеева. Говорю «съ гордостью» потому, что рѣдкое счастье выпало мнѣ на долю: — въ продолженіе моей жизни встрѣчалъ я и былъ близокъ со многими талантливыми, одаренными глубокимъ умомъ и образованіемъ, сердечными и меня любившими людьми. Дѣтство мое прошло подъ вліяніемъ отца и рѣдкой нянюшки; въ гимназіи встрѣтилъ я нѣсколькихъ друзей, скрасившихъ мое сиротство; въ университетѣ пригрѣлъ меня кружокъ товарищей не только по образованію, но и по духу; въ Василеостровской школѣ сблизился я съ Резенеромъ; первые шаги моего учительства, о которыхъ теперь веду рѣчь,

совпали со знакомствомъ съ Толлемъ; не мало встрѣчалъ я людей литературы, науки и общественной дѣятельности и во всей дальнѣйшей моей жизни. Говорю это не для того, чтобы похвастать на старости лестными знакомствами, но для того, чтобы воздать признательностью тѣмъ людямъ, мертвымъ и живымъ, которые не дали мнѣ опустить руки и голову въ тяжеломъ личномъ горѣ и утратахъ, какія приходилось не разъ выносить; не дали придти въ отчаяніе отъ всего, что пришлось видѣть и испытать въ долгую эпоху педагогической реакціи. Тяжела жизнь учителя, который, чтобы только просуществовать, долженъ трудиться изо дня въ день, какъ заведенные часы. Страшно сѣуживаютъ его вѣчные уроки, все объ одномъ и томъ же, этотъ тѣсный мірокъ такихъ же тружениковъ, какъ и онъ самъ, — мірокъ, исключаящій все живое, общественное, прогрессивное, и въ концѣ концовъ часто дѣлающій русскаго учителя какимъ-то отщепенцемъ общества. Вотъ почему не могу не радоваться, что счастливая судьба не допустила меня до такой замкнутости въ одномъ учительствѣ и, благодаря тѣмъ или другимъ личностямъ, о которыхъ еще буду говорить, всегда держала меня въ связи съ обществомъ, литературой, искусствомъ, наукой...

Съ Феликсомъ Густавовичемъ Толлемъ познакомился я еще въ первой половинѣ 1861 года, на педагогическихъ собраніяхъ Василеостровской школы, куда онъ пріѣзжалъ по приглашенію своего близкаго знакомаго Ѳ. Ѳ. Резенера. Въ это время онъ уже пользовался извѣстностью серьезнаго педагогическаго

писателя, на котораго особенное вниманіе обратили живыя статьи *О воспитаніи нравственнаго и эстетическаго чувства въ Журналъ для воспитанія Чумикова*. Но еще болѣе извѣстенъ онъ, какъ первый у насъ критикъ дѣтской литературы, положившій основаніе серьезнымъ отъ нея требованіямъ въ цѣломъ рядѣ статей въ первыхъ годахъ журнала *Учитель—«Наша дѣтская литература»*, гдѣ разсмотрѣлъ онъ всѣ имѣвшіяся тогда у насъ дѣтскія книги, раздѣливъ ихъ по содержанію на отдѣлы и предпославъ каждому обстоятельное руководящее вступленіе *). Съ перваго свиданія поразила меня оригинальная наружность этого человѣка, на первый взглядъ уродливая, но къ которой очень скоро привыкали всѣ, и даже начинали находить въ ней какую-то своеобразную привлекательность. Высокаго роста, полный до тучности, съ несоразмѣрно большой, гладко выстриженной, головой, съ некрасивыми, крупными, чертами лица, толстыми губами, очень большими руками съ короткими пальцами, съ ногами на широкихъ ступняхъ, громоздкій и неуклюжій всею своею огромной фигурой, этотъ человѣкъ обладалъ чудеснѣйшими глазами, глубокими и выразительными, которые выкупали все... Столько было въ нихъ ума, глубокой мысли, страсти, энергіи, безконечной симпатичности, доброты! Эти глаза мирили со всей его уродливостью, да и все некрасивое лицо его какъ-то преобразалось всякій разъ, когда этотъ, въ высшей

*) Эти статьи вышли подъ тѣмъ же заглавіемъ и отдѣльно въ книжкѣ, не потерявшей, по многимъ здоровымъ взглядамъ на дѣло, и до сихъ поръ своего значенія. *Аст.*

степени экспансивный, человѣкъ слушалъ, или начиналъ говорить своимъ густымъ, чрезвычайно пріятнымъ, баритономъ о чемъ-нибудь, что его особенно интересовало, трогало, или возмущало. Безконечной, нѣжной любовью свѣтились эти глаза, звучалъ этотъ голосъ, когда этотъ человѣкъ хотѣлъ приласкать, ободрить, поддержать, утѣшить; страшень былъ блескъ этихъ глазъ, громокъ и силенъ въ потрясающихъ модуляціяхъ звукъ этого голоса, въ минуты гнѣва, или возмущенія малѣйшею подлостью, нравственнымъ диссонансомъ, проявлялось ли это въ отдѣльномъ лицѣ, или въ явленіи общественной жизни. Правдивый до педантизма, рыцарски честный и великодушный, онъ не выносилъ лжи и сдѣлокъ съ совѣстью. Краткое всепрощеніе, примиреніе съ жизнью, приспособляемость къ людямъ и обстоятельствамъ не были изъ числа его добродѣтелей. Это была очень рѣдко встрѣчающаяся въ Россіи, богато одаренная, цѣльная натура съ бурными страстями, умѣвшая сдерживать ихъ для намѣченной цѣли, къ которой всегда шелъ онъ неуклонно. Это былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, неутомимый труженикъ, умѣвшій работать, какъ волъ, и находить въ трудѣ наслажденіе. По уму, образованію, способностямъ, энергіи, физическимъ силамъ, гдѣ-нибудь въ Америкѣ, Франціи, или Англіи, онъ былъ бы политическимъ, или общественнымъ дѣятелемъ, или же крупнымъ профессоромъ-ораторомъ, глашатаемъ науки, вождемъ молодежи; у насъ онъ едва не погибъ, выплывъ—было не на долго на арену общественной и литературной жизни, и умеръ, едва доживъ до пятидесяти лѣтъ, почти въ нищетѣ...

Разскажу, что знаю, о прошлом Толля.

Толль, сынъ бѣднаго остзейскаго дворянина, кажется, учителя, родился въ Петербургѣ, въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Въ 1845 или 1846 году онъ прекрасно кончилъ курсъ въ Главномъ педагогическомъ институтѣ. Воспитываясь въ нѣмецкой семьѣ, онъ съ дѣтства владѣлъ нѣмецкимъ языкомъ въ совершенствѣ, какъ и русскимъ, рано овладѣвъ также и французскимъ. Знаніе языковъ рано дало возможность даровитому и любознательному мальчику прочесть множество иностранныхъ книгъ самаго разнообразнаго содержанія. У студентовъ и профессоръ института, гдѣ онъ познакомился и съ англійскимъ языкомъ, Толль слылъ однимъ изъ образованнѣйшихъ и даровитѣйшихъ; у товарищей пользовался большимъ авторитетомъ. Тогдашняя мизерная филологическая ученость института не удовлетворяла юношу, и, по окончаніи курса, онъ не сталъ добиваться профессуры, рѣшивъ сдѣлаться преподавателемъ словесности, и вскорѣ по выходѣ изъ института получилъ мѣсто преподавателя исторіи литературы въ Инженерномъ училищѣ. Ученики его разсказывали, что это былъ учитель необыкновенный и по обилію блестяще освѣщаемаго матеріала, и по одушевленному, увлекательному, чтенію, и по гуманному отношенію къ ученикамъ, которые не слышали въ немъ души. Въ это время (1846—1847 гг.), подъ вліяніемъ всегда интересовавшей Россію Франціи, началось у насъ, между небольшою, впрочемъ, частію интеллигентной молодежи, умственное движеніе, выразившееся въ ознакомленіи съ сочиненіями

французскихъ социалистовъ *). Кое-гдѣ молодые люди собирались въ кружки, вмѣстѣ читали, со свойственнымъ юности жаромъ спорили о прочитанномъ, а то и излагали его въ видѣ рефератовъ и рѣчей...

Между этими кружками особенно выдался, по многочисленности и горячности участниковъ, кружокъ, собиравшійся въ Коломнѣ, на углу Могилевской и Канонерской улицъ, у молодого, увлекавшагося энтузіаста Петрашевскаго. Въ числѣ другихъ лицъ, посѣщавшихъ эти вечера, напр., О. М. Достоевскій, Дуровъ, Монбелли, А. И. Пальмъ, Н. И. Кайдановъ. А. Н. Плещеевъ, былъ и Толль, по своей пылкой натурѣ особенно увлекавшійся этими юношескими сходками и посѣщавшій ихъ постоянно. Естественнo, что со своимъ энтузіазмомъ, краснорѣчіемъ, разнообразными знаніями, онъ очень скоро выдался въ кружкѣ между всѣми другими, и сталъ принимать въ немъ дѣятельное участіе, нерѣдко произнося передъ восторженною молодежью рѣчи по политическимъ и общественнымъ вопросамъ. Все это была только одна теорія, однѣ лишь смѣлыя фантазіи новаго устройства человѣческихъ обществъ, одни горячія слова увлекающей юности; но, изолированный отъ всего русскаго общества, кружокъ молодежи, стремившійся къ своему образованію, былъ сочтенъ опаснымъ политическимъ заговоромъ,— и вотъ въ 1848 г. возникло, такъ-называемое, *Дѣло*

*) Это движеніе, хотя не полно, и не всегда ясно, выставлено въ романѣ А. И. Пальма «Алексѣй Слободинъ», напечатанномъ въ семидесятыхъ годахъ въ «Вѣстникѣ Европы» и изданномъ отдѣльно.

Петрашевскаго,—дѣло, по которому весь кружокъ этотъ былъ отданъ подъ судъ, опредѣлившій всѣмъ участникамъ строгія наказанія. Самыми главными зачинщиками были признаны Петрашевскій и Толль, которые оба и были приговорены къ разстрѣлянію. Но у позорныхъ столбовъ, къ которымъ были привязаны для казни преступники, за минуту до совершенія приговора, вдругъ была объявлена Высочайшая милость, по которой смертная казнь замѣнялась пожизненной ссылкой въ каторжныя работы. Такимъ-то образомъ Толль, переживъ у позорнаго столба нѣсколько ужасныхъ предсмертныхъ минутъ, очутился каторжникомъ въ глуши Сибири. Но и каторга, а затѣмъ поселеніе, не сломили этой желѣзной натуры. Среди самыхъ ужасныхъ условій жизни, онъ, найдя возможность доставать книги, продолжалъ читать и учиться послѣ каторжнаго труда, а когда каторга была замѣнена поселеніемъ, и ему открылась возможность прогулокъ по окрестностямъ мѣстечка, гдѣ онъ жилъ, онъ, забывая о пищѣ, по цѣлымъ днямъ проводилъ въ лѣсу надъ чтеніемъ и писаніемъ статей по разнымъ предметамъ, преимущественно по педагогикѣ и беллетристикѣ, съ которыми онъ и пріѣхалъ въ 1857 (1858?) г. въ Петербургъ, и, раздавъ ихъ по журналамъ для печати, получилъ возможность, хотя нѣсколько, обезпечить свое матеріальное существованіе. Кромѣ статей педагогическихъ, общее вниманіе на Толля обратили его рассказы о жизни на сибирскихъ золотыхъ приискахъ, и особенно романъ *«Трудъ и Капиталъ»*, изданные и отдѣльно. Въ Сибирь же задумавъ былъ

имъ и начатый въ 1862 г. «*Настольный Словарь*», доведенный съ неустомимою энергіею, въ четыре года до конца, причемъ онъ успѣлъ еще выпустить къ нему и цѣлый объемистый томъ «*Дополненій*». Этотъ громадный трудъ, составленный и проредактированный имъ однимъ, при помощи только нѣсколькихъ сотрудниковъ изъ молодежи, которымъ онъ давалъ работу, — трудъ, предпринятый безъ всякаго капитала; впутавшій покойнаго въ неоплатные долги, и не давшій составителю ничего, кромѣ потери здоровья, въ своемъ родѣ у насъ единственный по дешевизнѣ и огромной массѣ разнообразнѣйшаго справочнаго матеріала. Не смотря на всѣ неизбежные недосмотры и неполноту, онъ имѣетъ нѣкоторое значеніе даже и до сихъ поръ. Тогда-же, тридцать лѣтъ назадъ, когда у насъ изъ энциклопедическихъ словарей только и были что неконченные Плюшара, да Лаврова, если не считать жалкой спекуляціи — *Словаря* Старчевскаго, *Настольный словарь* Толля представлялъ явленіе замѣчательное и полезное. Приглашенный въ 1863 г. работать въ этомъ словарѣ, благодаря которому я и сблизился съ Толлемъ, я увидѣлъ самъ, сколько труда и страшной энергіи было положено на него составителемъ. Не имѣя никакого опредѣленнаго матеріальнаго обезпеченія, Толль, въ это время уже женатый и отецъ маленькаго сына, нерѣдко терпѣлъ съ семьей нужду, живя иногда чуть не впроголодь, чтобы только заплатить намъ, сотрудникамъ. Но никакія матеріальныя лишенія, никакія непріятности по изданію (а ихъ было не мало) не ослабляли желѣзной энергіи этого, всегда бодраго

духомъ, человѣка, стойко доведшаго дорогое дѣло до конца, а затѣмъ вскорѣ и сошедшаго въ ранневременную могилу.

А онъ вполне могъ бы прекрасно устроить въ Петербургѣ свою карьеру, обставить себя матеріально даже и со своимъ словаремъ... Въ эти либеральные годы, особенно до польскаго возстанія 1863 г., возвратившіеся изъ ссылки, такъ называемые, «*петрашевцы*», пользовались большимъ вниманіемъ въ обществѣ, и, какъ люди очень образованные, и, большею частію, талантливые, замѣтно выдвинулись своею дѣятельностью. Такая личность, какъ Толль, у котораго въ Петербургѣ нашлись и кое-какія связи, незамѣченною остаться не могла. И вотъ, нѣкоторые изъ его доброжелателей пожелали его устроить. Предполагая, что онъ не откажется отъ правительственной субсидіи на словарь, а можетъ быть, и отъ государственной службы, они заинтересовали его личною и словаремъ покойнаго, добрейшаго человѣка и мецената, принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, и Его Высочество назначилъ ему у себя во дворцѣ аудіенцію. Възбѣшенный непрошенымъ участіемъ въ своей судьбѣ, онъ по неволѣ долженъ былъ облачить свою неуклюжую фигуру въ непривычную, торжественную фракционную пару, и ѣхать во дворецъ. Тамъ мрачное расположеніе его духа еще усилилось отъ долговременнаго ожиданія... и аудіенція кончилась для него печальнѣйшимъ образомъ. Своею фигурой, тономъ рѣчи, недостаточно почтительнымъ, своимъ неумѣньемъ держать себя съ высокими особами согласно незна-

кому ему этикету, какъ ни учили его этому, на сей случай, доброжелатели, Толль произвелъ на Принца, предложившаго было даже ему службу по своему вѣдомству, самое ужасное впечатлѣніе... На милое предложеніе Толль отвѣтилъ рѣзкимъ отказомъ, сказавъ, что его убѣжденія, которымъ онъ останется вѣренъ всю жизнь, не позволяютъ ему служить,—и аудіенція была прервана...

Вотъ съ какимъ своеобразнымъ человѣкомъ свела меня судьба на рубежѣ между формальнымъ окончаніемъ образованія и вступленіемъ на государственную службу.

Много было у Толля въ его взглядахъ на вещи слишкомъ теоретическаго, идеальнаго, пожалуй, даже немножко прямолинейнаго,—такого, что естественно создалось и укрѣпилось въ немъ среди многолѣтняго невольнаго одиночества въ далекой Сибири, въ каторгѣ и на поселеніи; но этотъ ясный, обобщающій умъ, широкое образованіе, золотое сердце и стойкость характера искупали крайности, и для меня, по крайней мѣрѣ, въ тѣ мои молодые годы, когда еще только формируется личность, онъ вмѣстѣ съ Резенеромъ былъ моимъ добрымъ наставникомъ и руководителемъ, относившимся ко мнѣ, юношѣ, съ истинно отцовскою любовью. Съ Толлемъ я даже былъ ближе, откровеннѣе, чѣмъ съ нѣсколькими ригористическимъ Резенеромъ. При всей своей рѣзкости, Толль былъ проще, жизненнѣе, и, главное,—снисходительнѣе къ молодежи. Съ нимъ чувствовалось какъ-то свободнѣе, легче; смѣлѣе и откровеннѣе говорилось ему все, до тайнъ интимной жизни, о

чемъ не говорилось даже иногда и съ Резенеромъ. Бывая у Толля, за эти года, 1863 — 1865, часто просиживалъ я съ нимъ по цѣлымъ ночамъ, съ глазу на глазъ, за горячей бесѣдой, и много вынесъ для себя отъ него полезнаго на всю свою послѣдующую жизнь. Сколько слышалъ я отъ него разсказовъ о Сибири, ея богатствахъ и неустройствахъ, о декабристахъ, съ нѣкоторыми изъ коихъ онъ познакомился въ ссылкѣ; чуть не цѣлый практическій курсъ новой философіи, какъ энциклопедисты, Гегель, Шеллингъ и др. преподалъ онъ мнѣ въ живыхъ бесѣдахъ и спорахъ; ознакомилъ и съ ученіями новѣйшихъ мечтателей о томъ, какъ сдѣлать общества счастливыми, — и все это, сопровождая попутно указаніями немногихъ, лучшихъ, книгъ, давая въ то-же время и мѣткую оцѣнку относительнаго ихъ значенія. Скажу даже такъ: въ образованіи моемъ участвовали два университета: — одинъ, такъ сказать, *общій, оффиціальныи*, съ профессорами, учившими съ кафедры, другой — *частный, интимный*, — это Резенеръ, Толль и, отчасти, гораздо позже, Кавелинъ, съ которыми ближе сошелся я уже въ семидесятихъ годахъ. Первый, — Резенеръ, — представлялъ, такъ сказать, для меня, факультетъ *педагогическій*, котораго въ нашихъ университетахъ, къ сожалѣнію, нѣтъ вовсе; Толль — факультетъ *философско-литературный*; Кавелинъ — *юридическій* въ смыслѣ знакомства съ правомъ и закономъ...

Толль кончалъ печально... Настольный словарь запуталъ его матеріальное положеніе окончательно и *надломилъ* его здоровье, но не духъ... Семья требо-

вала средствъ къ жизни... Служить онъ не хотѣлъ, да и не могъ. Литературныя способности требовали отдыха отъ переутомленія. И вотъ, этотъ, такой философъ и мудрецъ въ теоріи, и такой истинно малый ребенокъ въ практической жизни, а уже тѣмъ болѣе, въ совсѣмъ чуждыхъ ему коммерческихъ предпріятіяхъ,—вдругъ затѣваетъ временно заняться для отдыха и поправленія матеріальнаго положенія,—какъ бы вы думали, чѣмъ?—Куроводствомъ! На занятія у кого-то небольшія деньги онъ заводитъ около Петербурга, по Шлиссельбургскому тракту, всякихъ сортовъ куръ, перебирается съ семьей осенью на дачу, и начинаетъ опыты по всѣмъ правиламъ науки... Не прошло года, много полутора лѣтъ, какъ странная затѣя окончилась полнымъ раззореніемъ... Онъ перебрался на крошечную квартирку, на дворѣ, въ одинъ изъ громадныхъ домовъ Гороховой улицы, близъ Семеновскаго моста... Здоровье разстроилось окончательно... Сдѣлали ему операцію, и неудачно... Въ Ноябрь 1867 г. онъ скончался, оставивъ буквально въ нищетѣ жену съ младенцемъ — сыномъ. Немногіе, оставшіеся ему вѣрными, близкіе люди, болѣе, чѣмъ скромно, справили похороны, проводя бѣднаго Толля, едва ли въ количествѣ не болѣе челоуѣкъ пятнадцати, въ его послѣднее жилище, на Волково кладбище...

Возвращаюсь къ воспоминаніямъ о нѣсколькихъ, наиболѣе памятныхъ миѣ, частныхъ урокахъ.

Въ концѣ 1863 года, черезъ одну знакомую даму, съ братомъ которой я занимался русскимъ языкомъ,

получилъ я приглашеніе давать уроки словесности и исторіи литературы восемнадцати-лѣтней дѣвушкѣ, только что кончившей курсъ въ Екатерининскомъ Институтѣ, дочери умершаго кавказскаго полковника, Ольгѣ Александровнѣ Поповой. Симпатичнѣйшая старушка, ея мать, меня и пригласившая любезнымъ письмомъ, была родственница тогдашняго Управляющаго канцеляріей Военнаго Министра, впоследствии перваго Туркестанскаго губернатора, Константина Петровича Кауфмана, и жила съ дочерью въ его семействѣ, на казенной квартирѣ, въ домѣ Военнаго Министерства. Хотя и приходилось мнѣ уже давать, благодаря А. В. Никитенко, нѣсколько уроковъ, въ такъ называемыхъ, аристократическихъ домахъ; но ни одинъ подобный домъ ни прежде, ни послѣ, не произвелъ во мнѣ такого пріятнаго впечатлѣнія, и нигдѣ я, совсѣмъ уже не свѣтскій юноша, питомецъ студенческаго кружка, застѣнчивый и неловкій, не почувствовалъ себя тотчасъ-же такъ легко и свободно, какъ съ этими, необыкновенно простыми и образованными, людьми, отнесшимися ко мнѣ, неизвѣстному, частному преподавателю, тепло и ласково. Явившись, по приглашенію старушки, прямо къ вечернему чаю, я засталъ за столомъ всю семью, самого Кауфмана, его жену, трехъ маленькихъ дѣтей и старушку Попову съ дочерью, запросто перезнакомившую меня со всѣми.

Дочь была блондинка, высокаго роста, съ чудными, пепельными, волосами, почти красавица, и притомъ, простая и симпатичная, какъ и мать, только очень *наивная*, и въ первое время какъ будто конфузив-

шаяся своего литературнаго невѣжества. Такихъ взрослыхъ, не только ученицъ, но и учениковъ, у меня, еще не бывало, и я недоумѣвалъ, чему же я долженъ учить такую дѣвицу, и почему мнѣ именно оказывалось такое довѣріе. Разговоръ къ урокамъ перешелъ не вдругъ. Дѣятельно поддерживаемый словоохотливымъ хозяиномъ, онъ долго вращался въ кругу интересовавшихъ тогда общественныхъ вопросовъ: меня спрашивали о студенческой исторіи, о Василеостровской школѣ, самъ К. П. и старушка рассказывали о Кавказѣ, гдѣ Кауфманъ служилъ:— иногда вставляла вопросы и будущая моя ученица, видимо, общая любимица. Я, ободренный хозяевами, также не стѣсняясь, скоро втянулся въ общую бесѣду.

— А знаете-ли?—вдругъ спросила меня старушка, — почему именно на васъ остановился мой выборъ учителя моей дѣвочки.

Я недоумѣвалъ; хозяинъ дома загадочно улыбнулся, переглянувшись съ женой, а дѣвица покраснѣла.

— Потому, что вы,—продолжала мать,—какъ я слышала, любите литературу, и особенно Пушкина, котораго я знаю наизусть; потому что вы еще молоды, и только начинаете преподаваніе, — значитъ, не успѣли еще сдѣлаться рутинеромъ, а больше всего — потому, что вы, какъ говорила мнѣ Е. А. (дама, меня рекомендовавшая, съ которой старушка была очень дружна), — великій поклонникъ Бѣлинскаго. А имя Бѣлинскаго для меня съ моимъ покойнымъ мужемъ и для моей дѣвочки священо.

И рассказала она мнѣ вотъ какой случай, который передаю, записанный тогда-же, съ ея словъ.

Въ 1846 г. отецъ моей ученицы, которой тогда было два — три года, полковникъ Поповъ, служилъ въ Одессѣ. Идетъ онъ разъ, утромъ, весной, мимо одного дома, у котораго останавливается коляска. Дверцы ея, крѣпко захлопнувшіяся, тщетно усиливается отворить какой то, худой и блѣдный, видимо, больной человекъ. Полковникъ помогъ отворить дверцы и высадилъ больного, который, какъ то страшно сконфузился, засуетился, разсыпался въ благодарностяхъ и, быстро спросивъ у оказавшаго ему услугу фамилію и адресъ, скрылся въ домъ. На другой день неизвѣстный является утромъ къ Попову съ визитомъ, въ неуклюжемъ фракѣ, перчаткахъ, со шляпой, и неловко опять благодаритъ хозяина дома за вчерашнюю услугу. Сконфуженный полковникъ увѣряетъ, что въ ней нѣтъ ничего особеннаго, что это только простое вниманіе къ больному; но гость нервно и взволнованно прерываетъ его словами: «Да, конечно, но, простите, я въ первый разъ встрѣчаю къ себѣ такое вниманіе со стороны военнаго человека!» — и онъ самъ засмѣялся своимъ словамъ. Этотъ странный человекъ былъ В. Г. Бѣлинскій, пріѣхавшій въ Одессу, незадолго до своей смерти, уже совсѣмъ больной, вмѣстѣ съ артистомъ Щепкинымъ. Поповъ, одинъ изъ образованныхъ и интеллигентныхъ тогдашнихъ военныхъ, и его жена были самыми восторженными поклонниками великаго критика, каждая статья котораго съ жадностью ими прочитывалась. Можно себѣ представить, какъ были

они обрадованы, когда странный гость, забывшій раньше сказать свою фамилію, на вопросъ хозяевъ, сконфуженно объявилъ, что онъ—Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій. Невольно обнаруживъ свою радость, видимо, пріятную послѣднему, они упросили его съ ними отобѣдать, и, только что такой конфузливый и странный, дорогой гость, подъ вліяніемъ радушія и вниманія, вдругъ сталъ такимъ простымъ, милѣйшимъ, человѣкомъ, о единственномъ свиданіи съ которымъ старушка рассказывала мнѣ съ трогательнымъ волненіемъ. Во время живой бесѣды, тотчасъ же завязавшейся съ новымъ знакомымъ, въ комнату вошла нянька съ прелестной дѣвочкой, единственнымъ ребенкомъ хозяевъ. Вскочивъ со стула, Бѣлинскій, страстно любившій дѣтей, пришелъ отъ дѣвочки въ восторгъ, и сталъ ласкать мою будущую ученицу, чѣмъ, конечно, доставилъ родителямъ несказанное удовольствіе. Стали говорить о воспитаніи вообще, и особенно—дѣвочекъ. Бѣлинскій оживился, говорилъ страстно и горячо, ѣдко порицая наше женское воспитаніе.

— «Ради самого Бога,—повторялъ онъ нѣсколько разъ, и еще разъ повторилъ при прощаніи:—ради Бога, не отдавайте вы эту прелестную дѣвочку въ институтъ! Испортятъ ее тамъ, погубятъ. Учите ее дома, хоть какъ-нибудь, какъ умѣете, но только не въ институтъ!..»

Въ тѣ времена, какъ извѣстно, институты были не таковы, какъ теперь, и многіе были сильно предубѣждены противъ нихъ.

— А вотъ и пришлось таки,—грустно заключила

свой рассказъ старушка,—отдать въ институтъ дѣвочку. Мужъ померъ на Кавказѣ, средствъ учить дома не было, а тутъ на казенный счетъ... Вотъ кончила, прошла курсъ, а нужно начинать съизнова... Такъ мало онѣ тамъ читаютъ, да и не умѣютъ читать...

Изъ дальнѣйшаго разговора съ матерью и Кауфманомъ, уже, конечно, не въ присутствіи будущей ученицы, я узналъ, что хотятъ они ознакомить барышню хорошенько съ новыми писателями, начиная съ Пушкина и кончая современными, съ которыми уже вовсе не знакомятъ въ институтахъ, и что мать хочетъ, чтобы ея Оленька, которую Бѣлинскій при прощаніи поцѣловалъ и благословилъ, узнала отъ меня о жизни и значеніи критика, и чтобы я, осмысливъ передъ нею его личность и дѣятельность, помогъ ей взять себѣ въ нравственные и литературные руководители того русскаго человѣка, который благословилъ ее на зарѣ ея жизни.

Такимъ образомъ, мнѣ не давали никакихъ опредѣленныхъ программъ; никакихъ экзаменовъ не предполагалось также; мнѣ просто съ полнымъ довѣріемъ поручали руководить, по своему усмотрѣнію, молодую дѣвушку въ чтеніи, сообщая попутно историко-литературные факты, освѣщая писателей въ духѣ Бѣлинскаго, отъ котораго и слѣдовало отправляться при ихъ оцѣнкѣ. Задача была заманчивая, вполне подходившая къ моимъ вкусамъ и симпатіямъ, но и не легкая...

Такъ какъ это былъ мой первый урокъ, гдѣ я могъ, не стѣсняясь программами и книгами, кото-

рыхъ здѣсь ученица могла имѣть сколько угодно, провести задуманный курсъ, съ начала до конца, предоставленный моему усмотрѣнію, то позволю себѣ о немъ распространиться. Это не былъ ни курсъ теоріи словесности на литературныхъ образцахъ, ни исторія русской литературы... Это былъ, такъ сказать, опытъ, болѣе или менѣе, систематическаго руководства самостоятельнымъ чтеніемъ лучшихъ произведеній новой русской литературы, съ критическимъ къ нимъ отношеніемъ; причемъ, я имѣлъ ввиду выясненіе, какъ самыхъ красотъ послѣднихъ, такъ и относительнаго, историческаго, ихъ значенія. Въ основу же эстетической и исторической критики Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, взялъ я Бѣлинскаго, который у моей ученицы былъ весь, и скоро сдѣлался ея любимой книгой; по отношенію же къ Тургеневу, Гончарову, Писемскому, Островскому, руководился я Добролюбовымъ.

Уроки эти были совсѣмъ особенные; формальный, хотя и очень жалкій курсъ исторіи литературы (только до Гоголя) былъ пройденъ въ институтѣ, и ученица въ разбродѣ, большею частію, въ отрывкахъ, читала многое;—предстояло только выучить ее съ толкомъ читать и заставить прочесть основательно главнѣйшія произведенія, образовать въ ней вкусъ и извѣстныя критическія требованія отъ произведенія искусства. И вотъ я, изъ бесѣды ближе ознакомившись съ знаніями и развитіемъ ученицы, рассказалъ ей урока въ два—три о характерѣ письменности до-петровской, освѣтивъ значеніе былинъ и пѣсенъ, а затѣмъ, въ отрывкахъ, прочиталъ, частію

вмѣстѣ съ ученицей, частію заставляя рассказывать мнѣ по конспекту прочитанное самостоятельно, статью «*Литературныя мечтанія*», какъ извѣстно, прямо ставящую вопросъ о литературѣ и словесности, а также дающую обзоръ хода литературы до Грибоѣдова и Пушкина. Я рассказалъ также о жизни Бѣлинскаго и кружкѣ Станкевича, объяснивъ при этомъ, что такое критика эстетическая, и историческая. Далѣе прочитали мы «Вечера на хуторѣ» и повѣсти Гоголя, въ связи со статьей о *повѣсти Гоголя и русскихъ повѣстяхъ*, гдѣ даётся очеркъ русской беллетристики; затѣмъ разобрали *Горе отъ ума*, *Онегина*, *поэмы* и, вообще Пушкина (по VIII т. Бѣлинскаго), Лермонтова, Мертвыя души, Ревизора и пѣсни Кольцова, сопровождая бесѣды статьями того-же Бѣлинскаго. Знакомство съ пьесами Пушкина отклонило насъ въ сторону драматической поэзіи, и, рассказавъ о происхожденіи драмы въ Греціи, прочелъ я съ ученицей Эдипа Царя, отрывки изъ Антигоны (по Филонову съ примѣчаніями изъ критическихъ статей) и изъ аристофановскихъ «Облаковъ», причемъ, оказалось, что съ Мольеромъ ученица знакома порядочно въ оригиналѣ, и даже знаетъ много отрывковъ наизусть, что значительно облегчило и пониманіе комедіи. Съ Шекспиромъ, котораго по вечерамъ читалъ я, съ великимъ одушевленіемъ и, на сколько умѣлъ, выразительно, самъ, вслухъ, иногда въ присутствіи матери, г-жи Кауфманъ и нерѣдко кого-нибудь изъ гостей, познакомились мы постепенно за оба года занятій. Отъ писателей, разобранныхъ Бѣлинскимъ подробно, перешли мы къ

тѣмъ, кого онъ передъ смертью только намѣтилъ, какъ будущихъ крупнѣйшихъ, литературныхъ дѣятелей, къ Тургеневу, Григоровичу, Достоевскому (Бѣдные люди), Герцену (Кто виноватъ), Гончарову (Обыкновенная исторія)...

Такъ шелъ у насъ почти два года этотъ своеобразный курсъ, заставившій меня много думать, читать и готовиться къ урокамъ и доставлявшій мнѣ истинное наслажденіе. Оригинальные уроки оригинально и кончились. Въ концѣ второго года занятій, въ 1865 г., какъ-то утромъ, передъ урокомъ, на которомъ ученица просила меня читать именно Шекспира (отрывки изъ *Юлія Цезаря*), просить она меня позволить послушать мое чтеніе одному хорошему знакомому. Я, конечно, ничего противъ этого не имѣлъ, и она отрекомендовала мнѣ молодого, красиваго, гвардейскаго офицера. Ничего не подозревая, я сталъ читать, прерывая чтеніе, по обыкновенію, объясненіями, и вопросами... По окончаніи урока ученица объявила, что урокъ этотъ послѣдній, и еще разъ рекомендовала мнѣ моего новаго слушателя, но уже своимъ женихомъ, за котораго она черезъ двѣ недѣли выходить замужъ... Тутъ вошла старушка-мать, за которой лакей внесъ на подносѣ налитые бокалы шампанскаго, и учитель, такъ неожиданно окончившій свою миссію, поздравилъ отъ всей души свою милую ученицу и ея добрѣйшую мамашу, молившуюся памяти Бѣлинскаго...

Еще мѣсяца за два до окончанія занятій съ О. А. Поповой, какъ-то въ одно изъ нашихъ вечернихъ чтеній, познакомила меня моя ученица съ одной своей

знакомой, Еленой Ивановной Б—гъ (въ настоящее время извѣстная беллетристка, пишущая подъ псевдонимомъ Ардова). Это была очень умная и начитанная дѣвушка, получившая, кажется, одно домашнее образованіе, изъ достаточнаго чиновнаго семейства, гдѣ она пользовалась, повидимому, извѣстной самостоятельностью. На видъ она казалась старше моей ученицы, особенно сравнительно съ нею, такой солидной и сосредоточенной. Въ тотъ же вечеръ мы разговорились, и она попросила у меня позволенія послушать нѣсколько уроковъ. Это была одна изъ тѣхъ передовыхъ русскихъ дѣвушекъ, которыя, подъ вліяніемъ духа времени, и статей и книгъ объ эмансипаціи женщины, задумавшись надъ своимъ образованіемъ и сознавъ его несостоятельность, возымѣли твердое намѣреніе пополнить его сами. Однѣхъ изъ нихъ, и большую часть, влекло естествознаніе, что было и въ духѣ времени; другія—заялись исторіей, литературой, философійю. Никакихъ высшихъ курсовъ тогда еще не было (Педагогическіе все-таки носили характеръ нѣкоторой специальности, да и попасть туда было трудно); систематическихъ публичныхъ лекцій тоже не читалось, и вотъ, тѣ, у кого были средства, нерѣдко приглашали для руководства въ своихъ занятіяхъ преподавателей, а то и студентовъ, между которыми не мало было въ то время людей образованныхъ, прекрасно знающихъ излюбленный предметъ и горячо ему преданныхъ. Е. И. Б—гъ была изъ такихъ дѣвушекъ, и, прослушавъ два—три моихъ урока, сама пригласила меня прочесть ей, лекцій въ 20, общій обзоръ исторіи

русской литературы, начиная съ Петра Великаго и кончая настоящимъ моментомъ ея и указаніемъ задать, какія ставить себѣ литература въ будущемъ. Какъ оказалось, читала она, въ противоположность моей другой ученицѣ, по литературѣ, особенно иностранной, очень много; хорошо была знакома съ крупнѣйшими русскими писателями, внимательно слѣдила за журналистикой. Ей, какъ говорила она, нужна была только система, дополненіе фактовъ, въ смыслѣ біографій авторовъ и критическаго отношенія къ нимъ, общее историческое освѣщеніе литературныхъ явленій. Если не-легка была моя задача по отношенію къ первой моей ученицѣ, гдѣ имѣлось ввиду, собственно, только руководство чтеніемъ, то все-таки задача облегчалась тѣмъ, что ученица была подготовлена очень мало, нуждаясь подчасъ въ элементарныхъ литературныхъ знаніяхъ. Новая-же ученица была, какъ мнѣ казалось, уже человѣкъ сложившійся, много думавшій и серьезно ищущій знанія, не пассивно воспринимающій предлагаемые факты и взгляды, но относящійся къ нимъ критически. Задача моя здѣсь усложнялась и пугала меня серьезностью. Я высказалъ откровенно опасенія въ непосильности для себя предлагаемаго дѣла, и отказывался; но Е. И. успокоила меня, высказавъ, что ей не нужно учености, и что она вполне будетъ удовлетворена, если я, обдумавъ курсъ, просто передамъ ей сжато самое существенное и важное изъ того, что вынесъ я самъ изъ университета, изъ книгъ и критическихъ статей, освѣтивъ все это личными своими взглядами. Еслибы, въ данномъ слу-

чаѣ, я могъ указать Е. И. на какого-нибудь профессора, или учителя литературы, болѣе меня компетентнаго,—я бы, конечно, не задумался предоставить уроки ему; но очень немногіе лучшіе профессора и учителя словесности были слишкомъ недоступны по гонорару, да и побаивалась моя ученица слишкомъ большихъ спеціалистовъ и авторитетовъ,—вѣроятно, потому, что чувствовала бы себя съ ними не столь свободной, какъ со мной, у котораго она могла требовать разъясненій, откровенно высказывать свои мнѣнія, желанія, съ которымъ она могла спорить, бесѣдовать, не стѣсняясь...

И вотъ, со страхомъ, несравненно большимъ, чѣмъ когда начиналъ уроки съ О. А. Поповой, приступилъ я къ занятіямъ съ новой ученицей. Этотъ сжатый курсъ исторіи литературы, прочитанный мною ровно въ двадцать уроковъ, по полтора часа въ недѣлю, въ 1865 г., былъ въ моей жизни первый связный и цѣльный курсъ до новѣйшаго времени, прочитанный, независимо ни отъ какихъ программныхъ или цензурныхъ соображеній. Чтобы хоть сколько-нибудь достойно выполнить взятое на себя смѣлое дѣло, я готовился къ урокамъ, какъ никогда раньше, читалъ, перечитывалъ, рылся въ книгахъ, чтобы выискать, дополнить, освѣтить тотъ или другой фактъ; составлялъ конспекты, которые по нѣскольку разъ передѣлывалъ, думалъ, соображалъ, какъ-бы передать факты поярче, порельефнѣе,—словомъ, уча, я учился самъ,—учился и преподаваемой наукѣ, и самому искусству изложенія, преподаванія. Не говорю уже о томъ, что въ этотъ курсъ, съ

одушевленіемъ молодости прочитанный мною въ маленькой задней комнатѣ большой барской квартиры, вложилъ я всю мою душу, всѣ мои убѣжденія и взгляды, пріобрѣтенные подъ вліяніемъ университетскихъ кафедръ, книгъ, лучшихъ людей, съ какими приходилось встрѣчаться и бесѣдами съ которыми пользоваться, — сюда, въ эти лекціи, вложилъ я и свою, такую твердую въ то время, вѣру въ силу оживившейся родной литературы, — свѣтлая, вскорѣ такъ горько обманувшія насъ всѣхъ, надежды на ея пышный расцвѣтъ. Этотъ курсъ, прочитанный мною стремившейся къ свѣту, такой славной, дѣвущкѣ, гдѣ-то въ уголку генеральской казенной квартиры, куда приходилъ я только на урокъ, тотчасъ же уходя по окончаніи его домой, остается и до сихъ поръ для меня однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній молодости. Не знаю, много ли вынесла изъ этого курса моя ученица, съ которой разстался я съ грустью; но въ моей педагогической дѣятельности онъ, какъ и занятія съ О. А. Поповой, играетъ роль очень важную, въ смыслѣ подготовки къ преподаванію общественному, классному.

А преподаваніе это, хотя пока еще и не въ казенномъ учебномъ заведеніи, почти совпало съ этимъ курсомъ. Еще въ 1863 году, помнится, въ началѣ его, получилъ я, по рекомендаціи г-жи Кауфманъ и матери моей ученицы, Поповой, приглашеніе взять на себя уроки литературы въ женскомъ пансіонѣ Варвары Васильевны Швидковской. Это учебное заведеніе (кромѣ Василеостровскаго училища), первое въ моей учительской практикѣ, стоитъ того, чтобы

о немъ вспомнить. Помѣщающееся и донинѣ, все въ томъ же домѣ, на Невскомѣ, между Литейной и Надеждинской, съ 1869 г., перешедшее къ г-жѣ Стависской и обратившееся въ женскую частную гимназію, оно основано было покойной супругой довольно извѣстнаго въ свое время университетскаго профессора исторіи, г-жей Касторской, впоследствии начальницей Царскосельской женской гимназіи. Кажется, пансіонъ этотъ ничѣмъ особеннымъ не выдавался изъ уровня всѣхъ подобныхъ дореформенныхъ разсадниковъ женскаго образованія; но, переданный, съ начала шестидесятыхъ годовъ, въ другія руки, сразу оживился, пойдя на встрѣчу болѣе серьезнымъ требованіямъ отъ женскаго образованія. Новая владѣлица заведенія, Варвара Васильевна Швидковская, кончивъ курсъ въ Петербургѣ, въ одномъ изъ первоклассныхъ институтовъ, сама дополнила свое образованіе, владѣя превосходно французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ языками. Женщина, еще далеко не старая, умная, видная собой, представительная, она умѣла привлекать къ себѣ людей, и вскорѣ, удостоившись высокаго покровительства своему пансіону Великой Княгини Александры Іосифовны, что, конечно, способствовало, какъ первое, кажется, въ Россіи Высочайшее покровительство частному учебному заведенію, въ глазахъ родителей, его репутациі, сдѣлала свой пансіонъ, по духу и серьезности научныхъ требованій, однимъ изъ лучшихъ въ столицѣ. Поставивъ себѣ задачей воспитывать не барышенъ для салона и жениховъ, а образованныхъ русскихъ дѣвушекъ, она была требова-

тельна и къ себѣ, отдавая заведенію все свое время, и къ учителямъ, и къ учащимся, которыя, не смотря на ея строгость, очень ее любили. Разъ выбравъ извѣстнаго преподавателя, она уже относилась къ нему съ полнымъ довѣріемъ, исполняя его разумныя требованія, и сама съ интересомъ слѣдила за занятіями ученицъ. Понимая важность литературнаго образованія, особенно для женщины, она прежде всего озаботилась устройствомъ хорошей библіотеки и, кромѣ программныхъ знаній, требовала отъ ученицъ начитанности, высоко ставя въ нихъ интересъ къ наукѣ, любознательность. Самый курсъ наукъ былъ поставленъ у нея разумно, по выработаннымъ самими учителями программамъ, которыя въ то доброе старое время не особенно стѣснялись министерскими рамками и предписаніями, а между учителями и ученицами существовали отношенія простыя и добрыя.

Я былъ очень радъ начать классныя занятія именно въ такомъ хорошемъ заведеніи, гдѣ, къ тому же, моими предшественниками по словесности были такіе опытные и хорошіе преподаватели, какъ Гарусовъ (авторъ извѣстной книги *Очерки драматической поэзіи*) и Власовъ, назначенный директоромъ 2-й гражданской гимназіи, поставившіе преподаваніе серьезно и основательно. Съ увлеченіемъ отдался я моимъ новымъ занятіямъ, встрѣтивъ теплое сочувствіе въ добродушномъ и образованномъ окружномъ инспекторѣ, почтенномъ старичкѣ Делѣ, и, кромѣ уроковъ, на которыхъ въ первое время сказалось мое тогдашнее пристрастіе къ литературѣ

народной, подробныя записки по коей были прекрасно составлены по моимъ лекціямъ ученицами, я нерѣдко приходилъ заниматься и по вечерамъ. Эти занятія сводились, большею частію, къ чтенію Островскаго и Шекспира, сначала однимъ мною, а потомъ и по ролямъ, съ ученицами. Такія чтенія очень ихъ заинтересовали и пріохотили къ драматической поэзіи и театру, нерѣдко посѣщаемому ими по моимъ указаніямъ, и вскорѣ повели къ домашнимъ литературно-музыкальнымъ вечерамъ, доставлявшимъ и ученицамъ, и мнѣ не мало удовольствія. Такіе вечера, устраиваемые мною вполсѣдствіи для учащихся, въ стѣнахъ учебныхъ заведеній, гдѣ я училъ, здѣсь мною были введены впервые, и навели меня на мысль о важности въ школѣ выразительнаго чтенія, какъ хорошаго и пріятнаго средства для образованія вкуса и разумнаго пользованія школьнымъ досугомъ. Въ этомъ-то первомъ, кажется, въ Петербургѣ хорошемъ частномъ женскомъ учебномъ заведеніи, въ типѣ гимназій, еще за нѣсколько лѣтъ до открытія женскихъ гимназій Княгини Оболенской, и затѣмъ г-жи Сибирской, и началъ я свое классное преподаваніе словесности и литературы и проучилъ до 1869 г., передавъ свои уроки товарищу В. М. Сорокину, съ которымъ мы вмѣстѣ преподавали въ Василеостровской школѣ.

Интересна дальнѣйшая судьба В. В. Швидковской, имя которой не должно быть забыто въ исторіи русскаго частнаго женскаго образованія. Желая большаго простора своей дѣятельности, она сдала пансіонъ въ 1869 году г-жѣ Ставиской, и сама стала

искать мѣста начальницы института, а въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ получила мѣсто начальницы *Кіевскаго института благородныхъ дѣвицъ*. На сколько серьезно смотрѣла она на свою предстоящую дѣятельность, показываетъ, напр., такое обстоятельство. Получивъ извѣстіе, что мѣсто за нею, и что мѣсяца черезъ три она должна уже ѣхать въ Кіевъ, она разыскала меня, прося пройти съ ней въ общихъ чертахъ курсъ словесности, ознакомить ее съ методикой и учебниками и намѣтить для библіотеки книги. И эта, уже пожилая, женщина, сама лѣтъ восемь ведшая такъ успѣшно цѣлый большой пансіонъ, два мѣсяца училась у меня и нѣкоторыхъ другихъ учителей, только для того, чтобы достойно занять этотъ новый, въ ея глазахъ столь отвѣтственный, постъ. Какіе широкіе планы будущей дѣятельности развертывала передо мною передъ своимъ отъѣздомъ эта юношески увлекающаяся женщина! Съ какими надеждами ѣхала она—исправить, поставить на ноги, оживить большой разсадникъ женскаго образованія на югѣ Россіи, который, какъ она слышала, попустился и не соответствовалъ новымъ требованіямъ отъ образованія! Но не суждено было сбыться этимъ надеждамъ! На первыхъ-же порахъ она столкнулась съ неменѣе ея самолюбивымъ инспекторомъ института, извѣстнымъ историкомъ В. Шульгинымъ. Вышли какія-то недоразумѣнія, взаимныя препирательства изъ-за власти... отношенія обострились, и В. В. вскорѣ должна была оставить заведеніе, куда ѣхала съ такими широкими замыслами... Энергія этой интересной личности, имен-

по призванной, по моему мнѣнію, къ администра-
тивно-педагогической дѣятельности, требовавшей про-
стора и свободы инициативы, сломилась... Какъ-то
незамѣтно сошла она со сцены, что называется, сту-
шеввалась, и я нѣсколько лѣтъ ничего о ней не слы-
халъ...

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, случайно,
узналъ я, что она поселилась въ монастырѣ, но жи-
ветъ не на покой, а, по свойству своей неугомон-
ной натуры, и тамъ принося посильную пользу, обу-
чая дѣтей... Я не удивился... Религіозные задатки,
нѣкоторая экспансивность, въ ней были... Можетъ
быть, теперь она уже и монахиня, и даже игуменья...
А жаль! Арена для такихъ личностей, у насъ въ
Россіи рѣдкихъ, не тѣсная монашеская келья, куда
человѣкъ хоронитъ всѣ свои прежніе замыслы...

За два года (1862—1864), съ окончанія курса въ
университетѣ до поступленія въ Первую Военную
Гимназію, были у меня попытки поступить и на го-
сударственную службу;—вѣрнѣе, не у меня лично,—
потому что я думалъ-было посвятить себя всецѣло
литературѣ, и къ службѣ относился скептически,—но
у моихъ доброжелателей, думавшихъ за меня и по-
лагавшихъ совершенно необходимымъ устроить мо-
лодого человѣка по-прочнѣе. Такъ, первая попытка
была сдѣлана въ 1863 г., со стороны моего дяди,
Н. П. Острогорскаго, какъ-то знавшаго тогдашняго
директора департамента Министерства Народнаго
Просвѣщенія, Андрея Степановича Воронова, къ ко-
торому онъ и обратился съ просьбою о мѣстѣ для

племянника. Вороновъ, жившій тогда на казенной квартирѣ, въ Университетѣ, назначилъ мнѣ явиться. Никогда еще не являвшійся ни къ какому начальству, кромѣ университетскаго, и, вообще, имѣя тогда о высокопоставленныхъ чиновникахъ понятіе весьма проблематическое, и почему-то не очень лестное, пошелъ я по вызову съ предубѣжденіемъ и неохотой. Но, съ перваго же взгляда, этотъ, всего единственный разъ въ жизни видѣнный мною, человѣкъ, произвелъ на меня впечатлѣніе необыкновенной простоты и какого-то прямого доброжелательства, безъ малѣйшей слащавости, или той искусственной, точно заискивающей, любезности, которою любятъ иногда щеголять иные, бьющіе на популярность, сильные міра. А это былъ человѣкъ сильный: — какъ говорили тогда, одна изъ умнѣйшихъ головъ въ министерствѣ, — имѣвшій тамъ огромное вліяніе, рѣдкій по энергіи, неутомимый труженникъ, работавшій чуть не по двадцати часовъ въ сутки. Сильный, трезвый умъ этого настоящаго дѣловика, очень образованнаго, со свѣтлыми взглядами на вещи, понималъ настоящую у насъ потребность въ просвѣщеніи всѣхъ классовъ общества; особенное же значеніе придавалъ онъ образованію народному, опытъ исторіи котораго написалъ, и распространенію котораго всѣми мѣрами и всѣмъ своимъ вліяніемъ содѣйствовалъ. Только много лѣтъ спустя послѣ его ранней и неожиданной смерти, я, въ качествѣ избраннаго Петербургскимъ Комитетомъ Грамотности члена Комиссіи по присужденію медали имени А. С. Воронова, узналъ ближе эту личность и его дѣятельность. Но

и въ упомянутый единственный визитъ къ нему, продолжавшійся, впрочемъ, съ доброй частью, или полтора, онъ, повторяю, произвелъ на меня самое отрадное впечатлѣніе, бесѣдуя со мной, какъ съ равнымъ, и предоставляя мнѣ откровенно высказываться...

Вороновъ предложилъ мнѣ мѣсто учителя русскаго языка и словесности въ Кронштадтской Гимназіи. Для юноши, только что окончившаго курсъ въ Университетѣ, подобное предложеніе должно было бы быть, казалось, очень привлекательнымъ, давая сразу прочное и довольно видное положеніе учителя гимназіи близкой къ столицѣ, и Вороновъ очень удивился, когда отъ предложенія отказался я категорически. Я откровенно рассказалъ ему о своихъ литературныхъ занятіяхъ и знакомствахъ съ литературнымъ міромъ, которыя только что у меня завязывались, и съ переходомъ въ другой городъ, гдѣ я тотчасъ же долженъ былъ уйти въ одно учительство, должны были прерваться, о намѣреніи дополнить свое образованіе, что мнѣ было удобнѣе сдѣлать здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ къ моимъ услугамъ, какъ упомянулъ я раньше, была цѣлая богатѣйшая библіотека Академіи наукъ; здѣсь же былъ тогда и хорошій драматическій театръ, и опера, представлявшіе для меня величайшее наслажденіе. Тутъ и школа, и интересные частные уроки, и товарищи, съ которыми я такъ тѣсно связанъ, и Резенеръ, и Толль... Совсѣмъ этимъ придется разорвать... все бросить, и для чего? Для того, чтобы, такъ-таки сразу поставить точку на і, сказать себѣ въ двадцать три года, что я—учитель провинціальной гимназіи, знающій только

свои классные уроки, и больше ничего? Вѣдь, тамъ, въ Кронштадтѣ, не будетъ ни общества, которое такъ для меня необходимо, ни близкихъ, къ которымъ можно было бы обратиться за совѣтомъ, ни даже частныхъ уроковъ, которые, какъ напр. уроки у Поповой, были школой для меня самого. Я былъ молодъ, полонъ вѣры въ себя, и не думалъ ни о карьерѣ, ни о пенсіи. Въ тайныхъ мечтахъ, на ряду съ учительствомъ, и даже профессорствомъ, на которое звалъ меня А. В. Никитенко, неясно рисовалось и литературное поприще... Нѣтъ,—какъ ни непрочное, ни измѣнчиво мое положеніе матеріальное, я не брошу Петербурга,—еще жившаго тогда такою кипучей умственной жизнью;—не брошу, по крайней мѣрѣ, теперь, когда такъ еще хочется свободы... Все это я откровенно высказалъ Воронову... Онъ слушалъ меня внимательно, не прерывая ни однимъ словомъ. Онъ зналъ нашу Василеостровскую школу, гдѣ не разъ бывалъ самъ, зналъ близко и Резенера, и Толля; слышалъ отъ нихъ и обо мнѣ, и о моихъ литературныхъ опытахъ... Когда я кончилъ, онъ молчалъ, точно обдумывая то, что услышалъ отъ юноши, и, должно быть, отчасти, понялъ меня, потому что, когда онъ, наконецъ, медленно и спокойно заговорилъ о важности для меня этого Кронштадтскаго мѣста, объ эфемерности моихъ мечтаній, небезпечности литературнымъ трудомъ, — словомъ, когда сталъ развивать предо мной совѣты практическаго благоразумія, въ словахъ его не слышалось твердой убѣжденности,—точно думалъ онъ одно, а говорилъ другое. Я, въ свою очередь, выслушалъ его, cobra-

годарилъ за участіе, и остался непоколебимъ. Онъ простился со мной, тепло сказавъ на прощанье, что-бы я непременно обратился къ нему, если встрѣтится надобность. Надобность и встрѣчалась,—и не разъ, но только лѣтъ двадцать позже, когда я былъ уже учителемъ гимназіи, и когда поговорить о своихъ служебныхъ дѣлахъ, посоветоваться съ такимъ человѣкомъ, какъ Вороновъ, было бы и для меня, а, можетъ быть, и для самого педагогическаго дѣла, очень важно; но Воронова уже давно не было въ живыхъ, какъ и многихъ лучшихъ людей на педагогическихъ административныхъ постахъ...

Высказывались, печатались, проводились въ правительственныхъ сферахъ инныя мысли, инныя требованія, и Воронову, еслибъ онъ и остался живъ, едва ли было-бы мѣсто...

Такъ кончилась первая попытка поступленія моего на государственную службу, но за ней вскорѣ послѣдовала и вторая—куръезная...

Еще съ Университета выходило у меня съ уроками какъ-то такъ, что, по большей части, приходилось давать ихъ дѣвицамъ, и все по словесности и литературѣ. Не мало такихъ уроковъ доставлялъ мнѣ А. В. Никитенко, много лѣтъ преподававшій словесность на Николаевской (*благородной*) половинѣ въ Смольномъ Институтѣ, гдѣ инспекторомъ тогда состоялъ старинный пріятель Александра Васильевича, извѣстный переводчикъ сочиненія Гервинуса о Шекспирѣ, завзятый эстетикъ и маленькій стихотворецъ—переводчикъ, предобродушнѣйшій и милѣйшій старичокъ, К. А. Тимошеевъ. Въ томъ-же 1863

году открылись тамъ уроки, оставленные Никитенко, желавшимъ передать ихъ кому-нибудь изъ своихъ учениковъ. Выборъ остановился на мнѣ, и онъ, зная о моемъ отказѣ отъ Кронштадтской Гимназіи, спросилъ, приму ли я предложеніе. Здѣсь было дѣло совсѣмъ другое: институтъ не разрывалъ меня ни съ Петербургомъ, ни съ литературой,—тѣмъ болѣе, что уроковъ предполагалось что-то не болѣе восьми; тѣхъ трудныхъ условій, при которыхъ приходилось заниматься съ малоразвитыми институтками, особенно словесностію, я еще не зналъ; классное же преподаваніе въ томъ учебномъ заведеніи, гдѣ еще недавно былъ инспекторомъ К. Д. Ушинскій, открывало перспективу, какъ мнѣ казалось, самостоятельныхъ педагогическихъ занятій, и я тотчасъ-же согласился. При томъ положеніи академика, профессора и извѣстнаго преподавателя, какимъ пользовался Никитенко, рекомендація его была, конечно, уважена. Черезъ недѣлю, явился я къ Тимофееву, котораго встрѣчалъ у Никитенко, и, обласканный старикомъ, тутъ-же составившимъ и росписаніе уроковъ, былъ направленъ имъ для представленія къ Почетному Опекуну Института, Князю Мещерскому, уже обо мнѣ предупрежденному. Князь, человѣкъ еще не старый и привѣтливый, прекрасно меня принялъ, долго говорилъ о литературѣ и женскомъ образованіи и, оставшись, повидимому, мною доволенъ, самымъ любезнымъ образомъ со мною простился, назвавъ меня даже *«своимъ новымъ сослуживцемъ»*.—«На будущей недѣлѣ — прибавилъ онъ, — я самъ буду у васъ въ классѣ, а вы столкнитесь теперь же съ инспекторомъ»,

когда, до начала занятій, представиться вамъ начальницѣ». Кажется, дѣло можно было считать оконченнымъ, и я, полный радужныхъ мечтаній о будущей педагогической дѣятельности, зашелъ поблагодарить Никитенко, поздравившаго меня съ успѣхомъ, а оттуда отправился прямо къ Тимофееву, ни мало не усомнившемуся въ томъ, что уроки уже за мною:—оставалась только одна формальность—оффиціальное представленіе начальницѣ, извѣстной всему Петербургу, очень вліятельной старухѣ,—кажется, статсъ-дамѣ, Леонтьевой,—представленіе, которое и назначено было на другой день, утромъ, за два дня до начала уроковъ.—«Вы опять зайдите ко мнѣ,—конечно, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ»,—напутствовалъ меня инспекторъ;—«я сведу васъ въ залу, куда она и выйдетъ, когда ей доложить, а я уйду, такъ какъ она любитъ представленіе наединѣ. Все кончится въ нѣсколько минутъ, а вы приходите ко мнѣ завтракать».

Принарядившись, на другой день отправляюсь... По длиннымъ корридорамъ, отъ которыхъ повѣяло на меня холодомъ, чѣмъ-то казеннымъ, непривѣтнымъ, прошли мы въ большое залу, уставленное по стѣнамъ стульями. Молоденькая пепиньерка, прогуливавшаяся съ книгой, пошла доложить... Инспекторъ, пожелавъ мнѣ, какъ онъ полагалъ, несомнѣннаго успѣха и, напомнивъ о завтракѣ, быстро удалился...

Я остался одинъ на концѣ большого зала, со стѣнъ котораго глядѣли на меня портреты царственныхъ особъ... Почему-то мнѣ стало жутко... Прошло томительныхъ четверть часа посреди гробовой тишины,

нарушаемой только иногда доносившимися изъ классовъ громкими выкриками учителей... Вдругъ, большая тяжелая дверь на другомъ концѣ зала открылась настежь, и вдали отъ меня предстала величественная фигура старухи, въ платьѣ съ орденскимъ знакомъ и шлейфомъ, съ лицомъ, сохранившимъ еще остатокъ красоты, съ пронизательными, устремленными прямо на меня, глазами... Вошла,—и стала неподвижно, молча разсматривая меня издали... Такими рисуютъ на портретахъ королевы... Господи, какой маленькой, жалкой, тѣмъ болѣе, въ этой огромной залѣ, должна была казаться, сравнительно съ этой высокой, проникнутой чувствомъ недостижимаго достоинства и власти фигурой, невзрачная фигурка безбородаго, худенькаго юноши, съ большими темными волосами, еще рѣзче выдѣлявшими худобу блѣднаго лица, съ косоватыми глазами, въ старомодномъ фракѣ, неуклюже сидѣвшемъ на узкихъ плечахъ!.. Я, молча, сдѣлалъ вѣсколько шаговъ впередъ; величественно и медленно пошла мнѣ на встрѣчу и Леонтьева. По срединѣ зала мы оба остановились другъ противъ друга. Она была выше меня чуть не головой, и, не то съ любопытствомъ, не то съ изумленіемъ, самымъ внимательнымъ образомъ и все молча, стала разсматривать меня сверху внизъ, съ ногъ до головы. Такъ разсматривалъ, вѣроятно, блѣднаго Гулливера, попавшаго къ великанамъ, король ихъ острова-Бробдингнага. Я не выдержалъ взгляда и опустилъ глаза. А она все молчитъ. Наконецъ, я начинаю: «По приказанію Вашего Превосходительства, въ качествѣ будущаго

преподавателя, честь имѣю представиться...» Она прервала, протягивая слова: «Знаю... вы тотъ... да, Острогорскій... хотите учить»...—и вдругъ остановилась... Я хотѣлъ было выразить благодарность за оказываемую мнѣ честь; но «королева» рѣзко оборвала меня, продолжая все такъ же пронизывать меня глазами:—«Вы... вы злой... нервный... да, нервный, злой!! Вы здоровы?» Я поспѣшилъ отвѣтить, что совсѣмъ здоровъ, что даю уроки ужъ нѣсколько лѣтъ, и ученицы на меня не жаловались... Возраженіе ей не понравилось. Она, уже гнѣвно, еще разъ смѣрила меня глазами и, повторивъ еще болѣе раздѣльно:—«не добрый, злой... нервный»...,—быстро обернувшись, не удостоивъ, какъ и раньше, меня даже поклономъ,—и величественно вышла въ ту же дверь, въ какую вошла, и я опять остался въ залѣ одинъ. Аудіенція кончилась.

Тридцать два года прошло съ этого дня, но, какъ теперь, передъ моими глазами эта холодная зала съ портретами,—эта, точно вышедшій изъ этихъ рамокъ портретъ, высокая старуха со своимъ ледянымъ взглядомъ и недобрыми складками губъ; до сихъ поръ слышу эти немногія, отрывочныя, тогда показавшіяся мнѣ просто страшными, слова, которыя не забылись и до сихъ поръ,—слова, такъ рѣшительно и безапелляціонно захлопнувшія предо мной двери въ этотъ аристократическій разсадникъ прежняго женскаго просвѣщенія.

Легко представить себѣ эффектъ, произведенный моимъ рассказомъ объ аудіенціи на добрыйшаго инспектора, встрѣтившаго меня съ поздравительнымъ

стаканомъ вина въ рукахъ! Онъ тотчасъ-же побѣжалъ къ Леонтьевой, увѣряя, что вышло, вѣрно, какое-нибудь недоразумѣніе, что она, молъ, хотя женщина и странная, но очень умная, добрая, и т. п. Но вернулся онъ, какъ опущенный въ воду, и сконфуженно сообщилъ, что я почему-то страшно ей не понравился; что у нея, какъ она говоритъ, чутье, — словомъ, что она не желаетъ имѣть меня преподавателемъ, и больше ничего. Долженъ я былъ явиться и рассказать объ этой оказіи и кн. Мещерскому. Тотъ, оскорбленный такимъ отношеніемъ къ своей рекомендаціи, уже совсѣмъ раскипятился, и, несмотря на мои увѣренія, что я самъ никакъ не желаю начинать учительской карьеры при такихъ обстоятельствахъ, сейчасъ-же помчался къ Леонтьевой, но, несмотря на свое высокое положеніе, тоже ничего не сдѣлалъ. Леонтьева объявила категорически, что я въ институтъ не буду. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Такъ, не сдѣлавшись на первыхъ порахъ учителемъ гимназій, не сдѣлался я и учителемъ въ аристократическомъ институтѣ,—и, признаться, не жалѣю объ этомъ.

Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ третій годъ былъ для меня особенно счастливымъ въ отношеніи занятій. Были и хорошіе уроки, и работа въ «Учителѣ», и въ обоихъ словаряхъ, Лаврова и Толля, наконецъ,—что давало особенно хорошій заработокъ—это постоянное сотрудничество въ журналѣ *Библиотека для Чтенія*, только что приобрѣтенномъ отъ Писемскаго П. Д. Боборыкинымъ, тогда еще совсѣмъ

молодымъ человѣкомъ и начинающимъ писателемъ. Онъ, кажется, около этого времени получилъ большое наслѣдство и повелъ дѣло очень широко, щедро расплачиваясь съ сотрудниками. Но репутацію журнала, которую сильно пошатнула неумѣлая редакція Писемскаго, скомпрометировавшаго себя въ концѣ 1861 г. извѣстнымъ фельетономъ о воскресныхъ школахъ, подписаннымъ псевдонимомъ—Никита Безрыловъ,—и полемикою въ 1862 г.,—поднять было нелегко, точно также, какъ и вообще солидно и прочно поставить журналъ. Направленіе и намѣренія у мягкаго и увлекающагося П. Д. были самыя добрыя; онъ уже много писалъ, и имѣлъ литературныя связи, но у него не было достаточной провицательности въ выборѣ людей, нужной для строгаго проведенія извѣстнаго направленія, не было и устойчивости характера, чтобы устоять противъ разныхъ вліяній... Это-то, черезъ два какихъ-нибудь года, и погубило журналъ въ конецъ, введя бѣднаго редактора въ страшные долги, которые приходилось потомъ уплачивать много лѣтъ. Но, когда, въ февралѣ 1863 г., по рекомендаціи П. Л. Лаврова, вступилъ я въ редакцію, въ качествѣ постоянного сотрудника по критикѣ и библіографіи *), журналъ произвелъ на меня самое пріятное впечатлѣніе какъ привѣтливостью и благородствомъ мыслей самого редактора, такъ и пре-

*) Я дебютировалъ въ критикѣ большою статьей «Помяловскій, его типы и очерки» въ Апрѣлѣ, а за ней слѣдовали въ томъ-же году «Кохановская» и «Богатые и бѣдные дворяне-собственники» (о ром. А. А. Потѣхина «Бѣдные дворяне»).

Авторъ.

красною личностью, немножко медлительнаго, добродушнѣйшаго москвича, Эдельсона, на которомъ лежало управленіе критическимъ отдѣломъ, и общимъ, какимъ-то бодрящимъ, юношескимъ, духомъ редакціи, въ которой было много талантливой, только что еще выступавшей въ литературу, молодежи. Мое направленіе и статьи встрѣчены были редакціей полнымъ сочувствіемъ; въ журналѣ появилось нѣсколько очень талантливыхъ, свѣжихъ вещей по беллетристикѣ, какъ, напримѣръ, только что еще начинавшаго писать Н. А. Лейкина, Левитова, Вадима и др. О журналѣ заговорили... Онъ могъ привлечь къ себѣ симпатіи лучшей части читающей публики и заставить забыть о прежней редакціи. Но, вотъ, вошли очень скоро въ журналъ разныя личности, сомнительной литературной репутаціи и неопредѣленныхъ убѣжденій, П. Д. имѣлъ неосторожность приблизить ихъ къ себѣ и, если и не слушаться ихъ, то, по крайней мѣрѣ, слушать... Уже осенью, стали по временамъ заходить въ редакціи рѣчи объ упадкѣ эстетической критики, о слишкомъ, яко-бы, рѣзкомъ тонѣ «Современника» и «Русскаго Слова», поговаривали даже и о томъ, что нужно бы выступить походомъ противъ «очеркивателей», какъ назвалъ кто-то у насъ въ редакціи Н. В. Успенскаго и другихъ авторовъ разсказовъ изъ народнаго быта, на который естественно обратила послѣ освобожденія крестьянъ вниманіе литература. Я спорилъ, возражалъ, горячился... и сталъ замѣчать, что вѣтеръ подулъ въ другую сторону... Въ обществѣ и литературѣ, подъ вліяніемъ польскаго возстанія и филиппикъ вошед-

шихъ въ силу «Московскихъ Вѣдомостей», подвигалась реакція... Я, чувствуя, что положеніе мое въ журналѣ непрочно, если только не поступлюсь моими взглядами, симпатіями, убѣжденіями, сталъ охлаждать къ журналу, и, хотя и ходилъ въ редакцію, но съ ноября не писалъ уже ничего. Толль, которому повѣрялъ я свое горькое для меня разочарованіе въ журналѣ, съ которымъ соединялось у меня столько свѣтлыхъ литературныхъ надеждъ и замысловъ, понималъ меня, горячо мнѣ сочувствовалъ и настаивалъ, чтобъ я поступилъ рѣшительно, т.-е. или добился бы того, чтобы мнѣ было предоставлено писать, что и какъ хочу, или прямо вышелъ бы изъ редакціи. Случай высказаться окончательно не заставилъ себя ждать. Какъ обыкновенно бываетъ въ редакціяхъ въ концѣ года, уже въ ноябрѣ пошли у насъ разговоры о томъ, какія намѣтить темы по критикѣ на будущій 1864 годъ, и, хорошенько не помню, я ли самъ, или П. Д., намѣтилъ большую статью объ умершемъ въ 1862 г. Добролюбовѣ, о которомъ ни одинъ журналъ еще опредѣленно и серьезно не высказался. Статья должна была быть очень отвѣтственной и прямо ребромъ поставить на правленіе и симпатіи молодой редакціи, до сихъ поръ еще хорошенько не опредѣлившейся. Эдельсонъ, со свойственнымъ ему прямотушіемъ, объявилъ, что боится быть пристрастнымъ, такъ какъ многое ему, какъ эстетикъ, въ Добролюбовѣ не нравится, да и не хочется ему писать большой статьи, и потому статья должна быть дана мнѣ, и выйти не позже *февраля*, а то и въ январѣ, какъ *profession de foi*

редакціи. Я съ восторгомъ принялъ предложеніе, которое для меня было тѣмъ болѣе пріятно, что Добролюбова зналъ я лично, а сочиненія его чуть не наизусть, и, послѣ Бѣлинскаго, считалъ его лучшимъ своимъ руководителемъ. Но, въ виду отвѣтственности статьи, П. Д. заявилъ, что слѣдуетъ мнѣ, до ея представленія, набросать подробный ея конспектъ со всѣми главнѣйшими положеніями и обсудить его съ ближайшими членами редакціи. Противъ этого я, конечно, ничего не имѣлъ, и собраніе съ этою цѣлью тутъ-же было назначено на рождественскій сочельникъ 1863 года.

Даже своей первой юношеской комедіи «*Липочка*» (1861 г.), даже первой своей критической статьи о любимомъ моемъ писателѣ Помяловскомъ, не писалъ я, кажется, съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ принялся въ декабрѣ за Добролюбова. Уроки и работа по «Словарю» отнимали много времени, но я просиживалъ ночи надъ перечитываніемъ критика и выписками, бесѣдуя о будущей статьѣ съ Толлемъ и Резенеромъ, жаркими поклонниками покойнаго. Вѣдь, статья моя о Добролюбовѣ, о которомъ столько разнообразныхъ толковъ, будетъ о немъ первая! Сколько надеждъ на литературную извѣстность соединялось съ этою статьей, которая, какъ мнѣ казалось, должна была рѣшить всю мою будущность! Она была для меня гамлетовскимъ вопросомъ: — быть или не быть, — т. е. быть ли мнѣ учителемъ, или литераторомъ.

Наступилъ, наконецъ, и сочельникъ, а съ нимъ и вечернее собраніе въ редакціи, послѣ котораго Толль звалъ меня къ себѣ на елку, чтобы, въ случаѣ

успѣха съ конспектомъ, выпить на радости за будущую статью. Но пить ни за успѣхъ въ редакціи, ни за нее, не пришлось. Собраніе, противъ моего ожиданія, вмѣсто интимнаго, редакціоннаго, вышло очень многочисленное. Въ числѣ присутствующихъ я увидѣлъ лицъ, съ которыми я совсѣмъ расходился въ моихъ литературныхъ взглядахъ, и крайне мнѣ несимпатичныхъ, да и въ журналѣ то бывшихъ, какъ мнѣ казалось, только случайными сотрудниками. Всѣ были уже въ сборѣ, торжественно усѣвшись за длиннымъ столомъ, и ждали только меня, чтобы начать собраніе. Было-ли это такъ на самомъ дѣлѣ, или только мнѣ показалось, но въ самомъ обращеніи со мной редактора замѣтилъ я на этотъ разъ по отношенію къ себѣ что-то особенное, какую-то неловкость, натянутость. Словомъ, — во всемъ чувствовалось что-то такое, что еще до чтенія тезисовъ, привело меня въ нѣкоторое смущеніе... Я сталъ читать и развивать свои тезисы недостаточно спокойно, волнуясь и горячась при возраженіяхъ. А возраженія сыпались съ разныхъ сторонъ, нося характеръ предубѣжденности противъ статьи, или противъ меня лично со стороны моихъ литературныхъ убѣжденій вообще, и, наконецъ, приняли прямо боевой характеръ: вопросъ о Добролюбовѣ былъ тогда одинъ изъ самыхъ жгучихъ. Редакторъ почти ничего не говорилъ, держась больше нейтрально и предоставивъ сражаться съ противниками мнѣ. Эдельсонъ упорно молчалъ. Скоро я увидѣлъ ясно, что расходюсь съ редакціей не только въ тѣхъ или другихъ подробностяхъ статьи, но и въ самомъ ея основаніи,

въ своемъ общемъ взглядѣ на Добролюбова и его реальную критику. Не только постановка его прямымъ и великимъ продолжателемъ Бѣлинскаго, но и вообще крупное его значеніе возбуждало сомнѣніе, кажется, даже въ самомъ редакторѣ. Даже манера критика, его приговоры, колкія вышучиванія запоздалыхъ эстетиковъ и недомысліе въ иныхъ, даже талантливыхъ, писателяхъ, возбуждали со стороны большинства собранія порицанія, — словомъ, выходило въ концѣ концовъ даже такъ, что я, вмѣсто того, чтобы воздать критику справедливое уваженіе, едва-ли не долженъ былъ выступить противъ него походомъ. Этого всего было слишкомъ достаточно, чтобы увидѣть очень ясно, что я совершенно расхожусь съ редакціей въ основныхъ принципахъ, и что въ *«Библіотекъ для чтенія»* мнѣ болѣе дѣлать нечего. Я далъ это замѣтить. Ни редакторъ, ни Эдельсонъ серьезно мнѣ на это ничего не возразили, отдѣлываясь общими мѣстами, и, прямо не отказываясь отъ сотрудничества, но категорично заявивъ, что ни статьи о Добролюбовѣ, да и ничего другого пока писать не буду, уже за полночь уѣхалъ я изъ редакціи, отказавшись отъ ужина. Что говорилось и проэктировалось тамъ въ этотъ вечеръ послѣ меня, не знаю, но больше въ редакціи *«Библіотеки для чтенія»* я уже не былъ, а появленіе въ журналѣ въ будущемъ же 1864 г. извѣстнаго тенденціозно-обличительнаго и столь неумѣстнаго по времени романа Лѣскова *«Некуда»*, какъ нельзя болѣе ясно показало новое направленіе, принятое редакціей, съ которымъ общаго, конечно, ничего быть у меня не могло...

Хотя и поздно, я все-таки поѣхалъ къ Толлю, который съ нетерпѣніемъ ждалъ меня. Какъ тяжело, больно, какъ страшно пусто, холодно было на душѣ въ эту памятную для меня рождественскую ночь 24 Декабря 1863 г.! Надежды на успѣхъ самой горячей моей статьи, гдѣ я намѣревался высказать свое литературное profession de foi, мечты о будущей литературной карьерѣ, такъ меня манившей, не говорю уже о занятомъ было, какъ мнѣ казалось, прочномъ положеніи въ молодой редакціи, къ которой успѣлъ я привязаться всей душой, наконецъ, о постоянномъ хорошемъ заработкѣ, обеспечивавшемъ возможность спокойно работать надъ тѣмъ, что хотѣлось высказать, — все было разбито, уничтожено сразу и безповоротно, какъ и вѣра въ любимый журналъ, обѣщавшій было, какъ мнѣ наивно казалось, прочное созданіе новаго передоваго литературнаго органа... Съ мечтой о литературной карьерѣ приходилось покончить... Выборъ былъ только между нею и очень симпатичнымъ мнѣ учительствомъ; — оставалось послѣднее, къ которому я и пришелъ, все-таки никогда не разрывая совсѣмъ связи съ литературой...

Поздно ночью пріѣхалъ я къ Толлю и рассказалъ все... Нервы не выдержали, я оплакивалъ, я хоронилъ свои самолюбивыя, молодыя, несбывшіяся мечты... Хорошо, у кого въ такія минуты найдется другъ, могущій во-время поддержать, придать бодрости... Такимъ человѣкомъ былъ для меня Толль, пристыдившій меня въ моей слабости и не давшій малодушно опустить голову и руки... Я уѣхалъ отъ

него на разсвѣтъ, ободренный... Чувствовалось даже самолюбивое довольство безповоротнымъ рѣшеніемъ порвать сразу съ «Библіотекой» ради вѣрности своимъ убѣжденіямъ; впереди опять, хотя и неясно, неопредѣленно, мелькала надежда на осуществленіе мысли объ учительствѣ, какъ величайшей общественной миссіи... а за учительствомъ, еще дальше, еще неяснѣе, все-таки манила къ себѣ все-та же литература...

Разрывъ съ «Библіотекой для чтенія» совсѣмъ спуталъ мое матеріальное положеніе, и 1864 годъ былъ особенно для меня тягостенъ. Уроковъ было мало, «Энциклопедическій словарь» Лаврова прекратился, журналъ «Учитель» и Толлевскій Словарь давали также немного. А между тѣмъ, именно въ этомъ-то, знаменательномъ для меня, году, обстоятельства совершенно личнаго характера поставили меня въ нравственную обязанность имѣть довольно значительный ежемѣсячный заработокъ. Къ Маю этого года я, какъ и въ первый годъ своего студенчества, очутился даже безъ квартиры, на одномъ скудномъ литературномъ заработкѣ, который приходилось отдавать почти весь; частные же уроки, какъ обыкновенно, къ лѣту прекратились.

Но тутъ случилось обстоятельство, хотя нѣсколько, меня выручившее. П. В. М—скій, о которомъ говорилъ я раньше въ своихъ воспоминаніяхъ, познакомилъ меня и другихъ товарищей со своей молодой женой. Жена его, увлеченная мыслью о женской самостоятельности, задумала найти себѣ какое-

нибудь нравственно удовлетворяющее дѣло. Въ то время еще очень много читала и училась русская публика, и въ Петербургѣ возникали частныя библіотеки, дававшія сносный заработокъ. В. К. М—ская, остановившись именно на библіотекѣ съ кабинетомъ для чтенія, захотѣла привести свою мысль въ исполненіе какъ можно скорѣе, и вотъ, уже въ началѣ мая 1864 года, нѣсколько человекъ изъ нашего кружка собрались у М—скаго для обсужденія предпріятія. Положено было, кромѣ книгъ по всѣмъ отдѣламъ и въ извѣстномъ выборѣ, озаботиться особенно пріобрѣтеніемъ всѣхъ выдающихся журналовъ за всѣ годы ихъ существованія и составить особый каталогъ, куда бы вошли въ извѣстныхъ рубрикахъ и журнальныя статьи. Библіотеку предполагалось открыть уже въ концѣ Августа, и въ три мѣсяца нужно было и пріобрѣсти книги и журналы, и составить и напечатать каталогъ, и найти помѣщеніе, — словомъ, устроить все. Покупка книгъ началась тотчасъ-же, а составленіе каталога было поручено мнѣ. М—скіе уѣхали на лѣто въ Ревель, а въ ихъ квартирѣ, на Петербургской сторонѣ, въ отдѣльномъ домѣ, въ саду, поселился я, и все лѣто работалъ надъ составленіемъ каталога, вмѣстѣ съ тѣмъ и закупаая книги, при дѣятельной помощи расторопнаго и практичнаго моего пріятели Н. К. В—ра, того самого, котораго у насъ въ кружкѣ, какъ я говорилъ, звали почему-то «слоной». Работа по каталогу, потребовавшая, особенно въ такой короткій срокъ, съ моей стороны не малаго труда, къ августу была *кончена*; книгъ и журналовъ понакупили болѣе трехъ

тысячъ томовъ, и прїѣхавшему въ началѣ августа М—скому оставалось найти квартиру, перевестись, устроиться и напечатать каталогъ. Конечно, ближайшими помощниками его явились я и Н. К. В—ръ. И вотъ, найдена была квартира въ Казанской улицѣ, противъ Столярнаго переулка, куда и перевезли мы книги. Живымъ духомъ была устроена въ какихъ-нибудь двѣ недѣли вся обстановка, напечатанъ, къ концу августа, *первый* въ Россіи, мой каталогъ книгъ и *журнальныхъ статей*, повѣшена вывѣска, а вскорѣ воспослѣдовало и открытіе *Библіотеки для чтенія В. К. Макалинской*. Эта бібліотека, одна изъ лучшихъ въ Петербургѣ по богатству и строгости выбора книгъ, а также и своимъ порядкамъ, оставалась въ рукахъ ея основательницы, отдававшей ей все свое время, болѣе двадцати двухъ лѣтъ, а каталогъ, постепенно дополняемый уже самой М—ской, выдержалъ нѣсколько изданій, принеся, какъ говорятъ, не мало пользы нѣсколькимъ поколѣніямъ учащейся молодежи и литературно-работающему люду. Мнѣ же, въ смыслѣ дополненія своего литературнаго образованія, эти три мѣсяца работы надъ разборкой цѣлой массы книгъ, изъ которыхъ многое удалось, если не перечитать, то просмотрѣть, принесли пользу несомнѣнную.

Библіотека В. К. Макалинской была послѣднимъ крупнымъ фактомъ двухлѣтняго періода моей жизни, который я называлъ бы *подготовительнымъ* къ моему, уже не только частному, но и официальному учительству. Недѣли за двѣ до открытія Библіотеки, я, совершенно незнавшій въ это время, что буду къ-

латъ съ собой дагѣе, и даже просто, чѣмъ и какъ буду существовать, неожиданно получаю по городской почтѣ письмо отъ неизвѣстнаго мнѣ инспектора 1-й Военной Гимназіи, Порфирія Никитича Бѣлохи, съ приглашеніемъ пожаловать къ нему для переговоровъ объ урокахъ русскаго языка.

Періодъ моихъ скитаній кончился; наступалъ новый, и многолѣтній, занявшій большую часть моей жизни и дѣятельности,—періодъ учительской службы въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ мужскихъ и женскихъ.

VII.

Тридцать лѣтъ назадъ (1864 г.).—Общая картина тогдашней педагогической жизни.

Въ ходѣ общественной и исторической жизни страны любопытно и полезно иногда, по прошествіи извѣстнаго періода времени, оглянуться назадъ и посмотреть: а что было и какъ въ извѣстномъ отношеніи въ этой странѣ въ началѣ этого періода? Такая оглядка на прошлое помогаетъ сравненію этого прошлаго съ настоящимъ; напоминаетъ многое изъ забытаго, и многихъ изъ забытыхъ; преисполняетъ сердце печалью, или гордою радостью, смотря потому, насколько общество ушло впередъ.

Среди различныхъ проявленій государственной и общественной жизни, особенно у насъ въ Россіи, безъ сомнѣнія, одну изъ самыхъ важныхъ и первыхъ ролей должно играть воспитаніе и образованіе,—такъ сказать, въ обширномъ смыслѣ, педагогія. И вотъ, именно въ этой - то области, хотѣлось бы мнѣ, воспользовавшись тѣмъ, что въ 1894 г. исполнилось тридцатилѣтіе моей собственной педагогической дѣятельности, оглянуться на тотъ историческій моментъ, когда я, еще двадцатичетырехлѣтнимъ юношей, полный силъ, надеждъ и вѣры и въ себя са-

мого, и въ блестящую будущность всеобщаго просвѣщенія только что освобожденнаго Монаршей волей народа, вступалъ на поприще учителя. Хочу сказать только нѣсколько словъ о педагогическомъ настроеніи общества, направленіи, духѣ воспитанія, объ общей педагогической атмосферѣ, которая тридцать лѣтъ назадъ захватывала собою молодежь, выступавшую съ университетской скамьи на педагогическое поприще. Оговариваюсь заранѣе, что буду говорить только въ самыхъ общихъ чертахъ, на основаніи своего личнаго опыта и памяти, и почти исключительно о Петербургѣ, гдѣ и прошли для меня всѣ эти тридцать лѣтъ.

Въ яркой, никогда не забываемой, величественной, полной глубочайшаго смысла, картинѣ встаетъ въ моемъ воображеніи знаменательный историческій моментъ начала шестидесятихъ годовъ. Это былъ, такъ сказать, кульминаціонный пунктъ наибольшаго подъема нашего общественнаго духа, окрыленнаго самыми радужными, патріотическими, надеждами. Только что совершившійся фактъ освобожденія крестьянъ и связанныя съ освобожденіемъ ожидаемыя реформы (законы о печати, открытый судъ, земство),— все это потребовало немедленно и неотступно огромнаго количества людей грамотныхъ, воспитанныхъ, образованныхъ, которые могли бы безкорыстно и честно служить обновленной странѣ на всѣхъ разнообразѣйшихъ поприщахъ дѣятельности и общественной, и государственной, и земской... Въ комъ же было и видѣть, въ ближайшемъ будущемъ, этихъ дѣятелей, какъ не въ подрастающемъ поколѣніи всѣхъ

классовъ общества? И вотъ, совершенно естественно, вниманіе всѣхъ, кто только былъ тогда сколько нибудь образованъ, развитъ, могъ чувствовать и думать, сразу обратилось, еще съ конца пятидесятихъ годовъ, къ вопросамъ педагогическимъ. Эти вопросы, поднятые теоретически Екатериною II, перешедшіе было, въ концѣ еще прошлаго столѣтія, на практическую почву, благодаря Дружескому Обществу и незабвенному Н. И. Новикову, ненадолго всколыхнувшіе русское общество въ первую половину царствованія Александра Благословеннаго, горячо, хотя и робко трактуемые Бѣлинскимъ, наконецъ прямо и энергично проповѣдуемые Пироговымъ и Ушинскимъ,—эти вопросы захватили теперь всѣхъ... Правда, къ осени 1864 г., когда я вступилъ на педагогическое поприще, уже началась нѣкоторая реакція педагогическаго движенія: были, напр., уже закрыты воскресныя школы, а офиціозныя Московскія Вѣдомости, съ Катковымъ во главѣ, съ циническою настойчивостью и безшабашной придирчивостью къ отдѣльнымъ, частнымъ, случайнымъ явленіямъ и инсинуированіемъ на послѣднія, указывали опасность просвѣщенія; но, вообще, движеніе въ обществѣ было еще въ полной силѣ. Педагогическое настроеніе уже успѣло вызвать къ дѣятельности многихъ сильныхъ людей, а эти люди, облеченные мудростью, талантомъ, а то и властью, успѣли, если не довести до конца, до полного благотворнаго развитія, то, по крайней мѣрѣ, положить основу многимъ свѣтлымъ явленіямъ въ области русскаго просвѣщенія, показавъ, чего можно было ожидать отъ этихъ явле-

ній добраго въ будущемъ. Каково же было это настроеніе, что же эти были за люди, и чѣмъ именно, какими явленіями въ педагогической области, они себя обнаружили?

Настроеніе это, въ общемъ, можно было бы, кажется, всего лучше охарактеризовать словомъ *чужанность* въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. У всѣхъ главною цѣлью всего воспитанія и образованія, самую первую, важнѣйшею, задачею, явилось приготовленіе школою, какая бы она ни была, низшая, средняя, или высшая, военная или гражданская, мужская или женская, — приготовленіе здравомыслящаго, благородно чувствующаго человека для жизни, т.-е. для того, чтобы этотъ человекъ, благодаря полученному воспитанію и образованію, получилъ вкусъ и интересъ къ жизни, уразумѣлъ ея великій смыслъ, сѣумѣлъ бы найти себѣ по душѣ и наклонностямъ честный трудъ и имъ послужить своей родинѣ, которой онъ есть гражданинъ и слуга. Не офицера, не чиновника, не барина и не мужика, не невѣсту-барышню, не жену, или мать спеціально, а именно *человѣка* вообще, независимо отъ пола, сословія или состоянія, — человека съ яснымъ, логическимъ умомъ, съ преобладаніемъ чувствъ высшихъ надъ низшими, съ добрыми желаніями, твердой волей, съ опредѣленными идеалами для достиженія страною возможно большаго счастья, — вотъ какого человека хотѣли видѣть тогда въ оканчивающемъ курсъ школьникѣ, или даже и въ автодидактѣ. Вотъ почему школа того времени придавала такое великое значеніе элементу воспитанія души въ

благородномъ умонаклоненіи, что даже и само образование стало принимать характеръ воспитательный. Развей умъ ребенка, заставь и приучи его думать, пробуди въ немъ прежде всего любознательность и охоту къ умственному труду, разбуди его добрыя чувства, особенно уваженіе къ себѣ и другимъ, обрати узкій эгоизмъ въ стремленія альтруистическія,—вотъ основа всего воспитанія, вотъ на чемъ долженъ основаться тотъ капиталъ, который зовется суммою общеобразовательныхъ знаній. Разъ,—этихъ основаній нѣтъ; разъ—школа этими цѣлями не задается,—все образование зиждется на пескѣ; оно—не нужный, а иногда, можетъ быть, и вредный скарбъ, багажъ, только обременяющій человѣка на жизненномъ пути и наполняющій его самомнѣніемъ. «Ищите прежде всего царствія Божія и правды его, все остальное приложится вамъ»—вотъ что говорятъ правдивыя божественныя слова, и вотъ эту-то правду и видѣла школа шестидесятихъ годовъ въ гуманности, въ воспитаніи честной личности человѣка и гражданина, стремящагося возможно болѣе послужить на пользу родинѣ. И это—самое симпатичное, самое увлекательное въ указываемомъ мною тогдашнемъ настроеніи! Это, такъ сказать, самая поэтическая и важная его сторона. И если самой большой стороной русской жизни, ясной для всѣхъ, являлось во очію именно отсутствіе этой гуманности, нравственной воспитанности, не говоря уже о темной массѣ, но даже въ большинствѣ лицъ изъ классовъ высшихъ, то совершенно естественно было охватившее всѣхъ желаніе возможно скорѣе и лучше огумани-

зировать свою родину. Это — благородная, *патриотическая*, сторона движения, это — тотъ, особенно драгоцѣнный въ обществѣ, патриотизмъ, который видитъ благо родины, ея духовное и экономическое благосостояніе въ самомъ широкомъ, всесловномъ, всѣмъ доступномъ, просвѣщеніи; это былъ тотъ патриотизмъ, который такъ поднялъ въ послѣднее время просвѣщеніе въ дружественной намъ Франціи, — тотъ патриотизмъ, который въ послѣдніе годы вызвалъ народные университеты и общества распространенія просвѣщенія въ Англіи, Швеціи, Норвегіи и Америкѣ. Намъ нужны мыслящіе и честные люди, какъ можно больше людей, работниковъ на всѣхъ поприщахъ дѣятельности въ освобожденной и реформируемой, еще такой бѣдной, такой темной, странѣ, которая однако полна естественными богатствами, требующими умѣлыхъ рукъ, чтобы ихъ взять, которая не обижена отъ Бога и талантами!.. — вотъ что говорили и думали въ шестидесятихъ годахъ лучшіе изъ русскихъ людей, и вотъ почему это гуманно-педагогическое настроеніе было такъ симпатично и такъ звало всѣхъ *«впередъ подъ знаменемъ науки»*, какъ горячо взывалъ къ обществу, въ своемъ восторженномъ гимнѣ, покойный поэтъ гуманности А. Н. Плещеевъ. Много, конечно, во всемъ этомъ настроеніи было и незрѣлаго, пожалуй, и немножко наивнаго въ этой вѣрѣ въ скорое осуществленіе идеаловъ; не мало было и ошибокъ, и увлеченій во многихъ нашихъ попыткахъ осуществить поскорѣе на дѣлѣ такіа воспитательныя задачи; но сколько же было зато и прекраснаго, и высокаго,

въ этомъ общественномъ настроеніи, которое выставило своимъ девизомъ *гуманность, всесословность и осчастливленіе своей родины знаніемъ, просвѣщеніемъ*. Это настроеніе, охвативъ общество, захватило, вмѣстѣ съ тѣмъ, и просвѣщенное правительство, заявившее себя цѣлымъ рядомъ воспитательно-образовательныхъ реформъ, какъ преобразованіемъ учебныхъ заведеній старыхъ, такъ и основаніемъ многихъ новыхъ школъ, высшихъ, среднихъ, и особенно народной школы.

Такое общее гуманно-педагогическое настроеніе, проникнутое патріотическимъ стремленіемъ къ благу родины, возродившейся къ новой жизни, точно волшебствомъ какимъ выдвинуло сразу цѣлый рядъ талантливыхъ и энергичныхъ людей, которые и стали во главѣ движенія, и своею властею, перомъ, живымъ словомъ, преподаваніемъ, тотчасъ же стали осуществлять эти педагогическія стремленія и идеалы въ жизни. У насъ, особенно въ нынѣшнее время, любятъ повторять, что нѣтъ людей, что всѣ таланты повымерли; что ни одна интеллектуальная профессія почти не выдвигаетъ, молъ, ни одного выдающагося дѣятеля. Неправда! Никакое органическое, способное къ развитію, тѣло не умираетъ; оно только временно скрываетъ свои силы до тѣхъ поръ, пока не наступитъ благопріятный моментъ для ихъ полного проявленія. Жизни, мысли убить нельзя! Не умираетъ общество, не умираетъ народъ, имѣющій свою исторію, и въ эпохи застоя, иногда и продолжительныя, понемногу собирается съ силами, изучаетъ свое прошлое, набираясь опыта и мудрости,

и, какъ только снова наступить моментъ пробужденія, сразу выдвигаетъ изъ своей среды цѣлый рядъ дѣятелей... Такъ было въ исторіи всюду и всегда; было такъ и у насъ. Чего ужъ, кажется, мрачнѣе эпохи конца сороковыхъ и начала пятидесятихъ годовъ, а посмотрите, сколькихъ, напр., крупныхъ писателей подготовили эти годы, — писателей, которые только ждали момента, чтобы развернуться во всю ширь. И Тургеневъ, и Григоровичъ, и Гончаровъ, и Достоевскій, и гр. Л. Толстой, и Писемскій, и Островскій, и Некрасовъ—всѣ они развивались и окрѣпали именно въ эти печальные годы. Тоже было и на всѣхъ другихъ поприщахъ дѣятельности, не только въ художественной и критической. Явились коренныя реформы, какъ освобожденіе крестьянъ и судебная,—реформы, сразу измѣнившія условія жизни,—явились и люди, и вся Россія ихъ знаетъ и чтитъ ихъ имена. Какъ растенію нуженъ свѣтъ, тепло, воздухъ, почва, чтобы оно расцвѣло, заявивъ себя пышнымъ цвѣтомъ и сладкимъ плодомъ, такъ и выдающимся людямъ нужны извѣстныя общественныя условія, чтобы проявить на дѣлѣ таящіяся въ нихъ способности.

Вспомнимъ только, сколько лишь на моей памяти, на моихъ глазахъ, въ одномъ Петербургѣ, тридцать лѣтъ назадъ жило и дѣйствовало на одномъ педагогическомъ поприщѣ, высокоталантливыхъ, выдающихся людей,—и какихъ людей! Тутъ и гр. Д. А. Милютинъ, и Пироговъ, и Ушинскій, и Н. А. Вышнеградскій, и Рѣдкинъ, и Кавелинъ, и Чистяковъ, и Стоюнинъ, и Водовозовъ, и Погосскій, и Золотовъ,

и Резенеръ, и Паульсонъ, и Толль и многіе, многіе другіе, чьи имена съ благодарностью вспоминають воспитанныя ими поколѣнія. Все это—люди широко и серьезно образованные, сильные наукой, юные сердцемъ, горячо любящіе просвѣщеніе, родину, которой истинныя нужды они хорошо знаютъ, и въ силу и прогрессъ которой страстно вѣрятъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ—только хорошенько, кто въ началѣ шестидесятыхъ годовъ давалъ жизнь и смыслъ всему этому педагогическому движенію. Едва-ли, не первое мѣсто, въ тогдашней официальной нашей школѣ, играло министерство военное съ своимъ высоко-просвѣщеннымъ и гуманнымъ министромъ Д. А. Милютинымъ во главѣ, умѣвшимъ выбирать себѣ и сотрудниковъ, изъ коихъ довольно назвать Н. В. Исакова, В. П. Коховскаго, Г. Г. Даниловича, П. Н. Бѣлоху, П. И. Рогова, И. О. Рашевскаго, Евтушевскаго, Д. Д. Семенова, В. О. Кеневича, А. Я. Герда. Все это имена, съ которыми, и мертвыми уже, и еще здравствующими, съ каждымъ связана память о какомъ-нибудь важномъ вкладѣ въ дѣло русскаго воспитанія и образованія.

Возьмете-ли вы Вѣдомство Императрицы Маріи, здѣсь встрѣчаете вы даровитѣйшую и энергичнѣйшую личность незабвеннаго основателя всесословнаго женскаго образованія на Руси, создателя женскихъ гимназій Н. А. Вышнеградскаго, съумѣвшаго привлечь въ преподаватели такія силы, какъ В. Я. Стоюнинъ, Э. О. Эвальдъ, В. Водовозовъ, Классовскій, Чистяковъ—вѣдь всѣ они также дѣйствовали тогда на пользу женскаго образованія.

Не отставало, по возможности, отъ этого педагогическаго движенія и Министерство Народнаго Просвѣщенія. Нельзя не вспомнить съ благодарностью такихъ именъ, какъ министры Головинъ и Ковалевскій, которые дали возможность дѣйствовать такимъ силамъ, какъ Пироговъ и Ушинскій. Въ этомъ-же министерствѣ состояли тогда такіе люди, какъ директоръ Департамента Народнаго Просвѣщенія, первый историкъ русской школы, А. С. Ворововъ, директора гимназій В. О. Эвальдъ, И. О. Кноррингъ; профессора Кавелинъ, П. В. Павловъ, Рѣдкинъ; преподаватели Скопинъ, тѣ-же Стоюнинъ и Водовозовъ... Сколько добраго слѣда своими примѣрами честной жизни и службы, словомъ, сочиненіями, оставили по себѣ всѣ эти почтенные, истинно просвѣщенные, люди, которыхъ всѣхъ вызвало время.

Я назвалъ только нѣкоторыхъ, очень немногихъ, выдающихся, личностей, дѣйствовавшихъ, такъ сказать, на поприщѣ официальномъ, служебномъ; но сколько еще крупныхъ лицъ можно припомнить изъ тѣхъ, кто въ то-же время дѣйствовалъ въ педагогической литературѣ, въ Педагогическомъ Обществѣ, Комитетѣ Грамотности и пр. Тутъ и редакторъ Народной Школы—Мѣдниковъ, и редакторъ Учителя—Паульсонъ, съ такими сотрудниками, какъ О. О. Резнеръ, Ф. Г. Толль, Кемницъ, Воленсъ, и бар. Н. А. Корфъ, и Золотовъ, и писатель Погосскій, и А. Ф. Петрушевскій, наконецъ, гр. Л. Толстой съ его Ясной Полянкой, который, хотя и не жилъ въ Петербургѣ, но былъ тогда предметомъ общаго вниманія.

И всё эти люди, изъ которыхъ повторяю—перечислилъ я только немногихъ, наиболѣе выдающихся, — всё они,—а ихъ было въ одномъ Петербургѣ не одинъ десятокъ—наперерывъ, одинъ передъ другимъ, съ неслыханной энергіей и жаромъ, дѣйствовали,—кто, гдѣ и какъ могъ:—и въ администраціи, и въ педагогическихъ совѣтахъ, и во всякихъ комитетахъ, и на кафедрахъ, и въ литературѣ, не только педагогической, но и общей, не пренебрегавшей тогда и вопросами воспитательными, наконецъ, въ обществѣ, гдѣ еще рѣдокъ былъ карточный столъ, и гдѣ такъ охотно велись безконечные педагогическіе споры и разговоры. Всё эти люди будили, шевелили, направляли въ гуманномъ, патріотическомъ, духѣ общественную мысль, и едва можно себѣ теперь представить, какое благотворное впечатлѣніе своими примѣрами и словами производила эта блестящая педагогическая плеяда на тогдашнюю, чуткую къ мысли и чувству, молодежь!

До сихъ поръ говорилъ я объ общемъ настроеніи и дѣйствовавшихъ тогда людяхъ. Что же такого, видимаго, осязательнаго, внесли это настроеніе и всё эти люди въ русскую жизнь?

Движеніе прежде всего заявило себя въ литературѣ, какъ общей, гдѣ удалялось иногда мѣсто и статьямъ педагогическимъ болѣе общаго характера (даже такой спеціальный журналъ, какъ Морской Сборникъ, съ легкой руки Пирогова представилъ цѣлый рядъ такихъ статей), такъ и собственно педагогической, можно сказать, исключительно и впервые выдвинутой на Руси, именно этимъ движеніемъ.

Не говоря уже о прекратившихся къ 1864 г. хорошихъ журналахъ: Чумикова *Журналъ для воспитанія* и Вышнеградскаго *Русскій Педагогическій Вѣстникъ*, объ особенномъ оживленіи подъ редакціей К. Д. Ушинскаго *Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія*, потерявшаго— было совсѣмъ свою сухую официальность, выше другихъ по духу, живости и разнообразію содержанія стоялъ, основанный Г. Паульсономъ еще въ 1859 г., и съ 1863 г. редактируемый О. О. Резенеромъ, журналъ *Учитель*. Этотъ прекрасный журналъ, еще и теперь, черезъ тридцать лѣтъ, не потерявшій своего значенія и интереса, представлялъ цѣлую массу статей методическаго характера по всѣмъ предметамъ обученія; далъ цѣлый обширный очеркъ исторіи педагогики, познакомилъ съ школой западной, создалъ въ лицѣ Толля и многихъ другихъ почти не существовавшую библіографію и критику дѣтской литературы, и особенно упорно и горячо проводилъ мысль о гуманизмѣ въ воспитаніи, отсутствіи въ школѣ наказаній и принудительности, о важномъ значеніи индуктивнаго метода и знакомства съ окружающей насъ природой. Журналъ имѣлъ крупный, совсѣмъ исключительный у насъ для педагогическаго изданія, успѣхъ, и съ живымъ интересомъ читался не только педагогами, но и вообще публикой. За *Учителемъ* явились и другія, болѣе или менѣе почтенныя и живыя, изданія, какъ *Народная Школа*—Мѣдникова, *Семья и Школа*—Симашко, *Педагогическій сборникъ Военно-Учебныхъ заведеній*; въ началѣ шестидесятыхъ годовъ появился и оригинальнѣйшій журналъ Гр. Л. Н.

Толстаго—*Ясная Поляна*. Страстное стремленіе къ самообразованію выразилось въ цѣломъ длинномъ рядѣ прекрасныхъ переводныхъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія, особенно по наукамъ положительнымъ, въ составленіи учебниковъ, руководствъ, книгъ для чтенія народу, наконецъ, въ заведеніи нѣсколькихъ хорошихъ общественныхъ библіотекъ съ кабинетами для чтенія,—и всѣ эти книги читались на расхватъ, и всѣ эти библіотеки отнюдь не владели жалкаго существованія. Нельзя не обратить вниманія и на то, что въ эти-же годы впервые обзавелись хорошими библіотеками и учебныя заведенія.

Вопросы педагогическіе, и, особенно настойчиво вызванные потребностью времени, вопросы о народномъ образованіи, просвѣщеніи освобожденныхъ темныхъ полудикарей, вызвали, съ одной стороны, основаніе въ Петербургѣ при 2-й Петербургской гимназіи, подъ предсѣдательствомъ П. Г. Рѣдкина, *Педагогическаго Собранія*, привлекавшаго на свои субботы по нѣскольку сотъ человѣкъ;—съ другой—еще въ 1861 г.—основаніе, при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, *Петербургскаго Комитета Грамотности*, гдѣ тоже на многочисленныхъ собраніяхъ шли горячіе дебаты о народной школѣ, методахъ обученія, нуждахъ школы и объ ея будущемъ... И тамъ, и тутъ, передъ глазами многочисленной публики прошелъ, можно сказать, почти весь цвѣтъ тогдашней интеллигенціи, и публика слушала и поучалась у лучшихъ представителей этого великаго педагогическаго движенія. Литература и эти собранія захватили учителей, и молодыхъ, и старыхъ,

и въ тѣхъ самыхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ такъ еще недавно царили сонъ и мертвый формализмъ, проявилось между педагогами необыкновенное оживленіе: оживились педагогическіе совѣты, составились отдѣльные кружки, подписки въ складчину на журналы. Зажилъ, наконецъ, умственный жизнью и бѣдный русскій учитель, такой каррикатурой, чудачкомъ, или почти исключительно такимъ забитымъ, загнаннымъ, представляемый русскою художественною литературой, начиная съ Недоросля и кончая Гоголемъ и Гончаровымъ.

И нельзя было не зажить! Литература настойчиво и подробно выясняла его высокое значеніе для государства, для общества, для народа, для человѣчества. Несчастный Лука Лукичъ Хлоповъ, изъ «Ревизора», увидѣлъ, что вѣдь и онъ, въ нѣкоторомъ родѣ, птица, да еще и важная! Онъ уже не боится «служить по ученой части», потому что и самыя отношенія къ нему начальства радикально измѣнились: ему оказывается довѣріе, его мнѣнія спрашиваютъ, требуютъ; онъ не только—учебная машина, слѣпой исполнитель предначертаній, программъ,—онъ мыслящій, любящій дѣтей, воспитатель, просвѣтитель невѣжества, онъ призывается къ критикѣ этихъ программъ, онъ—наконецъ—даже самъ ихъ вырабатываетъ съ своими товарищами по великому новому дѣлу просвѣщенія родины. При такихъ условіяхъ, при такомъ отношеніи къ учителю со стороны начальства, ставшаго изъ начальства руководителемъ, старшимъ, болѣе опытнымъ, товарищемъ—можно было стремиться сдѣлаться учителемъ, и немудрено,

что въ эти годы въ учителя пошло столько хорошей, даровитѣйшей, молодежи, — и пошло не только въ учителя школы высшей, или средней, такъ сказать, привилегированной, аристократической, но и на скудное содержаніе, въ глушь, въ школу народную. Въ тѣ годы какъ-то не обращалось вниманія на учительскій рангъ, и на народнаго учителя смотрѣли даже съ немножко сентиментальнымъ, особеннымъ, уваженіемъ, чуть не какъ на миссіонера, отправляющагося съ опасностью жизни просвѣщать дикарей.

Съ измѣненіемъ характера учебныхъ заведеній въ духѣ гуманности и уваженія къ личности ребенка, юноши, измѣнились и самый типъ школьника.

Изъ существа забитаго, безличнаго, жалкаго, или отчаяннаго бурсака, онъ становится, мало по малу, личностью, сознающею свои обязанности и права по отношенію къ себѣ, товарищамъ, наставнику, въ которомъ уже не видитъ врага, а напротивъ, усматриваетъ близкаго друга, желающаго ему добра, и для него же, школьника, трудящагося. Программа составлена, болѣе или менѣе, по силамъ ученика, ученіе облегчено, главнымъ образомъ, сосредоточиваясь на классной работѣ, чтобы дать болѣе времени для чтенія, для занятій по наклонностямъ. Самое преподаваніе бьетъ на интересъ, на возбужденіе любознательности, — и школьникъ учится уже не изъ подъ палки, не изъ страха передъ баллампъ, въ пользѣ которыхъ справедливо усомнились педагоги шестидесятыхъ годовъ, почему часто ихъ почти и не ставили, а по естественной человѣку потребности знанія.

А съ такими школьниками пріятно и заниматься; и

учитель, дотогѣ—гроза и бить дѣтей, зачастую становится теперь ихъ другомъ, вызывающимъ къ себѣ любовь и признательность—эту лучшую награду, какую только можетъ имѣть наставникъ за свой тяжелый, плохооплачиваемый, трудъ.

Не могу не отмѣтить еще одного, характернаго, факта. Еще такъ недавно въ институтахъ и пансіонахъ такъ рѣзко отличалось отъ мужскаго воспитанія образованіе женское. Еще въ «Мертвыхъ душахъ» находимъ извѣстное замѣчаніе, что «въ пансіонахъ три главные предмета составляютъ основу человѣческихъ добродѣтелей; французскій языкъ, необходимый для счастія семейственной жизни, фортепьяно для доставленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно, хозяйственная часть: вязаніе кошельковъ и другихъ сюрпризовъ». Мѣтко и зло обрисовываетъ это неестественное, пустое, типичное, женское воспитаніе Гончаровъ въ *Обыкновенной исторіи* (воспитаніе Тафаевой) и позднѣе—въ *Обрывѣ* (Софья Николаевна Бѣловодова); печальныя картины институтской жизни, отношеній товарищескихъ, и къ учителямъ и класснымъ дамамъ, рисуютъ въ журналахъ начала шестидесятыхъ годовъ воспоминанія бывшихъ институтокъ.

Съ легкой руки Пирогова, въ «*Вопросахъ жизни*», призвавшаго, еще въ 1856 г., женщину, какъ полноценнаго челоѣка, къ серьезному воспитанію для жизни, является цѣлый рядъ прекрасныхъ статей въ журналахъ, напр., М. И. Михайлова о женщинѣ въ Современникѣ, Евгенія Туръ въ Русскомъ Вѣстникѣ, переводъ знаменитой книги Дж. Ст. Милля

Подчиненность женщины, и мн. друг.; и вотъ, педагогическая реформа касается и женскаго воспитанія. Съ 1858 г. создаются женскія гимназіи, а затѣмъ, благодаря, напр., Ушинскому и другимъ, начиная со Смольнаго института, совершенно измѣняютъ свой характеръ и институты, какъ въ смыслѣ преподаванія, такъ и воспитательнаго режима. Въ 1864 г. по немногу исчезаетъ уже типъ наивной до птичьего разума, или изломанной кокетки-женщины институтки. Уже и учителя относятся къ ней не по кавалерски, безъ галантности, не дѣля предметовъ преподаванія на мужскіе и женскіе, но требуя, болѣе или менѣе, основательнаго, серьезнаго, знанія, любознательности, мышленія; да и сама она, ученица того времени, уже не кисейная барышня, относящаяся къ учителю, какъ къ кавалеру, и его обожающая, а просто—живой человѣкъ юноша, видящій въ этомъ учителѣ своего добраго наставника. И какое благотворное умственное и нравственное вліяніе имѣли тогда на воспріимчивыя юныя души гимназистокъ и институтокъ многіе учителя!.. Вспомнимъ только въ гимназіяхъ—Вышнеградскаго, Стоюнина, въ институтахъ—Водовозова...

Да, хорошо намъ было выступать тогда на педагогическое поприще: такимъ казалось оно заманчивымъ, льстящимъ нашему самолюбію, такимъ святымъ, патристическимъ, дѣломъ!

Выясненіе великаго значенія образованія въ смыслѣ воспитательномъ, устанавливающійся взглядъ на учителя, какъ великую государственную и общественную силу, и на педагогику, какъ на искусство, имѣю-

щее свою исторію и требующее особой подготовки,— вызвали потребность въ учрежденіи такихъ особыхъ, новыхъ, учебныхъ заведеній и курсовъ, которые подготовили бы достойныхъ преподавателей и воспитателей изъ людей, получившихъ общее образованіе. И вотъ, въ первой же половинѣ шестидесятыхъ годовъ, почти одновременно, являются въ разныхъ вѣдомствахъ, первыя въ Россіи, если не считать закрытаго въ 1859 г. Главнаго Педагогическаго института въ Петербургѣ, педагогическія учрежденія. Для подготовки учителей народныхъ, по почину Петербургскаго Комитета грамотности и Таврической частной бесплатной школы, возникаютъ *учительскія семинаріи или школы*, вскорѣ основываемыя въ разныхъ мѣстахъ Россіи и самимъ правительствомъ, и земствами, и отдѣльными частными лицами. Здѣсь, въ теоріи и на практикѣ, изучаются и провѣряются всякіе методы иностранные и русскіе по начальному обученію; впервые проводится обученіе наглядное, обращается особенное вниманіе на классную дисциплину, дѣтскую психологію, воспитательное вліяніе отдѣльныхъ учебныхъ предметовъ.

Изъ этихъ то семинарій, гдѣ учили лучшія педагогическія силы, и на которыя было потрачено не мало денегъ, вышли первые, *подготовленные, русскіе народные учителя и учительницы*. На ряду съ этими народными учительскими школами, по инициативѣ военнаго министра, графа Д. А. Милютина, возникли въ 1862—1864 г., въ обѣихъ столицахъ два замѣчательныхъ, къ сожалѣнію, уже давно закрытыхъ, учрежденія, съ цѣлью приготовить, учи-

телей и воспитателей для только что учрежденныхъ, вмѣсто прежнихъ корпусовъ, военныхъ гимназій и прогимназій, бывшихъ предметомъ особаго вниманія Министра и его ближайшихъ сотрудниковъ, напр.: Н. В. Исакова, Г. Г. Даниловича, и позже—Коховскаго. Такъ, въ Петербургѣ, въ 1864 г., при 2-й Военной гимназій, учреждены были *Педагогическіе курсы военно-учебныхъ заведеній*, руководителей и преподавателей коихъ, выбранныхъ изъ лучшихъ тогдашнихъ педагоговъ Петербурга (К. К. Сентъ-Илеръ, Вессель, Рашевскій, Евтушевскій, Д. Д. Семеновъ), послали сначала за границу для изученія средней и низшей школы на мѣстѣ, въ просвѣщеннѣйшихъ государствахъ Европы. Это прекрасное учрежденіе, ввѣренное въ управленіе Г. Г. Даниловичу, было, нѣкоторымъ образомъ, аристократическое, куда принимались только универсанты и лица, кончившіе курсы въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, напр. Военныхъ академійхъ. Цѣль этихъ курсовъ была—приготовить учителей для всѣхъ классовъ Военныхъ гимназій. Въ Москвѣ въ это же время основалась *Учительская семинарія Военнаго Вѣдомства*, которая готовила учителей для прогимназій и младшихъ классовъ гимназій и принимала лицъ съ однимъ среднимъ образованіемъ. Сюда, какъ и въ Петербургѣ, были приглашены тоже самые лучшіе преподаватели, которые, смотря на свое дѣло, какъ на святую миссію, вкладывали въ преподаваніе всю душу, а юные ученики ихъ, изъ лучшихъ учениковъ петербургскихъ военныхъ учительскихъ классовъ и другихъ военно-учебныхъ заведеній, блестяще

оправдали своимъ *первымъ* въ заведеніи выпускомъ возлагавшіяся на нихъ надежды.

Вмѣстѣ съ потребностью въ подготовкѣ учителей народныхъ, элементарныхъ и для среднихъ учебныхъ заведеній, ощущалась настоящая потребность и въ подготовкѣ учительницъ для народныхъ школъ, гимназій и институтовъ, а также и вообще образованныхъ и педагогически подготовленныхъ женщинъ, ввиду ихъ, преимущественно, материнскаго предназначенія. И вотъ, съ одной стороны, дѣлаются опыты учрежденія и женскихъ учительскихъ семинарій (напр. Тверская семинарія Максимовича); съ другой,—въ Петербургѣ, при первой по времени учрежденія гимназіи Маріинской, въ 1862 г. или 1863 г., по мысли и плану Н. А. Вышнеградскаго, кажется, въ значительной степени разработанному В. Я. Стоюнинымъ, были открыты двухлѣтніе *Женскіе педагогическіе курсы*, существующіе и до сихъ поръ, хотя и въ значительно иномъ видѣ. Это *самое первое въ Россіи высшее женское учебное заведеніе*, за которымъ, только не ранѣе семидесятихъ годовъ, послѣдовали курсы медицинскіе и, такъ называемые, *Вышіе Бестужевскіе*. Любопытное, хорошо задуманное человѣкомъ широкаго ума, Вышнеградскимъ, было это новое учрежденіе въ первые годы своего существованія. Предназначенное, главнѣйшимъ образомъ, для цѣли педагогической, оно однако нѣсколько лѣтъ было болѣе заведеніемъ общеобразовательнымъ, не имѣло при себѣ практической школы, даже, кажется, не читалось тамъ тогда и методики; но, тѣмъ не менѣе, курсъ былъ обдуманъ дѣльно, и слушатель-

ницы, многія уже не первой юности, стекавшіяся сюда изъ гимназій и институтовъ со всей Россіи и принимавшіяся по строго конкурентному экзамену, выносили изъ курсовъ и любознательность, и умѣнье дообразовать себя дальше, и много полезныхъ, необходимыхъ будущей матери, знаній. Дѣленія на факультеты не было, такъ что курсы носили характеръ энциклопедическій. На ряду съ литературой и исторіей, читалась педагогика съ психологіей, математика, физика, и широкое мѣсто предоставлено было наукамъ естественнымъ, знаніе которыхъ столь необходимо всякой женщинѣ. И все это читалось опять таки лучшими преподавателями, научно, безъ всякаго искусственнаго поддѣлыванія подъ женскій вкусъ и, якобы особыя, способности, дополняя плохое образованіе, полученное въ учебныхъ заведеніяхъ, или дома, и возбуждая интересъ и строгое отношеніе къ знанію; все это благоговѣнно воспринималось этими піонершами просвѣщенія русской женщины; все это вносило въ жизнь женщины, а черезъ нее и всего русскаго общества, лучи свѣта, добра, истины, знанія природы и человѣка...

Такимъ то образомъ, высокій подъемъ духа русскаго общества, оживленнаго великими реформаціонными замыслами покойнаго императора Александра II, и проникнутаго педагогическимъ настроеніемъ, выдвинулъ, какъ мы говорили, цѣлый рядъ крупныхъ педагогическихъ дѣятелей, начавшихъ большею частію свою дѣятельность при прежнихъ порядкахъ. Эти-то, такъ сказать, корифеи, окрыленные духомъ времени, собираютъ около себя наиболѣе выдаю-

щихся личностей изъ молодаго поколѣнія, которыя, подъ ихъ вліяніемъ, руководствомъ и поддержкой, также отдають себя педагогическому дѣлу;—и всѣ они вмѣстѣ создаютъ и проводятъ ту русскую школьную реформу, которая обнимаетъ преимущественно первое десятилѣтіе прошлаго царствованія, отъ 1856 г. до 1866 г., совпавшее съ 1864 г.,—началомъ моей собственной казеннослужебной дѣятельности.

Движеніе педагогическое открывается, почти съ самаго вступленія на престолъ новаго Государя Александра II, цѣлымъ рядомъ распоряженій и мѣръ по гимназіямъ и другимъ учебнымъ заведеніямъ, измѣняющихъ къ лучшему программы преподаванія и суровый воспитательный режимъ внутренней жизни учебныхъ заведеній. Университеты, въ послѣдніе предшествовавшіе годы, едва влачившіе самое жалкое существованіе, призываются къ новой жизни, выставляютъ множество талантливыхъ профессоровъ и быстро создаютъ типъ новаго студента — шестидесятника, этого пылкаго, иногда и наивнаго, идеалиста, мечтавшаго о дѣятельности общественной, о широкомъ распространеніи по всей темной Руси свѣта просвѣщенія, о ближайшемъ высокомъ культурномъ значеніи родины передъ лицомъ всей изумленной Европы. Эти студенты, вмѣстѣ съ офицерами, преимущественно морскими, инженерными и артиллерійскими, какъ наиболѣе образованными, а также молодыми учителями и другими лицами обоихъ половъ, уже съ 1858 г. открываютъ въ столицахъ и др. городахъ воскресныя и ежедневныя школы,

такъ восторженно и тепло встрѣченныя журналисткой и всѣми тогдашними лучшими людьми, напр. Ушинскимъ. Въ 1858-же году основывается первая женская Маріинская гимназія, полагающая основаніе всему русскому женскому образованію. Въ эти же годы преобразовываются и заведенія спеціальныя, прежде носившія военный характеръ, какъ напр. Горный и Лѣсной корпусъ, а въ 1863 г. уже приступлено къ радикальному переформированію всѣхъ старыхъ кадетскихъ корпусовъ въ военныя гимназіи, на новыхъ гуманныхъ и широкихъ педагогическихъ основаніяхъ. О движеніи литературномъ, о семинаріяхъ и курсахъ для приготовленія учителей и учительницъ я говорилъ раньше.

Такъ вотъ, среди какихъ, неслыханныхъ дотогѣ въ Россіи, настроеній, условій и событій въ области просвѣщенія, началъ я свою педагогическую дѣятельность, въ ту эпоху, о которой мнѣ такъ пріятно вспомнить. Насъ, стариковъ, уже сходящихъ съ арены общественной дѣятельности, заподозрѣваютъ иногда въ пристрастіи, столь естественномъ по отношенію къ своей юности; поверхностные, не дающіе себѣ труда хорошенько ознакомиться съ прошлымъ, скептики, которыхъ такъ много развелось въ настоящее время, и сколько-нибудь серьезныхъ трудовъ которыхъ мы что-то не видимъ, любятъ даже посмѣиваться надъ этимъ стародавнимъ прошлымъ, указывая на ошибки, промахи, увлеченія того времени. «Что же оставили вы въ наслѣдіе намъ, вашимъ ученикамъ, позднѣйшимъ поколѣніямъ, прочнаго, серьезнаго, поучительнаго?» — любятъ повто-

рять эти скептики, считающіе все это педагогическое движеніе какимъ-то дымомъ, чадомъ, отъ котораго, будто бы, не оставалось почти ничего. Не будемъ говорить о тѣхъ, читающихъ въ сердцахъ дальновидцахъ, особыхъ патріотахъ своего отечества, которые осмѣливаются находить въ этомъ педагогическомъ движеніи, — подавленномъ, можно сказать, въ самомъ началѣ, — даже нравственный вредъ, яко бы потрясающій государственныя основы. Я бы спросилъ этихъ скептиковъ: когда же, какъ не въ эти годы, такъ ясно, убѣдительно и подробно выяснены въ литературѣ значеніе и настоящая необходимость для освобожденнаго государства созданія общаго, всесловнаго, народнаго образованія низшаго, средняго и высшаго, общаго и профессиональнаго, реальнаго, въ смыслѣ пріобрѣтенія полезныхъ знаній, гуманнаго, въ смыслѣ смягченія дикости нравовъ и населенія, альтруистическаго духа въ замѣнъ грубѣйшаго эгоизма? Когда, какъ не въ это время, обстоятельно выяснилась роль, какую должны играть въ просвѣщеніи земства и все русское общество? А методы, по которымъ обучается грамотѣ теперь вся Россія, и болѣе или менѣе ведутъ по всѣмъ предметамъ свое преподаваніе лучшіе преподаватели и до сихъ поръ — вѣдь всѣ эти методы разработаны именно въ эпоху конца пятидесятихъ и въ шестидесятихъ годахъ? И не одной литературой, какъ мы видѣли, но и очевиднымъ, живымъ, дѣломъ, принесшимъ позже свой плодъ, даже среди самыхъ тяжелыхъ условій, при которыхъ ему пришлось въ позднѣйшіе послѣдующіе годы развиваться, отличается

вспоминаемое нами время. Скептику сказалъ бы:— въ это время, лѣтъ тридцать назадъ, заложено у насъ основаніе специально [педагогическому образованію, и до сихъ поръ еще дѣйствуютъ, въ разныхъ мѣстахъ Россіи многіе изъ питомцевъ Военно-Учительской Семинаріи, и воспитанники педагогическихъ курсовъ при второй военной гимназіи, да и большинство лучшихъ народныхъ учителей изъ старыхъ—ученики семинарій того времени. Педагогическіе же женскіе курсы, созданные тогда же, выпустили цѣлыя поколѣнія прекрасныхъ учительницъ. Женскія гимназіи приготовили первыхъ образованныхъ русскихъ женщинъ всѣхъ сословій. Образцовая по дисциплинѣ и геройская по духу, боевая служба питомцевъ покойныхъ военныхъ гимназій, въ войну 1877—1878 гг., которая у всѣхъ на виду и памяти, показала, какіе хорошіе результаты дало это преобразование корпусовъ въ гимназіи... Это все—уже очевидные результаты движенія,—факты уже не книжные, а прямо изъ дѣйствительной жизни *).

И такъ, не будемъ же скептически улыбаться, читая сочувственныя воспоминанія о старомъ времени уже сходящихъ мало-по-малу въ могилу современниковъ. Неслыханно широко по захвату, глубоко знаменательно по поставленнымъ вопросамъ,

*) Вспомнимъ, что и поколѣнія женщинъ-врачей, столь извѣстныхъ своею дѣятельностью въ ту же помянутую войну, и до сихъ поръ съ честью дѣйствующихъ въ земствахъ и на другихъ медицинскихъ постахъ—это вѣдь тоже, большею частію, питомицы шестидесятихъ годовъ, или, вообще, гимназій.

патріотично, страстно и сердечно по характеру, замѣчательно по количеству добросовѣстнаго и просвѣщеннаго труда, положеннаго въ жизни и литературѣ въ дѣло русской педагогіи, было это педагогическое движеніе. Нечего скрывать правды, — да иначе и быть не могло при первыхъ самостоятельныхъ шагахъ непривыкшаго къ дѣятельности общества, — было въ тогдашней педагогіи не мало и ошибокъ, увлеченій, подчасъ даже комическихъ, по своей наивности. Бывали и неумѣлыя перетаскиванія въ русскую школу нѣмецкихъ школьныхъ методовъ и порядковъ, не всегда желательныхъ; на ряду съ даровитыми преподавателями, дѣлавшими дѣло серьезно, не могли не попадаться и смѣшныя шульмейстеры — штукари, видѣвшіе цѣль не въ дѣлѣ, а въ методѣ, или даже лица, недобросовѣстные, составлявшіе на модномъ педагогическомъ движеніи себѣ карьеру; писались подчасъ и курьезныя книги; иногда слишкомъ много давалось свѣры въ дѣтскую натуру, не обращая вниманія на темпераментъ и среду, и, принимая въ расчетъ почти исключительно одно развитіе, да еще одностороннее, — одного разсудка, въ ущербъ памяти, чувству, воображенію и особенно фантазіи, — мало давалось матеріала для труда. Наконецъ, пожалуй, кое-гдѣ, у совсѣмъ непризванныхъ къ педагогіи фанатиковъ, врывались въ школу и элементы ей посторонніе, — какъ тогда говорили, соціальныя, — но такіе прискорбные факты тотчасъ же и преслѣдовались. Все это случалось, — но такъ рѣдко (хотя и раздувалось врагами просвѣщенія, ставшими, во что бы то ни стало, подавить движе-

ніе),—что всѣ эти комическіе, или вредные, факты въ общемъ затеривались, возбуждали тогда же смѣхъ, или протестъ, и отнюдь не мѣшали развитію великаго дѣла всесословной русской школы. Будущая безпристрастная исторія этой школы, низшей, средней и высшей,—исторія, которой по многимъ причинамъ не наступило еще время, выяснить потомству настоящее значеніе этого движенія въ десятилѣтіе 1856—1866 г. и внутреннія и внѣшнія причины его подавленія; мы же, и старѣющіе, и юные педагоги настоящаго, взирая съ надеждой на несомнѣнно долженствующій наступить въ будущемъ расцвѣтъ нашей школы, не будемъ забывать того, что дало намъ прошлое, и тѣхъ людей, которые тридцать лѣтъ назадъ положили на русскую школу всю свою любовь и силы.

Викторъ Острогорскій.

Валдай.
29 Іюня 1894 г.

3461.

Въ складахъ книгъ Д. И. Тихомирова (Москва, Тверская, д. Гиршмана), К. И. Тихомирова, Москва, Кузнецкій мостъ, учебный магазинъ, и Ледерле (С.-Петербург. Милліонная, 24), въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго Времени», К. И. Тихомирова—Москва, Кузнецкій мостъ, Глазунова, Луковникова—Петербургъ, Лештуковъ пер., д. № 2, Карбасникова — Москва, Моховая, д. Коха, и Петербургъ, Литейн., 46, и др.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ ВИКТОРА ОСТРОГОРСКОГО.

1) **Изъ міра великихъ преданій.** Разсказы для юношества съ рисунками Панова и Бившенко. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к.

2) **Изъ народнаго быта.** Разсказы изъ пословицъ, поговорокъ и пѣсенъ: **Титъ, Вавило, Маланья и Маша на дѣвичникѣ.** Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 20 к.

3) **Илья Муромецъ—крестьянскій сынъ,** разсказано по народнымъ былинамъ. Спб. 1892 г. Ц. 10 коп.

4) **Хорошіе люди.** Сборникъ разск. съ рисунками Шпака и Малышева. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

5) **Памяти Пушкина. Очерки Пушкинскіе.** Русс. Спб. 1880 г. Ц. 50 к.

6) **Этюды о русскихъ писателяхъ:** I. И. А. Гончаровъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.—II. Н. Г. Помяловскій. Ц. 40 к.—III. М. Ю. Лермонтовъ. Мотивы Лермонтовской поэзіи. 1891 г. Ц. 50 к.—IV. **Художникъ русской пѣсни А. В. Кольцовъ.** 1893 г. Ц. 50 к.

7) **Русскіе педагогическіе дѣятели:** Н. И. Пироговъ, К. Д. Ушинскій и Н. А. Корфъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.

8) **Руководство къ чтенію поэтическихъ произведеній Л. Эккардта съ прил. «Краткаго учебника теоріи и поэзіи».** Изд. 2-е. Одобрено У. Е. М. Н. П., какъ руковод. Спб. 1877 г.

Ц. 1 р. (готовится новое, переработанное и дополненное, издание).

9) **Восѣды о преподаваніи словесности.** Изд. 2-е. М. 1886 г. Ц. 80 к.

10) **Выразительное чтеніе.** Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 50 к.

11) **Русскіе писатели, какъ восп.-образов. матеріалъ для занятій съ дѣтьми и для чтенія народу.** (Жуковский, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Баратынскій, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, Шевченко, Гоголь, Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гр. Л. Толстой, Погосскій). Изд. 3-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

12) **Родные поэты, для чтеніе въ классѣ и дома.** Сборникъ стихотворныхъ произв. для юношества, указанныхъ въ книгѣ В. Острогорскаго: **Русскіе писатели** (Жуковский, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Баратынскій, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Никитинъ, Шевченко, Некрасовъ). Изд. 2-е. М. 1894 г.

13) **Двадцать біографій** образцовыхъ русскихъ писателей для юношества, съ 20-ю портретами: Изд. 4-е. Ц. 50 к.

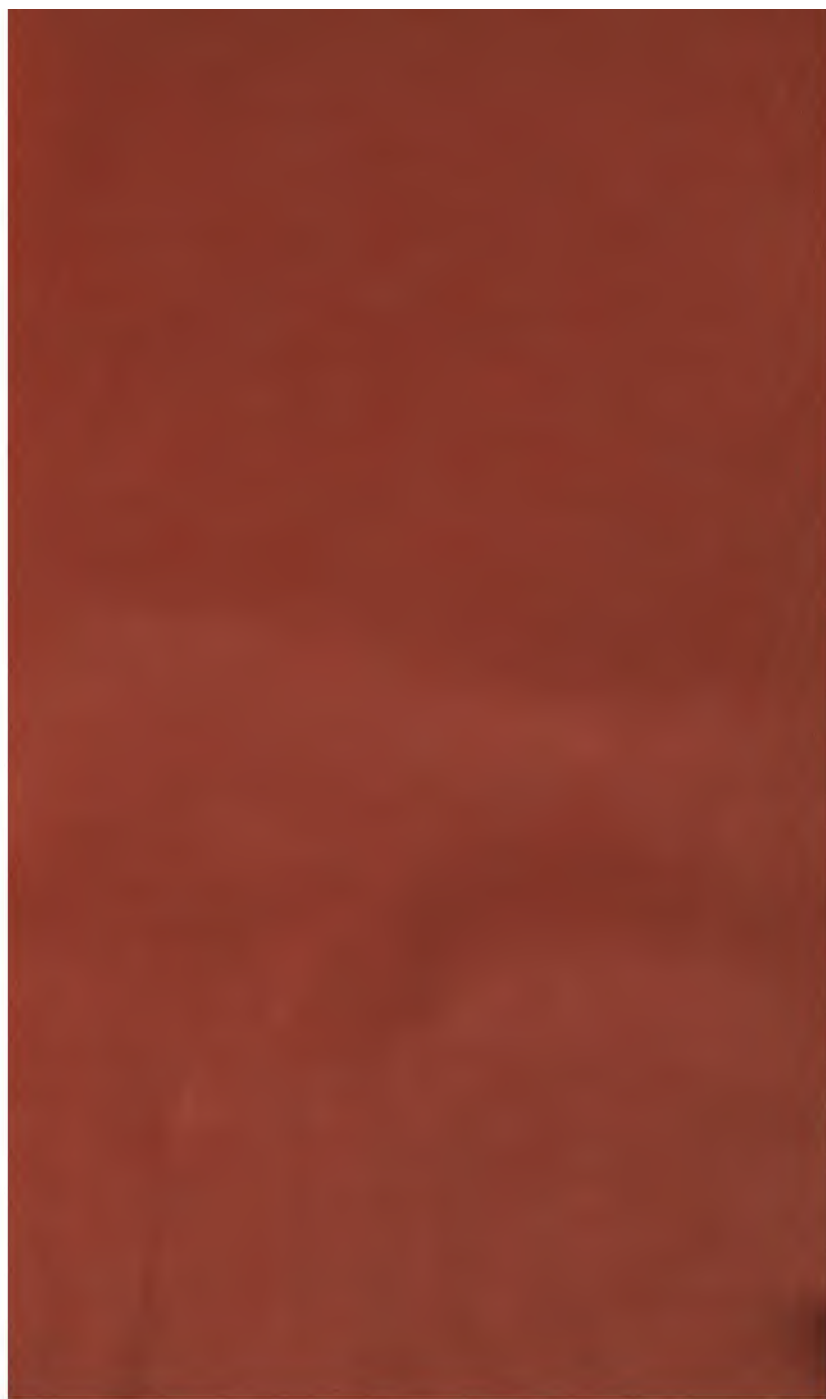
14) **Наталья Борисовна Долгорукова.** Ц. 10 к.

15) **Изъ дальняго прошлаго. Драматическіе эскизы** (Мгла, др. въ 5 д.; Липочка, ком. въ 3 дѣйств. съ прологомъ; сцены: На однѣхъ сѣняхъ; Первый шагъ; Въ бель-этажѣ на улицу). Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1891 г. Ц. 80 к.

16) **С. Т. Аксаковъ. Критико-біографическій очеркъ** Изд. П. Г. Мартынова. Спб. 1891 г. Ц. 75 к.

17) **Моя бібліотека. Ж. Б. Мольеръ, Мѣщанинъ въ дворянствѣ**, пер. В. П. Острогорскаго, съ предисловіемъ переводчика. Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1893 г. Ц. 50 к.

18) **Письма объ эстетическомъ воспитаніи.** Изд. журнала «Вѣстникъ Воспитанія». 1894 г. Ц. 40 к.



Изданія О. Н. ПОПОВОЙ.

РЕКЛЮ, Э. Земля.—Описание жизни земного шара. Переводъ безъ про-
реховъ съ послѣдняго французскаго изданія, подъ редакціею и съ примѣч. Н. А.
Рубакина и съ приложеніемъ списка научно популярнаго книгъ. Сиб. 1895 г.

Вып. I. Земля какъ планета.—Горы и равнины. Цѣна 50 к., съ перес. 1 р.
1 к.—**Вып. II.** Круговоротъ воды на земномъ шарѣ. Цѣна 1 р. 30 к., съ перес.
1 р. 60 к.—**Вып. III.** Поверхностныя слои. (Вулканы, землетрясенія, поднятія и
опусканія почвы). Ц. 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 30 к.—**Вып. IV.** Океаны. Ц. 1 р.
1 к., съ перес. 1 р. 30 к.—**Вып. V.** Атмосфера. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.—
Вып. VI. Жизнь на земномъ шарѣ. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 60 к. Каждый
выпускъ снабженъ многочисленными рисунками и географическими картами.

МИХАЙЛОВСКИЙ, Н. К. Критическіе опыты. III. Планъ Грозный изъ рус-
ской литературы. Герой безвременья. Сиб. 1895 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
Входитъ въ конторскій журналъ «Русск. Богатство» (Васильева, 10).

КАРЬЕВЪ, Н. И. Историко-философскіе и социологическіе этюды.
иб., 1895 г., 300 стр. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

КАРЬЕВЪ, Н. Введеніе въ курсъ исторіи древняго міра (Греція и Римъ).
иб., 1895 г. Ц. 80 к.

КРИВЕНКО, С. Н. На распутьи. Культурные колонисты и одишечки. Сиб.
1895 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 45 к.

Оглавленіе. I.—Культурные скиты. II.—Культурные люди въ деревнѣ.—Неу-
спѣшная попытка.—Культурные одишечки.—Исканіе новыхъ путей къ народному
освобожденію. III.—По поводу культурныхъ одишечекъ.

РУБАКИНЪ, Н. А. Этюды о русской читающей публикѣ. Сиб. 1895 г. Цѣна 1 р. 50 к.,
съ пер. 1 р. 75 к.

Оглавленіе. Богаты ли мы книгами?—Какъ у насъ распространяются книги?—
ошибка читающей публики.—Много ли и что читаютъ на Руси.—Любимыя книги
русской читающей публики.—Читатель изъ народа и его изученіе.—Типы
читателей изъ народа.—Интеллигенція изъ народа.—Поклонники науки въ народ-
ной средѣ.—Читатели изъ фабричныхъ рабочихъ.—Еще голоса изъ народа.—
Взглядъ для народа изъ народной среды.—Таблица.

СТАНЮКОВИЧЪ, И. Откровенныя. Ром. въ 2 ч. Сиб. 1895 г. Цѣна 1 р. 50 к.,
съ пер. 1 р. 75 к.

ЛЕББОВЪ, Д. Какъ надо жить. (The use of life) Переводъ съ англійскаго Д.
Оришечскаго. Сиб. 1895 г. 80 к., съ перес. 1 р.

ШЕЛГУНОВЪ, Н. В. Собраніе сочиненій, 2 т. Второе изд. Ц. 3 р., съ пер. 3 р. 70 к.

ГИББИНЪ, Г. Промышленная исторія Англіи. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

ВИКТОРЪ ОСТРОГОРСКИЙ. Изъ исторіи моего учительства. Какъ я сдѣлалъ
интеллемъ (1851—1864). Сиб. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ. Три конца. Романъ. Сиб. 1895 г. Ц. 2 р.

Складъ изданій въ книжныхъ магазинахъ Н. П. Карбасникова: С.-Петербургъ,
Москва, Варшава.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

ШЕЛГУНОВЪ, Н. В. Очерки русской жизни. 1 т.

ДЮРИНГЪ, Е. Великіе люди въ литературѣ.

БЕРТРАНЪ. Кооперация въ Бельгіи.

ДЕТУРНО, Ш. Социологія, основанная на этнографіи.

МАРМЕРИ, Д. В. Прогрессъ науки.

ЖЮССЕРАНЪ. Исторія англійскаго народа въ его литературѣ.

ГАРДЯНЕРЪ. Исторія пуританскихъ войнъ.

БУАССЬЕ, О. Разное общество временъ цезарей.

РАМБО. Исторія современной цивилизаціи во Франціи.

Stanford University Libraries



3 6105 019 980 254

LA
2377
085A3

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-9201

salcirc@sulmail.stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

DEC 31 1999
11/2/99 FR

